

НА РОДНОЙ РЕКЕ

В. КОРЕНЕВ

НА РОДНОЙ РЕКЕ

— 1969 —

Издание автора

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München-Allach, Peter-Müller-Str. 43.

Printed in Germany



Граф Николай Николаевич Муравьёв Амурский.
(1809—1881).

«...ЕСЛИ, ПАЧЕ ЧАЯНИЯ, КОГДА-НИБУДЬ И ЗАБЫЛО ТЕБЯ ПОТОМСТВО И ДАЖЕ ТЕ САМЫЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПЛОДАМИ ТВОИХ ПОДВИГОВ, ТО НИКОГДА, НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ ТЕБЯ НАША ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ».

Из речи Иннокентия, митрополита Московского к графу Муравьеву-Амурскому.

К ЧИТАТЕЛЮ

Не знаю, хранит ли Православная Церковь память о ЗАБЫТОМ ПОТОМСТВОМ и хранят ли её ТЕ, КТО СТАЛИ ПЛОДАМИ ПОДВИГОВ Человека и Сына своего отечества, неутомимого борца и труженика во благо родины, но я не могу вспомнить случая на протяжении своей жизни ни у себя на родине ни в «рассеении суща», среди бесконечных дат и юбилеев, имени графа Николая Николаевича *Муравъёва-Амурского.*

Что значит жизнь простого смертного, когда предаются забвению такие имена, когда на яркий исторический подвиг наброшена пелена холодного равнодушия!

Тем, кто не знал — тем Бог простит; тем, кто знал да забыл, и, тем, кто стал ПЛОДОМ ПОДВИГОВ не грех будет напомнить.

К вам же, дорогие мои читатели, к вашей не искушенной толками и пересудами душе обращаюсь я со своими скромными, но правдивыми рассказами и пытаюсь дать почувствовать, а, может быть, и пережить вместе со мной в этих воспоминаниях то прошлое свободного края, что ушло в вечность и не повторится.

Думаю, что не будет лишним привести некоторые исторические справки и помочь тем ясней представить себе то, о чём будет сказано.

Николай Николаевич Муравьев родился 11 августа 1819 года в С. Петербурге. Мать его, Екатерина Николаевна, скончалась, когда Н. Н. было всего девять лет.

Вскоре после смерти матери Н. Н. был отдан в частный пансион, но, по распоряжению ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПЕРВОГО, два сына Николая Назаровича — отца Н. Н. — Николай и Валериан, были приняты в Пажеский ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Корпус.

Четырнадцати лет Николай Николаевич был произведен в камер пажи и затем в фельдфебели. 22 августа 1826 года Н. Н. участвовал на коронации ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПЕРВОГО, в Москве.

Курс корпуса Н. Н. кончил первым, и имя его выбито на мраморной доске, но за малолетством он не мог быть произведен в офицеры, а поэтому вышел из корпуса только в 1827 году, когда ему исполнилось 17 лет, и в том же году 25 июля поступил на службу прапорщиком в Лейб-Гвардии Финляндский полк.

Итак, семнадцатилетний юноша начал свое блестящее служение родине. Война с Турцией; покорение Кавказа — подвиги на ратном поле и на дипломатическом поприще.

Свыше столетия тому назад непреклонная воля, ум гения, предвидение исторических горизонтов, жертвенное служение — проложили путь на восток — на берега Тихого океана, и тем стали на пути дерзновенных попыток многочисленных «Просвещенных мореплавателей» вторгнуться в наши дальневосточные окраины.

29 июня 1850 года верными сотрудниками Н. Н. Муравьева, капитаном Невельским и прапорщиком Орловым, был заложен первый русский пост при устье Амура, наименованный во имя св. апостолов Петра и Павла, в память ПЕТРА ВЕЛИКОГО, как основоположника выхода русских к восточному океану (Камчатка), и пост стал именоваться ПЕТРОВСКИМ.

Сломлено сопротивление чиновной столицы; заслужено доверие монарха НИКОЛАЯ Павловича; поборена безучастная сонливость общественности; встряхнута в своем бытии Сибирь, и зажжён новый пламень: «РУСЬ НА ВОСТОК! РУСЬ НА АМУР!»

И вот Сибирь живёт новой жизнью — порывом к подвигу . . .

Горит этой идеей сам вдохновитель, горят стремлениями его бескорыстные ученики — будущие сподвижники; живёт новыми надеждами народ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНИЕ — «СПЛЫТЬ ПО АМУРУ!»

Большими усилиями и жертвенностью далекий край — Иркутская и Забайкальская области — ведут это предприятие: людей, продовольствие, скот, деньги, свой труд и знания — всё дают эти две области.

Шилкинский государственный завод строит первый пароход для Амура — «Аргунь». Артель рабочих в ТЫСЯЧУ человек на берегах реки Шилки строит 130 сплавных судов-барж, баркасов, лодок, и плотятся плоты для переселенцев и над всем этим зоркий и неутомимый глаз Н. Н. Муравьева! . .

27 апреля 1854 года, на пути к месту сплава — Н. Н. Муравьев в Кяхте. Население этого далекого полуазиатского городка, но обильного людьми предприимчивыми, людьми торговыми, ясно учитывая всю важность нового края для родины, чествует Н. Н. торжественным обедом, где, как напутственное слово, местный поэт и член Кяхтинского Коммерческого О-ва КАНДИНСКИЙ ЧИТАЕТ свое стихотворение:

Пируя праздник возвращенья,
Сподвижник царский, твоего,
Не можем чувства восхищенья
Вполне мы выразить всего.

Отъезд твой скорый предвещает
Сибири новую зарю.
Он свежи лавры обещает
Руси и Белому Царю.

Сибирь с надеждой несомненной
Глядит на рдеющий восток
И ждёт, что труд твой вдохновенный
Богатствам нашим даст исток.

Амуром путь ты нам проложишь,
Движенье силам нашим дашь,
Добра начало там положишь —
И край счастливый будет наш.

Быть может, наш орёл двуглавый
Пробудит дремлющий народ
И, озарившись новой славой,
Его он к жизни призовет.

Счастлив, кого судьба избрала
Орудьем помыслов благих;
Счастлив, кому она сказала:
Ступай вперед!.. Исполни их!..

Свершить веков определенье
Тобой назначено судьбой
И Бог Свое благословенье
Пошлёт на подвиг трудный твой.

И вся Сибирь из рода в род
Прославит смелый твой поход,
И мы воскликнем все тогда:
Ура!.. Наш Муравьев — ура!..

Местом отправления первого сплава был государственный Шилкинский завод на реке Шилке. Здесь Н. Н. Муравьева встретили, чествовали и провожали — чиновная братия шумно и подобострастно, народ же сочувственно и с добрыми пожеланиями.

Один из участников сплава так описывает начало и путь этого похода:

14-го мая 1854 года после полудня, после напутственного молебна, благочинный протоирей Нерчинского завода благословил Муравьева, войско и первых поселенцев на Амуре и преподнес в дар сплаву древнюю икону Знамение Божей Матери, вынесенную выходцами при оставлении Албазина. Икона в серебряном чеканной работы окладе и с серебряным венцом, в деревянном наборном оклеенном киоте за стеклом. При иконе в специальном ящике 3 фунта ладану и 5 фунтов восковых свечей.

Вся флотилия состояла из парохода «Аргунь» и 130-ти барок, баркасов и лодок и несла на себе ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ ПУДОВ ГРУЗА — артиллерию и боеприпасы для уже заложенной крепости Николаевск на Амуре. Шел необходимый материал для судостроения, продовольствие военного отряда и переселенцев; фураж для идущего со сплавом скота и лошадей и 481 человек участников сплава.

В 4 часа пробита «тревога», и, согласно строгого расписания порядка, флот начал отчаливать от берега и выходить на быструю струю Шилки, казалось, бесконечная цепь судов, плотов, лодок, работая веслами, без конца будет тянуться по реке и уходить куда-то в неведомую даль, скрываясь за утесами первого поворота реки . . .

20-го подошли к Албазину, причалили к берегу и служили молебен и панихиду на уже исчезнувших могилах героических защитников этого далёкого аванпоста первых насельников Амурского края.

28-го мая — Усть Зея; 5-го июня миновали устье Уссури — место доблестного дела Ерофея Хабарова!

12-го — Николаевск, пройдя за пять дней последние 500 верст.

Дорогой читатель, если ты заинтересуешься этим историческим этапом и найдешь труды с описанием сего предприятия, то, читая, перенеси себя в те времена, в те условия, в те возможности и представь себе быстрые могучие реки, леса и горы мало ведомые; учти риск и труд каждого участника, и ты поймешь и оценишь заслугу твоих предков.

АМУР —
РОДИНА МОЯ



Да послужит мое слабое повествование памятником на утраченные могилы предков, первых пионеров и основоположников благополучия родного края.

В. Коренев

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Пятьдесят лет и для человека уж не Бог весть какой жизненный срок, а для страны, для края — детские годы.

Каких-то пятьдесят лет, как Амур заселен еще немногочисленными пришельцами, а край стал уже другим, — обжитым уголком великой России.

Пришли сюда бывалые люди с соседних сибирских областей; пришли сильные да смелые из центральных губерний коренной Руси. Пришли, преодолев все невзгоды, лишения и неимоверный труд на бездорожье далёких сибирских окраин. Ушли с родных мест, оторвались навек; ушли за тысячи вёрст и как в воду канули: ни весточки туда ни оттуда, лишь порой какие-то смутные слухи да толки . . .

Пришли сюда те, кто верил в себя, кто знал на что шёл и вот, каких-то пятьдесят лет и край стоит на своих ногах, вознагражден смелый пришелец за понесенные лишения и труд, оправданы те могилки с крестами «наспех», что стали как дорожные вехи и отметили путь смелых землепроходцев — искателей новых землиц.

Пришли на безлюдье, но не на чужие места, а на пепелище своих предков, тех кто за свой страх и риск не один век обживал этот край по далеким острожкам, да глухим заимкам.

**
*

Пятьдесят две станицы и хутора стали сторожевой цепью на грани своего отечества и связали живой нитью далекую родину со старыми пепелищами здесь, обеспечив свободный путь к морю-океану, открыв выход к далеким чужеземным странам.

Пятьдесят лет, и край обжит . . . Завелся и установился свой уклад, свои обычаи, своя амурская стать! Стать благополучного, обильного края и уж вырос и воспитался свой, — амурский человек, свободный, гордый своим предназначением здесь — на окраине, — на далёкой грани Великой Родины! . .

**
*

Широки, прямы улицы станиц и хуторов по Амуру, деревень и сёл в глуби страны-области; везде и всё было предусмотренно и предначертано мудрым вдохновителем — душой великого государственного плана.

Станицы и хутора это сторожевые посты и стали они по границе — левому берегу Амура, стали согласно не только указаний естественных условий, но и с учётом сторожевого военного назначения.

**
*

Мирно живут два соседа — два народа . . . присмотрелись друг к другу, кое-чем помогли в нужде, сдружились и занялись мирным трудом . . . Ни обид, ни ссор; делить нечего; у Бога для всех всего много!

Богатый край: тучные земли, обильные быстрые реки, богатые леса, неизведанные недра — всё влечёт к настойчивому труду, поощряя здоровую инициативу и обеспечивая привольную жизнь пришельца . . .

**
*

Пятьдесят две станицы и хутора стали здесь по левому берегу Амура, стали памятниками — живыми свидетелями освоения края.

Я не знаю ни одного края ни одной области нашей обширной родины, где бы история их заселения была так отмечена именами тружеников, кто внёс своё жертвенное служение в освоение этих мест!

Название каждой станицы, каждого хутора здесь на Амуре говорит о заслугах, о совместном труде на благо края, говорит о тех, кто в тяжелые годы первых лет претерпел здесь многие лишения, а то и сложил свою голову.

Плеяды имен стали названиями казачьих станиц и хуторов: Черняева, Корсакова, Орлова, Буссэ, Пояркова, Хабарова и других участников заселения края.

На Амуре своя «стать» и амурский обычай отмечать всех, кто послужил или был полезен краю и эту стать вы особенно ярко увидите на гордости Амура — на молодом но уже многочисленном прекрасном торговом флоте. Суда флота — американцы, бельгийцы, отечественных верфей — несут на себе имена высокопоставленных лиц, имена первых отважных мореплавателей и имена ватажных атаманов искателей северных путей и многих тех, кто, как-то и чем-то, послужил краю.

Дымят своими высокими трубами и бороздят воды реки тупыми носами одноколёсные пароходы — плашкоуты — американцы с Миссури; режут быструю струю острые носы осанистых и солидных бельгийцев; белеют своими высокими корпусами сормовцы и воткинцы — волжский тип — и все несут на себе одно из исторических имён: «Цесаревич», «Барон Корф», «Сергей Витте», «Чихачев», «Семен Дежнёв», «Митрополит Иннокентий» и другие, и лишь с веянием 1905 года запестрели «разночинцы».

**
*

Широко и спокойно зеркало многоводной реки в её среднем течении. Горы и леса здесь раздвинулись и дали простор на сотни вёрст вширь и вдаль плодородной травянистой долине, ставшей житницей края. Река, выйдя из теснин гор и встретив спутницу Зею, успокоилась и широким открытым руслом идет на восток.

Равнина, ни гор ни лесов, берега реки с широкими галечными плёсами не застилают горизонта и лишь редкие острова в этой части Амура, курчавятся густыми зарослями речных урём — многообразного растительного мира. Причудлив край своими, порой неожиданными, представителями почти тропического мира как животного, так и растительного. Климат летом — тропические жары и тропические ливни, зимой — суровые русские морозы, зима — дальнего севера. И здесь человек, чтобы жить, должен затратить немало энергии и силы и должен беречь драгоценное время, но уже есть свой — амурский человек, со всем свыкшийся и приспособленный — амурская стать!

**
*

Амурская стать, но есть здесь и своя казачья стать!

С раннего детства, как только казак начинает самостоятельно ходить, он уже знает, что такое одностаничник, годок и эти казаки в старых отцовских форменных фуражках с родным оранжевым околышем и подсученными до колен гачами своих «шаровар» с лампасами в цвет околыша.

Летом с утра и до вечера звенят беззаботными голосами берега родной реки ... Идут дни и месяцы ... Проходят года ... Станичная школа ... — время крепкой казачьей спайки — годки-побратимы!

И вот на исходе своей жизни, оглянувшись на пройденный путь, с каким теплом и умилением вспоминаешь ту казачью «стать» — взаимную выручку — и не наша, казаков, вина, что положив многие головы, мы лишены родины.

Сколь память воскрешает отрадных случаев, гда я — казак среди других казачьих войск — был не только желанным или Богом данным гостем, но своим родным братом... Обо всем этом не поведаешь: так много и нет тех слов, чтоб передать эту — казачью стать!

Кто были законоположниками этих крепких казачьих правил, кто их хранил столько веков в чистоте?.. — Наши предки: деды и отцы и им СЛАВА!

1

РЫБАКИ

Раннее утро. Солнце только что взошло над дальними островами. Взошло большое, бледное и уже по-летнему жаркое. Косые лучи его быстро убирают с остывшей за ночь широкой глади реки дымку легкого предутреннего тумана.

Река, как огромное зеркало, отвечая солнцу, светит, играет и искрится бликами. Дали её, сливаясь в серебристую туманность, с трудом улавливаются глазом, вся ширь движется-течёт плавно, спокойно, и лишь вскипающие и растекающиеся широкие бесшумные водовороты на её светлой и радужной поверхности выдают жизнь — движение огромных масс воды.

Озаренная ранними лучами яркого летнего солнца, не обеспокоенная ни тенью облака, ни дуновением ветерка, она переливается игрой своих тонов и блещет, как полоса металла.

Тихое летнее утро — начало июня.

Многочисленные острова и островки, заросшие лиственным приречным лесом, кустарниками и цветущими травами, дышат ароматами смолистых тополей, черемух, жасмина и душистых трав. Воздух свеж, густ от запахов, от утренней прохлады и от особой звучной, ничем не нарушаемой тиши-

ны, тишины какой-то сладостной и светлой, и где-то далеко в чащах островов воркующая горлинка не может нарушить и разбудить её.

Тих воздух, тиха и гладь реки. Все полно ещё сонной ночной дрёмы, медленно и неохотно расставаясь с прохладой и грёзами прошедшей ночи.

Солнце уже высоко, и на него трудно смотреть — начало дня. Над гладью реки, как редкие снежинки, замелькали маленькие белые чайки-мартыны. Их слабый, мелодичный и какой-то грустный писк силится разбудить утро и оповестить о наступающем дне. Пара черных остроносых бакланов тяжело и низко протянула над рекой, направляясь в дальние мелководные заводи, где они соберутся стайкой в 20—30 штук и устроят организованный лов мелкой рыбешки. Серая цапля, дергаясь и неуклюже маша крыльями, с резким криком опустилась на берегу небольшого заливчика.

Наступил день мирного уголка большой реки, далекого от шума и суеты населенных мест. Население-то и вообще здесь негустое: по китайскому берегу небольшие деревни и поселки 30—40 верст друг от друга; по русскому, левому — станицы и хутора через мерных 15 верст. Группа больших и малых островов, лабиринт стариц, проток и проточек, образовавшихся в силу каких-то причин, создали здесь естественный питомник и заповедник для всякой живой твари. Амур здесь на протяжении 8—10 верст разбит на два основных русла: правый — старый Амур — широк, со многими протоками, проточками, курьями и заливами; левый, главный Амур, судоходный — уже, глубже и зажат в крутые берега, быстр и течет одним руслом. Вся эта местность носит название «Сычевские Разбои»: Амур разбит.

Мы сейчас в старом — в правом. Мирная жизнь этого уголка редко нарушается человеком. Сюда из-за многочисленных перекатов, мелей и непостоянства фарватера не заходят ни пароходы, ни тяжелые китайские джонки. Редко-

редко можно увидеть пробирающегося вдоль берега на своей маленькой низкобортной лодочке орочена или длинный и неуклюжий бат маньчжура. Здесь делать нечего, людей нет, и мирную жизнь этого тихого и красивого уголка человек редко тревожит. Птица, зверь спокойно выводят и растят свое потомство. Воды богаты рыбой; островные чащи, протоки изобилуют дичью.

Осенью в период отлета и перелета дичи здесь, как говорится, «стон стоит», и тогда редко кто из охотников нарушит мир этого уголка: охота на пернатую дичь — забава, баловство, а на полях в это время работа не ждет, каждая пара здоровых рук дорога, и исправному хозяину стыдно бегать по болотам и чащам, а для молодых и страстных охотников есть места и поближе. Городским сюда тоже далеко — больше ста верст, да они и под боком имеют хорошие угодья. Бог оградил жизнь своей твари от человека, дав ему полноценный труд в этом благословенном крае, богатом и изобильном. Трудись, и у тебя будет всё, дарами природы пользуйся разумно, а потому по нашему хлебородному району, да и по всему среднему Амуру, Зазейскому району, главная цель — хлеб, а охота и рыбалка — как спорт и подспорье в хозяйстве, изредка с оттенком промысла.

В это прекрасное тихое утро за широкой песчаной косой, на берегу неглубокого залива, около спущенных в воду лодок — группа людей: трое взрослых и два подростка. Это рыболовная артель, ставшая здесь с весны на ловлю крупной и ценной рыбы: осетра и калуги. Рыбаки на берегу у лодок — поярковцы: Григорий Андреевич высок и широкоплеч, лицом приятен, бороды, несмотря на свой почтенный возраст, не носит, усы подкручивает вверх — рожками, держится солидно, соответственно чину — старший урядник. Лет ему 45—50; он имеет взрослых сыновей, которые и заменили его в хозяйстве, а «старик» может побаловать себя

рыбалкой. Григорий Андреевич любит и знает это дело, в рыбалке он пайщик и здесь за старшего.

Второй из «стариков» — Савельич. Он невысок, приземист и плотен. На его коротко стриженой голове соломенная шляпа-тиролька. Лет ему 22—25. Савельич хорошо грамотен, любит книгу и повышает свое образование. Он из иногородних и здесь на рыбалке по найму от второго пайщика и его доверенный; он не особенно разговорчив, по-видимому любит природу, так как у него нет стремления к городу. Среди казаков он давно, а потому — свой.

Третий из группы — Пашка. Пашке 18 лет, но он не по летам высок и могуч, с копной медно-рыжих кудрей на голове, с кулаками, как молоты, с крупными ступнями своих сильных босых ног; он загорел, как и все другие рыбаки, но каким-то особым ярким загаром, и весь как будто вылит из меди, за что и получает кличку «медный идол». Пашка — казак с хутора нашего станичного округа, сирота и вырос среди дальних родственников, на которых работал с малых лет, не имея сам ни кола, ни двора. Подошло время через два года Пашке идти на службу, то есть отбывать воинскую повинность, но среди казаков так не говорят, ибо казак не знает никакой повинности, а есть определенная и почетная для каждого служба. Однохуторяне Пашки, обеспокоенные тем, чтобы выход его на службу не лег всецело бременем на их плечи, определили Пашку на заработки, чтобы он к моменту выхода что-то имел и сам.

Два подростка, сидящие тут же на галечном плёсе и греющиеся на солнце после раннего купанья — Оська и Васюха.

Оська — мальчишка лет 12—13, с круглым мягким лицом, на котором светятся большие голубые глаза. Губы его толсты и имеют какую-то особую складку, за которую он носит кличку «ушкан» (заяц); Оська по временам бывает солиден, но чаще игрив, смешлив, и бесшабашный мальчиш-

ка моложе своих «солидных» лет. Он зимой в школе, где идет неплохо, любит книгу и, можно сказать, человек грамотный. Пишет Оська старательно и красиво, как показано в его прописи, а ему за его успехи обещана должность весовщика на мельнице, а сейчас он в компании со своим сparщиком проводит летние каникулы на рыбалке со «стариками».

Васюха — малый лет 10-ти и гимназист первого класса, сын главного участника рыбалки, куда он отпущен с Оськой на отдых от «трудов праведных».

Васюха, несмотря на свой младший возраст, ростом несколько выше Оськи, белокур и веснущат, живой и подвижный, у него нет еще Оськиной солидности. Оба они — рыбаки и, пока, безружейные охотники.

Оська — служащий на побегушках, но на лето, с возвращением Васюхи домой, он освобождается от своих обязанностей; вернее, не освобождается, а просто самотеком и без всяких сомнений присоединяется к Васюхе во всех его «предприятиях», и на это время на Оську просто машут рукой: когда ни хватись, их все равно не найдешь дома. Свободы их не стесняют и особенно о них не тревожатся, так как оба они уже — «люди опыта», рыбаки и охотники. Они свободно управляют лодкой, умело гребут и даже в свежий ветерок рискуют идти под парусом. Свою могучую, прекрасную и многоводную реку они знают с пеленок, и к ней у них не страх, а почтительное уважение и беспредельная любовь. Мир без реки они не могут себе и представить.

Сейчас они на рыбалке за 45 верст от дома, вверх по реке, куда они пришли на своей небольшой лодке недели две тому назад. Сегодня их подняли рано: предстоит большая работа, а один из рыбаков отсутствует — увел накануне пойманную калугу в станицу, и потребовалась помощь ребят. Ребята, чтобы согнать сон, искупались и сейчас, дрожа от

утренней прохлады, клюют носами и все еще сонными глазами следят за работой «стариков» и Пашки.

«Старики» готовятся к постановке снастей. Каждый знает свое дело, и сборы идут без суеты и проволочки. Григорий Андреевич и Савельич набирают в большую рыбацкую лодку хребтины.[1] Пашка переносит тяжелые снастовые якоря — каменные плиты, зажатые в дубовые рогульки-лапасти, и укладывает их в лодку. Туда же он сносит наплава-буи, окрашенные суриком в ярко-красный цвет. Будут ставить за один выезд несколько снастей, а потому в лодке сейчас большой груз и тесно. Се-фуза принес плоскую, плетеную из тонкой лозы корзину с аккуратно в ней уложенными подготовленными крючками и банберами.

Се-фуза — самый старший по возрасту член артели, китаец, сжившийся с русскими. Сколько ему лет, сказать трудно, но в его жиденькой косичке, которую он прячет под черную шелковую шапочку с затейливо сплетенной из красного шнура шишечкой, уже немало серебряных нитей. Он, как и большинство китайцев, не носит ни бороды, ни усов. Рост его можно бы отнести к высокому, но он уже по-старчески несколько сутуловат, а потому кажется ниже своего настоящего роста. Опрятность в одежде и аккуратность во всем — характерные черты старика. На нем синяя китайская рубашка и такие же широкие штаны; последние у щиколоток замотаны неширокой черной обмоткой. Небольшие черные глаза его еще ясны и по-стариковски зорки. Приветливая улыбка не покидает его смуглого лица, его мягкий и уживчивый характер невольно располагает каждого к нему.

Се-фуза — большой специалист рыбного лова всеми принятыми на Амуре способами и в этом деле авторитет, а за свой мягкий характер, за свою отменную тактичность,

---

[1] Хребтина — основной тросс снасти.

любовь и бережливое отношение ко всему живому, населяющему воду и сушу, он и сам пользуется общим уважением. Для Оськи и Васюхи он лучший друг и учитель. Они и поселились вместе — не в землянке со «стариками» и Пашкой, а в его прохладном и душистом балагане, где так хорошо спится и в зной и в дождливые дни.

Се-фуза на рыбалке заведует хозяйством, он главный советник и повар. Он освобожден от тяжелого физического труда, но весь порядок и уклад в стане ведет он.

Сборы закончены, и «старики» моют руки. Григорий Андреевич или дядя Григорий, как зовется он в просторечии, с Савельичем идут к землянке. Пашка ушел за веслами. Молодежь, перебарывая сонливость, подымается и тоже бредет в столовую — невысокий навес, крытый хворостом и травой для защиты от солнца и небольшого дождя, где на вбитых в землю кольях устроен невысокий стол и стоят напиленные по числу членоз артели чурки-стулья.

Григорий Андреевич, Пашка и остальные, садясь за стол, крестятся. Се-фуза ставит на стол закопченный, тяжелый и сейчас пышущий жаром медный чайник — «Байкал», как его зовет дед Колотушкин.

— Чай пить да ехать, — как бы про себя тихо говорит Григорий Андреевич.

Завтрак не занимает много времени: по куску холодной пресной лепешки, по кружке черного, без молока и сахара, чая и остатки от вчерашнего ужина — и завтрак закончен. Курящих в нашей ватаге лишь двое: Се-фуза да отсутствующий рыбак, дед Колотушкин, а потому, не рассиживаясь за столом, все поднялись и направились к лодке.

Команд нет; все роли и обязанности распределены давно, и каждый знает свое место. Васюха — это ваш покорнейший слуга — кормчий, или, как говорят у нас, рулевой; должность почетная и ответственная, но он уже испытан в этом

деле и пользуется доверием. «Старики» приучают нас к делу — натаскивают. Занимаем свои места и отчаливаем.

— К устью Тихой, под перекатами ставить будем, — объявляет Григорий Андреевич.

Разворачиваю лодку носом против течения и веду ее, придерживаясь берега, стараясь избегать быстрых течений и одновременно прикрывая гребцов тенью береговых кустов и деревьев от уже жарких лучей поднявшегося солнца. Я внимательно и даже напряженно слежу за ходом лодки, стараясь, чтобы все повороты ее были плавны и своевременны, так как знаю, что незримый глаз «стариков» следит за всеми моими промахами, и боюсь получить замечание при всей артели.

На веслах первой пары — Пашка, на второй — Григорий Андреевич и Савельич, каждый по веслу. Гребут не спеша, не затрачивая особенно сил; день впереди большой и работы предстоит много, да и не принято в таком деле пороть горячку; все делается степенно и солидно.

Лодка идет в глубокой тени, четко очерченной вдоль берега. Река, залитая солнцем, нестерпимо светит своей гладью. Далекие противоположные берега островов в уже нагретом воздухе рисуются миражами. Налетающие редкие маленькие воздушные вихри пробегают по ее зеркалу темными полосами мелкой ряби и исчезают так же внезапно, как и зародились. День жаркий, и возможно, что к вечеру будет гроза.

Оська сидит на носу лодки и пока, от нечего делать, смотрит в убегающую под лодку воду; строит временами испуганные рожи и разводит руками, показывая мне размеры бросающихся иногда от берега рыб, причем размеры эти с каждым разом все увеличиваются, но я знаю Оську, а потому совершенно равнодушен и мало обращаю внимания на его сигнализацию.

Вот и цель нашего плавания — устье широкой протоки Тихой, место сегодняшних наших постановок. Здесь, немного выше устья протоки, в широком русле реки несколько следующих один за другим перекатов образовали пологий ступенчатый спуск с быстрым течением, в струях и водоворотах которого любят держаться осетровые в период мётки икры.

На широкой песчаной косе противоположного берега протоки выгружаем весь груз и снова набираем, но уже тщательно и аккуратно укладывая кольцо за кольцом, упругую хребтину, следя, чтобы в нее не попала какая-нибудь веточка или палочка и не послужила помехой при постановке; буй, якоря уложены на свои места, но всё лишь для одной снасти, остальные остаются на берегу до своей очереди.

Занимаем свои места. Григорий Андреевич стоит в лодке и всматривается вдаль, в быстрые струи перекатов; садясь на свое место, обращается ко мне:

— Ну, командир, видишь на высоком берегу острова, над обвалившимся яром сухое дерево? Так пойдешь на уровень его, а там на перебой под верхний перекат. Там бросим. Отчаливай.

Снова так же не спеша идем, поднимаясь на уровень намеченного дерева. Течение здесь быстрое, и гребцы, расстегнув воротники рубах, гребут с усилием. Лодка идет как-то напряженнее, и шум струй за бортом сильнее.

«На уровень сухого дерева» — а как определить? То, мне кажется, — уже время поворота, то — нет, еще рано . . . Я часто взглядываю на дядю Григория, но тот смотрит за борт, как бы что-то разглядывая в воде, и не замечая моих вопросительных взглядов.

«Нет! Время!», — решаю я, торопливо пересаживаюсь на другой борт и сам, без команды, готовлюсь делать поворот, а в это же время дядя Григорий роняет:

— Пошел!

Наваливаясь грудью на рулевое весло, глубоко и круто перевожу его на правый борт, гребцы веслами левого борта помогают мне, и лодка поворачивается на месте. Гребцы разом налегают на весла, и лодка набирает ход. За бортом струя воды начинает петь беспрестанно и тонко, и с каждым взмахом весел ускоряется ход. Внимательно слежу за направлением и забираю немного выше сухого дерева, страхуясь на снос.

Скоро, вот сейчас, наступит самое главное, ответственное и даже опасное.

Я быстро бросаю взгляд на уложенную снасть: всё ли в порядке, и не подползла ли какая-нибудь коварная петля хребтины к моим ногам; но все на месте: два больших и тяжелых якоря так уложены на левый борт, что первому достаточно небольшого моего толчка, и он полетит за борт; второй потребует более значительных усилий, но не моих. Мои глаза в данный момент, как говорится, «один на вас, другой на Арзамас» — и на дядю Григория, и на сухое дерево.

— Давай!

Легкий толчок моей ноги — и якорь, подняв фонтан брызг, скрывается в воде, увлекая в зеленую глубь желтую хребтину из манильского тросса. Гребцы гонят лодку с предельной скоростью. Хребтина, перебегая через борт, с тихим визгом разматывает кольцо за кольцом, и конус её быстро тает.

Вот Савельич также пинком выбросил за борт буй... Еще 10—15 сажен, и лодка, как осаженная лошадь, задрав высоко нос, стала на месте. Гребцы, выпучив глаза, налегают на весла из последних сил — вытягивают слабину. Якорь, придавленный ногой Савельича, порывается за борт, а лишь тот убрал ногу, он с сильным всплеском скрылся за бортом, и лодка, освободившись, делает скачок. Гребцы шабашат, по-

долами рубах вытирают с лица обильный пот и пригоршнями пьют забортную воду.

Главное сделано.

Пашка один на веслах, и мы подходим к бую. Оська багром подхватывает его фал и, быстро перебирая по нему руками, подходит к хребтине и подымает ее на нос лодки.

Савельич, Пашка и я сейчас без дела — отдыхаем. Григорий Андреевич переходит на место Оськи на носу лодки и садится лицом к корме. Хребтина лежит перед ним на бортах и от быстрого течения гудит, как телеграфный провод. Оська осторожно вынимает из корзины крючок за крючком, подает их Григорию Андреевичу, который привычным однообразным движением рук быстро навязывает их на хребтину, отступая раз за разом на определенное расстояние, и желтые поводки крючков ровными тускнеющими штрихами уходят в речную глубь.

Снасть за снастью ставим еще две. Осматриваем три старых и, сняв несколько небольших осетров и калужат, направляемся к стану.

Солнце уже далеко за полдень и жарит сильно; даже на речном просторе жар его томит, и все устали, а голод напоминает о себе. На веслах Пашка. Далеко назад закидывая весла, он гонит лодку рывками и, увлекшись ее ходом, не обращает внимания на катящийся по его лицу пот и мокрую от него рубаху, налегает на весла.

— Пашка, вот сломаешь весла, леший, так я те задам, — ворчит Григорий Андреевич.

Пашка, как бы спохватившись, сразу умеряет свой пыл, но, приняв эту угрозу, как комплимент, расплывается в широкой улыбке и, стараясь ее скрыть, воротит голову набок и, шмыгая носом, удерживает готовый сорваться смешок.

Вот и наш стан. На берегу стоит Се-фуза, поджидая нас. Пашка лихо делает поворот и, причалив, выскакивает из

лодки и одним рывком вытягивает ее вместе с нами чуть не до половины на берег.

— И все тебе неймется, Пашка, — вздыхает Григорий Андреевич. — Вон дай Се-фузе калужонка, пусть уху варит, да побольше: совсем отощали. А этих посади на кукан да поставь в тени на струю.

Мы с Оськой, лишь вышли из лодки, сразу бросились купаться. «Старики», посмотрев на нас, медленно раздеваются и начинают полоскать свои пропотевшие рубахи. С диким всплеском, не раздеваясь, с разбега влетает в воду Пашка и, нырнув, старается поймать за ноги меня и Оську. Крик, визг, хохот понеслись по реке. И усталость и голод забыты, и мы не слышим просьбы Се-фуза взять принесенный им чайник, забрести подальше и почерпнуть воды; поняли это лишь тогда, когда сам дядя Григорий взял чайник и побрел за водой.

Еще за обедом стали слышны далекие и тихие раскаты грома, но ни тучь, ни облаков не видно, небо высокое и бледное, жара не спадает. Потом на юге из-за высоких далеких сопок показалось облачко, быстро разраставшееся в темную тучу, застилающую весь юго-восток. Торопливо закончив обед и хлебнув наскоро теплого чая, мы с Оськой вслед за «стариками» отправляемся на покой. Не успели мы засунть в своем балагане, как зашумел крупный дождь.

2

ОХОТНИКИ

В этот день почему-то было решено не ехать вечером на обычный осмотр снастей, после обеда все разбрелись, и каждый занялся своим делом. Григорий Андреевич — заготовкой вил и граблей для своих покосчиков, Савельич устроился с книгой в тени старой яблони, Се-фуза под своим навесом стал точить крючки, а Пашка около лодок перетягивал свежими прутьями якоря и укладывал их в воду замокать. Мы с Оськой, побродив по берегу около Пашки и не найдя для себя занятия, забрались в свой прохладный балаган и уснули, как убитые.

Разбудил нас Пашка и, растолкав, таинственно шепнул:

— Айда купаться, и на охоту: за козлом пойдем.

Сон слетел с нас. На бегу снимая с себя доспехи, бросаемся в воду и, не теряя времени, окунувшись раз-другой, быстро одеваемся и спешим в столовую выпить кружку чая и запастись на дорогу куском хлеба.

Пашка принес из землянки старую длинную пехотную берданку и сел приводить ее в порядок. Мы услужливо выполняем все Пашкины приказания: бегаем за керосином, за паклей для протирки, за ножом, за отверткой, лишь бы

не задерживаться с выходом. Пашка старательно трет ствол и внутри и снаружи, смотрит через него на свет и снова трет и трет. Разобрал затвор, сидит и рассматривает его и также принимается тереть, смотреть и снова тереть, и этому, кажется, нет конца.

— Пашка, — стонем и просим мы, — ну, што ты, ведь хорошо! Ну, што ты все трешь? Ведь готово, пошли!

Пашка глух к нашим мольбам. Собрал винтовку и, прислонив к столбику, на котором покоится угол крыши навеса, сидит, зевает, смотрит на солнце и не думает подниматься. Мы сидим на корточках около него и, как нищие, тянем и зовем, но все наши мольбы напрасны: «медный идол» неумолим. Мы потеряли надежду и уже безучастно сидим и ноем, и вдруг получаем по сильному толчку в головы, так, что опрокидываемся на спины, а Пашка командует:

— Обуваться!

Он приносит старые улы Се-фузы и приказывает их размочить. Мы торопливо хватаем по улу и бежим к воде, суем их в воду, мнем, тискаем, стараясь как-то ускорить процесс и размять превратившуюся в кость сыромятную кожу. Но вот, кажется, обувь уже размокла и достаточно мягка; несем Пашке в надежде, что наш труд и старания будут оценены. Пашка помял в руках улы и, покосившись на нас, бросил их нам под ноги, приказав размочить и размять, как следует. Снова идем к воде, но уже без всякого порыва; в нас зарождается и нарастает протест, мы уже готовы восстать, а тут еще вслед нам летят также наши ичиги, которые от долгого лежания превратились в сухарь. Свалив все в воду, мы сидим в лодке, и нам уже безразлично — идти или нет; мы устали от ожидания, от неопределенности, сидим и тупо смотрим в воду, на севшую на борт лодки стрекозу. Вдруг слышим голос Пашки:

— Вы што, примерзли там? Вот и сидите, пойду один. Очень вы мне нужны!

Хватаем, кому что попало, на бегу выливаем из ул и ичиг воду, спешим.

Пашка, выжимая улы, так их скрутил, что они скрипят и белеют. Расправив их, он набивает попавшей под руку сухой травой и, надев на ноги, приматывает кое-как веревками. Мы, выжав свои ичиги, обуваемся торопливо, но тщательно, наматываем на ноги портянки и аккуратно затягиваем специально приспособленными к ичигам ремешками. Пашка видит наше старание, молчит, а когда все были готовы, он медленно поднимается, берёт винтовку и говорит:

— Так, ладно; пошли, охотники!

Мы идем, пересекая наш большой остров, направляемся к виднеющимся вдали сопкам. Пашка, как слон, ломится через высокую траву, камыши и заросли мелкого колючего и перевитого кустарника. Мы то идем, то бежим за ним, путаемся в траве, спотыкаемся в кочкарнике, падаем, вскакиваем и снова бежим догонять.

Выходим на широкую, но сейчас мелководную протоку. Она отделяет наш остров от материка, вся ширь ее сейчас занята плёсами чистого белого песка, и лишь под противоположным крутым берегом струится полоса прозрачной воды.

Выскочив из чащи и увидев что нам предстоит переправа, мы с Оськой хотели снимать свои ичиги, но Пашка, не останавливаясь и не снимая ул, перешел протоку и уже скрывается в береговых чащах. Мы бросаемся за ним и, перебредая, набираем полные голенища воды, но, боясь потерять своего вожака, бежим за ним, скачем то на одной ноге, то на другой, подгибая свободную, чтобы вылить из ичиг воду.

За береговым кустарником, переходя сухое кочковатое болото, Пашка набрал довольно большой букет мягкой ве-

тоши. Мы соображаем, что это Пашка собирается, как убьёт козла, разводить костер, и мы будем тогда жарить на палочках печенку, как делают все наши охотники. Правда, жарить приходится без соли, так как брать соль на охоту нельзя: не будет удачи; но соль можно заменить, посыпая жаркое пеплом из нашего костра; правда, это не так вкусно, но терпимо. Мы начинаем по дороге подбирать и собирать сухие палочки, веточки — запасаться дровами. Пашка, заметив нашу работу, останавливается и вопросительно смотрит на нас:

— Вы што это?

— Дрова. Жарить!

— Жарить? Я вот вам как прижарю, так . . . Бросьте! Кому говорю? Жарить! . .

Мы стоим в недоумении и вместе с тем чувствуем, что допустили какую-то большую оплошность, нарушив охотничий «устав», и, может быть, этим испортили всю охоту.

Пашка часто оглядывается на нас и грозит нам кулаком, и видно, что наш поступок его обеспокоил.

Вот и первые невысокие сопочки — отроги виднеющихся вдали гор. Низкорослый орешник и мелкая поросль осинника и редкого березняка покрывают их отлогие склоны, Отдельные деревья или группы крупного дуба разбросаны по этой поросли, неглубокие широкие ложбинки, поросшие травой, спускаются к протоке.

Пашка сидит под большим развесистым дубом и, сняв улы, выжимает их и, расправив, бросает на траву подсушить, а сам начинает наминать принесенную с собой ветошь. Мы, расшнуровав свои ичиги, стараемся их снять, но они раскисли и не сползают с мокрых и туго накрученных портянок. Мы помогаем друг другу, но наши усилия напрасны. Подходит Пашка, садится против меня и командует:

— Упрись мне в ногу!

Я упираюсь одной ногой ему в колено, а Пашка с другой одним усилием сдергивает ичиг; потом — с другой ноги, так же с Оськи, приговаривая:

— Намотали по мешку, хохляндия. Переобувайтесь, да живо. Вон возьмите ветоши, намните, да обувайтесь, как орочены, вот и будете охотниками; а то — намотали!

Мы и Пашка переобуваемся. Пашка аккуратно выстилает свои улы, внутри, намятой и мягкой, как тонкий волос, ветошью, осторожно вставляет в ул ногу и ловко и быстро закручивает вокруг ноги торчащие наружу концы и заплетает веревкой. Мы с Оськой торопимся, но, благодаря длинным голенищам наших ичиг, у нас ничего не получается.

— Эх, горе луковое!

Пашка вырывает из моих рук ичиг и, не спеша завернув сырое и мягкое голенище вокруг и наружу, быстро его скатывает в жгут до самой головки, так что в его руках получается такой же, как его, без голенища ул; он бросает его мне.

— Видал? Ну, так вот. Живо. Раскатаешь, сколь тебе надо.

Дело сразу пошло на лад, и мы готовы к походу. Сухо, мягко и легко ногам в хорошо надетой обуви.

Пашка стоит, прислонясь к дубу, осматривает местность, что-то соображает и, прийдя к какому-то решению, говорит нам:

— Ну, ребята, теперь иди за мной. Не отставать, не шуметь, смотри под ноги; на валежник не ступать, перешагивай. Пошли!

Пашка, как тростинку, подхватывает тяжелую берданку и медленно, переходя от дерева к дереву, от одной куртины орешника к другой, идет в намеченном им себе направлении, зорко осматривая все поляны и опушки зарослей.

Мы с Оськой, затаив дыхание и почему-то пригибаясь и озираясь по сторонам, хотя из-за высокой поросли ни нас,

ни нам ничего не видно, ждем, что вот-вот увидим желанную добычу.

Время идет. Усиленное напряжение и долгая настороженность утомили нас; мы с Оськой уже не так внимательны, и наш азарт гаснет. Мы отвлекаемся посторонними предметами: вспугнутыми нами пичужками, какими-то таинственными шорохами в траве, и лишь сейчас почувствовали или, вернее, обратили внимание, что нас грызет комар; трем лицо, шею, руки и неожиданно натыкаемся на Пашкину спину.

Пашка сидит за густой куртиной орешника, низко пригнувшись и втянув в плечи шею. Вся его фигура полна настороженности. На наш толчок он мгновенно оборачивается и делает такую зверскую рожу, что мы, и без того припавшие к земле, сейчас готовы вдавить себя в землю, лишь бы не спугнуть добычи. Не в силах сдержать свое участие в охоте, мы в своих неудобных позах выворачиваем шеи так, чтобы иметь возможность хоть что-то увидеть. Пашка сидит и не шевелится. Наши шеи нестерпимо болят, в ушах какой-то звон. Но вот Пашка вытягивает шею, опять во что-то всматривается и, наконец, медленно поднимает винтовку и начинает целиться. Ожидая грохот оглушительного выстрела, мы закрываем глаза и еще плотнее припадем к земле. Проходит секунда-другая, а выстрела нет. Открываю глаза — Пашка снова сидит в прежней позе, втянув шею в плечи. Ждать дольше, терпеть нет сил.

— Пашка, кто? Ково целил? Што не стрелял? — шепчем и вопрошаем мы, но все напрасно . . . Я близко от Пашки и, не получая ответа, толкаю его рукой, но вскоре за Пашкиной спиной появляется его внушительный кулак. Оська, припав, навалился мне на ногу, и сейчас я чувствую нестерпимую боль, но боюсь пошевелиться, чтобы спихнуть Оську с моей ноги.

Вдруг Пашка порывисто вскакивает на ноги и быстро взбрасывает винтовку к плечу. Ну, сейчас выстрел, и мы опять невольно припадаем к земле. Но выстрела нет. Пашка опустил винтовку и чешет затылок, сметая с него комаров. Мы вскакиваем на ноги, подбегаем к Пашке и, уже не сдерживая голосов, засыпаем его вопросами:

— Ково целил? Што не стрелял? Кто был?

— Коза, ребята, была!

— Где была?

— А вон там в орешнике, вон за тем большим дубом.

— Так ты что же не стрелял?

— Не стрелял? Куда? Когда один зад-платочек видно? Думал, повернется али выйдет, а она почуяла, да дёру. Ну, теперь ищи-свищи, только ее и видели!

Мы, раздосадованные неудачей, ахаем и охаем и сыплем советами, как нужно было поступить.

Постояв немного и снова наметив себе направление, Пашка, трогаясь, говорит:

— Ничего, ребята, мы еще такого козла своротим, что и не дотащить. Пошли! А это что? Коза, да у нее сейчас, наверное, теленочек — инчиган маленький; а куда он сейчас без матери, его без матери-то и ворона заклюет. Айда, пошли за козлом!

Солнце уже ушло за горизонт, и быстро надвигается сумрак. Комар к вечеру становится нестерпим, и мы поспешно поворачиваем к стану. Пашка снова шагает впереди, не заботясь ожидать нас. Мы так же, как и передний путь, бежим за ним, опасаясь отстать и остаться одним в наступающей темноте. Перейдя обратно протоку, мы, пробиваясь сквозь береговую ее заросль, натолкнулись на гнездо маленькой пичужки, скрывшейся тотчас в чаще. Такое гнездо мы видели в первый раз и, рассматривая его, задержались. Гнездо — как маленькое осиное, но свито из тонких травинок и растительного пуха, а главное, оно ловко подвешено

на трех волосинках к гибким веточкам талового кустика и защищено от ветра окружающей чащей.

Рассмотрев гнездо и удовлетворив свое любопытство, мы спохватились и стали пробираться через чащу, но, выскочив на более открытое место, Пашки не увидели. Мы не испугались, но как-то растерялись и, не отдавая себе отчета, невольно крикнули несколько раз:

— Па-ашка! Па-ашка! . .

Но, сообразив что это он умышленно бросил нас и, может быть, прячется где-нибудь здесь же, чтобы потом нас высмеять, мы огляделись. Увидев там далеко, над нашим станом, вершины высоких тополей, чуть рисующихся на фоне уже слабого отсвета угасшей зари, мы ободрились и, пожелав Пашке всякого благополучия, пустились в дальний путь.

На стан мы прибежали, искусанные комарами и мошкой, и, чтобы смыть укусы, пот и усталость, бросились купаться, но вечерний свежий ветерок скоро заставил нас стучать зубами, и мы, торопливо одевшись, спешим к нашему вечно горячему чайнику «Байкал» — согреться и утолить голод.

Пашка с кружкой чая и куском хлеба, на котором лежал солидный кусок жареной рыбы, сидел у костра на земле и благодушествовал.

Мы разбираем свои чашки, берем из жестяного таза на столе хлеб и тут же оставленную для нас Се-фузой жареную рыбу, так же как и Пашка, солим ее крупной солью и садимся у костра по другую его сторону от Пашки. Пашку мы не удостаиваем нашим вниманием; он для нас не существует, и мы не намерены с ним разговаривать, хотя нам страшно хочется как-то его задеть — завести. Пашка это понимает и чувствует и сам приходит нам на помощь. Он смотрит на нас прищуренными смеющимися глазами, которых мы стараемся не замечать, так как он для нас вообще не существует.

— Что? Струсили, небось?

— Ничего не струсили, очень нам надо трусить!

— Надо, а замяукали, небось: Па-а-ашка, Па-а-ашка! Я вот вдругорядь заведу вас в самую что ни на есть тайгу и брошу волкам на закуску; посмотрю, как запоете! Трусы несчастные!

— Боялись мы твоих волков! Вдругорядь мы сами пойдем с ружьем и так трахнем твоих волков, что не обрадуются... Ты тоже охотник — сто лет целился, целился, а не стрелял. Вон дядя Григорий тогда: гуси сели на косу, так он — чик, и готово, а ты — сто лет...

— Дядя Григорий! А у дяди Григория-то винтовка-то какая? Трехлинейка, пристрелянная, с обшитой мушкой, я бы из той винтовки мухе в глаз, а эта оглобля на сто шагов на сажень разбрасывает. А вы чево расселись тут? Убирайтесь спать, трусы!

— Ты не командуй; без тебя знаем, когда нам спать, когда не спать. Тоже — целит, целит, а тогда...

Пашка делает резкое движение, как бы вставая, и мы вмиг уносимся к нашему балагану.

Усталость прошла, зуд от комариных укусов смыт и утих, и нам еще не хочется спать и расставаться с Пашкой, но мы притворно грубо и зло кричим ему:

— Ты к нам не приходи; все равно не пустим в балаган, и без тебя тесно!

Но этот отказ звучит надеждой и своего рода приглашением.

3

ПАШКА И ШАМАН

Пашка, прогнав нас от костра, вскоре и сам появился около нашего балагана. Появился со своей постелью: козьей шкурой, поленом под голову и свернутой в трубку стеганой китайской курмой.

В балагане темно, и Пашка, просунувшись в лаз, шарит руками, нащупывая свободное место. Мы с Оськой, удерживая смех, подкатываемся ему под руки, и Пашкины руки все время натыкаются на нас.

— Ну вы, двигайтесь к стене. Разлеглись, господа! Кому говорю? А не то повыкидаю из балагана собакам.

— Тебя кто звал? — протестуем мы. — Чего лезешь к нам? Только блох натащишь из своей землянки. Мы к вам туда не лезем. Пошел от нас; тут и без тебя тесно.

— Тесно, ну дык сичас будет нетесно. Ты, ушкан, — ловит он Оську за ноги, — подвинешься или нет? Не то я тебе сичас ходулки-то вывинчу.

— Пашка, а ты рассказывать будешь? — стараемся мы выторговать условия и вместе с тем скрыть свое удовольствие по поводу его прихода, в надежде вновь послушать Пашкины страшные фантазии.

— Пошли вы от меня. Рассказывать, а потом трясетесь и за нуждой из балагана вылезть боитесь.

— Тогда уходи, отваливай! Мы тебя не пустим, убирайся!

Но Пашка уже вселился и, развалившись посреди балагана во всю свою мощь, не обращает внимания на наши протесты, зная их неискренность и то, что мы всегда рады его компании.

— Пашка, а ты чёрта боишься? — стараемся мы вызвать его на рассказ и навести на страшную, но всегда интересную для нас тему, где фантазия Пашки не знает границ и иногда заставляет нас с головой лезть под одеяло и вздрагивать при каждом шорохе.

— Пашка, расскажи про чёрта, а Пашка!

— Пошли вы от меня, на ночь буду я вам чертей поминать, тут и без них тошно. Тут от этого проклятого шамана житья нет, а они еще чертей сюда накликать.

— Пашка, а што шаман?

— Што! Вот вам и што; прошлый раз меня так напугал, что и по сей час ноги трясутся . . . будь он неладен.

— Врешь? — сомневаемся мы и вместе с тем стараемся побудить Пашку на рассказ, хотя уже чувствуем, что он сел на конька, и что тема для рассказа найдена, и рассказ последует, но, желая польстить и тем подогреть рассказчика, мы просим:

— Пашка, расскажи, а Пашка!

Пашка налаживает свою подушку — полено и курму, — вздыхает и как бы про себя говорит:

— Вот окаянный леший, как напугал, чтоб тебе скиснуть!

Мы не имеем больше сил ждать и начинаем уже не просить, а требовать:

— Пашка, ну что ты тянешь, рассказывай, ну! Какой шаман? Когда, где напугал?

— Сказано вам, на ночь и поминать не буду, отвяжитесь.

— Ну, тогда, значит, врешь ты все и никакого шамана нет, и ты все врешь.

— Врешь, а пощупай-ка мои ноги, вишь как трясутся. Вот вам и врешь.

Мы в темноте нащупываем Пашкины ноги и убеждаемся, что они действительно трясутся; ожидаемая нами страшная сказка начинает принимать в нашем воображении значение действительной были, и мы с некоторым жутким опасением затихаем в своем углу.

— Леший непутевый, — как-то устало бормочет Пашка и, по-видимому, чувствуя что аудитория достаточно подготовлена, начинает рассказ издалека.

— Это, ребята, весной, ну, наверное, недели через две, как стали мы здесь рыбалкой, я так же с полдня отпросился у дяди Григория сбегать на охоту, посмотреть места, посмотреть след, какой, мол, здесь зверь водится; раньше-то я в этих местах не бывал, ну, значит, и был вроде как слепой; ничего не знаю: куда идти — направо ли, налево ли, не знаю.

Дядя Григорий и говорит: «Ну, что ж, парень, иди посмотри. Раньше-то эти места были добрые, и зверь водился разный, а коза годами, бывало, как мошка: зимой шла она большими стадами, шла она из нашей тайги в Китай; да ее и сейчас здесь немало, только время-то сейчас неподходящее: коза потелилась и прячется по чащам да сухим камышам; да сухущая она теперь, что ветошь — какая в ней корысть? Но посмотреть — сходи, посмотри. Лес-то, который к Амуру ближе был, так его много пароходы на дрова извели, зверя сшевелили, и он откочевал подальше, в горы, но фарт будет, так придешь с мясом».

Ну, я, значит, ноги в зубы и айда.

Вот где мы сегодня, ребята, были, так от этой первой сопки, где мы переобувались, если податься в сторонуороченского стойбища и чуть в горы, то версты за две выйдет ши-

рокая падь, по ней неширокая, но здорово глубокая, мне по грудь, речка; на ней-то орочены и живут, семь юрт, а они свою деревню называют «Семь домов». Рыбы в этой речке хошь отбавляй; тут тебе, брат, по омутам да ямам такие таймени, что и не выворотишь, ленок, хариус, а поздней осенью, как потом мне говорил старик орочен, идет и кета, и они ловят ее на зиму.

Да, ребята, вот бы где поселиться да пожить, — мечательно вздыхая, говорит Пашка.

Старик-то орочен это мне всё потом сказывал, потом-то я к ним часто захаживал. Он, гыт, зимой, как падет хороший снег, да ударят холода, то по этой речке, по осинникам да березнякам, соберется столько тетерь, что ворон; вот тут бы, ребята, с малопулькой. Эх! . .

Так, значит, я и пошел правым увалом этой пади. Следу козьего, — всё исхожено, но наткнуться не удается; еще не время, солнце высоко, и зверю на кормежку рано, и до охоты далеко.

Вот я и думаю: чем зря бродить да штаны по чаще рвать, дай пройдусь хребтом, да посмотрю, что и как там — по ту сторону.

По ту сторону — крутые распадки, идут на закат. Лес — тайга, обрывы и большой камень. По распадкам ключи, и везде журчит вода, а местами такая завируха винограда да лимонника, что пробираться можно лишь по кабаньим тропам, а троп там — как переулков в станице. След разный — и старый, и свежий: кабаний, изюбриный, а повыше по гребням, среди камней, и кабарожий. С хорошим ружьем тут зверя добыть можно. Надо, думаю, дядю Григория подбить сюда; с его-то винтовкой — чистое дело.

Обратно стал ворочаться, перевалил хребет, попал в небольшой распадочек, такой веселенький да ладный; речушка маленькая, перешагнуть можно. Вода холодная — зубы ноют, да чистая-чистая, как слеза . . . Бережок порос где ши-

повником, где камышом, там-сям большие дубы или вязы. По речке много козьего следа, а по камышу да высокому пырью — лёжки, к водопоям — тропы. Вот, думаю, натакался на место, сумей лишь потрафить, и можно козла добыть. Потрафить, а как? Где засесть?

Сижу да гадаю, а тут на меня и наскочи ороченский парнишка. Сперва-то струхнул парень, а потом расчухал, что русский, здоровкается: здравствуй, гыт, а я ему по-ороченски говорю: обгора; это по-ихнему тоже «вздравстушь». Подсел он, ганзу [2] достал, закурил — они, как китайцы, все курят. Посидел, помолчал, только трубкой посапывает; у них сразу много говорить нехорошо, надо посидеть, помолчать, а потом говорить, да не орать во все горло: они шума не любят — боятся.

«Мэрген?» [3]

«Би». [4]

«Ково промышляешь?»

«Гуран биси».

«Нашел, нету?»

«Рано».

«Верно».

Вот теперь мы поговорили, и как бы дружки. Ороченок снял с плеч берестяной короб и, приподняв в нем мокрую траву, показывает, а там, наверно, с пуд линьков, да хариусов. Это он, чертенок, их лучком настрелял: сождет на перекатике — и чик по горбуше.

«Тут сейчас по речке этой рыбы много; вода сейчас холодней, чем в большой реке. Ты, — гыт, — однако, сейчас лучше рыбу промышляй, козу надо ждать; бери мой лучок

---

[2] Ганза — китайская трубка для табака с длинным прямым чубуком.

[3] Мэрген — охотник.

[4] Би — да, есть.

и рыбу бей, али иди вон туда повыше, там в распадке старый солонец[5] есть, так, может, там покараулишь».

Солонец я нашел, но солонец шибко старый; однако видно, что, хотя и редко, но козлы на него заглядывают. Сидка на земле пониже солонца, из березового накатника, совсем сгнила — труха.

Сидеть или не сидеть? Нет, думаю, не гонись, Пашка, зря, а лучше подладь солонец да приходи наверняка . . .

Дядя-то Григорий мне и говорит: «Ты это, паря, Паха, ладно сделал — зря-то не сидел, а вот завтра после полдня ты сходи туда да обладь всё, как следует. Возьми у Се-фуза соли фунта два-три, да подсоли там с умом; вот и я как-нибудь схожу посидеть, или Симон приедет, тоже любит старинку вспомнить, да и ты иной раз мясо притащишь. Пойдешь — зайди к ороченам, скажись, что, мол, ты этот старый солонец оживить хочешь, так, мол, как вы?»

Ороченские собаки, будь они неладны, чуть меня на лесину не загнали, ребятишки да бабы кое-как палками отбили; не собаки, а волки, чтоб им!

Орочен старик только дома был, да бабы с ребятишками; охотники еще с пантовки[6] не вернулись. Орочен-то старик и говорит:

«Ничего, соли; мы солонцов не солим, соль-то дорогая, а козу и так добыть можно. Это солонец не наш, тут раньше даур[7] жил, его баба — наша ороченка, они здесь ловушки ставили, огород садили, немного землю пахали, чумизу сеяли, рыбу ловили, а когда война была, они убежали и теперь

---

[5] Солонец — искусственно подсоленное или естественно соленое место, куда в известные периоды многие животные приходят лизать соль.

[6] Пантовка — охота на благородного оленя в период созревания его рогов.

[7] Даур — монголо-маньчжурское племя.

под Мергенем [8] живут, сюда не придут, боятся; война — так все бросать надо. Баба-то его тоскует, сюда хочет, а он боится, не придет. Так ты соли. Наши солонцы в сопках, далеко, соленый камень, солить не надо. Зверь есть, лизать ходит.

Мой-то парень нынче панты хорошие добыл — толстые, шишки, как кулак, восемь веток. Хорошо варили — китаец старик варил, теперь конем Хей-хо пошли, продать надо. Тайгой пошли три люди, китаец старик помогает, у него знакомый купец есть, обмани не будет. Надо крадче ходи, а то китайский найон [10] увидит — отберет. Тайгой ходи тоже караулить надо, тайга тоже худой люди есть. Панты продадим, парня женить будем. Ууу, какой дорогой невеста! Подарки много делать надо, невеста тоже подарки надо — китай серебро, китаец старик помогать будет покупай; мой-то парень ничего не понимает, а старик все равно свой. Свадьба будет, мяса много варить будем, люди много придет, угощай надо. Ты ходи гулять, русский — свой, как братка. Ты сейчас чай хорошо пей, да ходи солонец делай. Умеешь?»

Наладил я солонец на первый сорт. В сидке новый накатник положил, а напротив на закат три белых березки пересадил, это чтоб ночью, если зверь с этой стороны подойдет и их собой заслонит, так чтоб ясней видно было. Теперь лишь сождать, пока зверь к солонцу приобыкнет и на соль ходить станет.

С неделю времени, как-то приплывает к нам на стан на маленькой берестяной омороче мой приятель ороченок,

---

[8] Мерген — здесь город в отрогах Малого Хингана на тракте Айгун-Цицикар; место скупки мехов и прочей добычи охотничьих племен этого района.

[9] Панты — молодые, еще не окостеневшие, рога изюбря — благородного оленя.

[10] Найон — гражданский чиновник на должностях уездных и областных.

спрашивает, что, мол, на солонец не идешь? Я, мол, там был и видел — козлы ходят, так и сидеть можно. Угостил я его чаем да хлебом так, что он прежде, чем домой ехать, под яром спать завалился. Был у меня кусочек сахару, я его ему и подарил, так он его языком попробовал, а потом в листик завернул и за пазуху сунул: я, гыт, его ребятишкам да бабам покажу, другие-то никогда его не видывали. Они-то, орочены, чудные.

На другой вечер собрался я на солонец, а чтобы зря комара там не кормить и солонец своим духом непропитывать, потрафляю ко времени, а день и вечер задались такие тихие, что не шелохнет.

Солнце пошло на закат. Комара туча, а как совсем стемнело, — подвалила мошка, заели проклятые вдребезги. Сижу, мошка жрет, и время бы и козлам быть, а тут хоть бы шорох. Прикину винтовку на небо, кое-как еще ствол видно, а потом туча ли нашла, или какое-то мороко, — ну, хоть глаз выколи, и на небо своих пальцев не вижу.

Не фартит тебе, Пашка; в такую темень стрелять — только зря солонец портить: зверя надолго отвадишь. Посидел еще немного, отошел тихонько от солонца, да и дуй домой.

Ветку сломил, от комаров да мошки отбиваюсь и, кажись, только протоку перебрел и из кустов выпутался, гляжу — огонек. Что такое? Как это я так быстро к стану высокочил? Вот так дали мне комары пару!

Огонек — это Савельич не спит, книгу читает; он это любит: прилепит свечку к окошечку, что над его изголовьем, загородит свет, чтобы дяде Григорию не мешать, ну и читает, иной раз до полуночи или пока свечка не сгорит.

Взял я напрямки, наддал шагу, а огонек и погас, да мне теперь все равно — вот и крышу землянки видно. Шагнул раз-другой, гляжу . . . а это не землянка, а шаманова могила. Эх, думаю, куда меня качнуло; оправел, но ладно, подам-

ся к берегу, а там плёсом живо добегу, да и комара там на ветерке меньше.

И только я, братцы, шагнул, а на могиле огонек. Мать честна! Да что же это? Наваждение? А тут, слышу, собака заворчала; опять же, думаю, откуда тут собаке взяться? Бородинская? Так ее давно, дуру, волчица унесла своим щенятам. Прислушался . . . Э-э-э, да это под землей, в могиле у шамана бубен. Это он, ребята, шаман начал шаманить.

Оторопел я, а бубен все сильней, громче гудит, погремушками звенит, мертвыми косточками шумит, а тут он — леший — пошел скакать да плясать, через костер туды-сюды сигать, да, грешная душа, как загнусит-запоет, да как завоет, ну, я и окаменел . . . Хочу это, братцы, бежать, а ноги-то — сто пудов . . . Пропал, думаю, ты, Пашка, без покаяния, сгоришь в этом поганом шамановом костре, и косточек твоих не найдут, подождут, поищут и забудут.

И приди мне на ум дядя Алеха — это наш, куприяновский, и я вспомнил, как он учил меня: «Ты, гыт, Пашка, когда с чёртом или с какой другой нечистью столкнешся, первым делом — не трусь, а вот как я тебя научу, так и действуй; вот запомни, что я тебе перескажу, и чихай на них. Это, гыт, брат, меня еще наши старики научили, а старики знали и умели чертей взнуздывать».

И только я, ребята, перекрестился и дяди Алехи слова сказал, как шаман-то так с полного хода о земь и шмякнулся, да чуть в костер, каторжный, не угодил.

Пашка, давясь от смеха, с трудом договаривает:

— И бубен и колотушка улетели к шишам, а я дунул драть так, что с версту мимо землянок пролетел!

Пашка молчит. Молчит, еще невернувшись к действительности из далекого полета его фантазии, или, как опытный рассказчик, дает возможность слушателям глубже пережить нарисованную им картину.

Молчим и мы. Я еще не в силах побороть навеянную жуть и освободиться от пережитых опасений за Пашку, за его не раскаявшуюся душу.

Се-фуза, попыхивая своей трубочкой, по-видимому, тоже был внимательным слушателем Пашкиных повествований.

Оська первый освобождается от впечатлений рассказа, уже пытается выяснить некоторые непонятные ему положения и пристает с вопросами к Пашке.

— Пашка, Пашка, ты как же версту убежал мимо землянок? Ведь за Бородиным-то лог и вода; ты што, по воде бежал?

— Эх, дура! По воде? Не по воде, а добегу до лога и назад, да кругом, да вокруг, да, может, раз двадцать, так тут тебе и побольше версты набежит.

И Пашкина фантазия вновь несет его дальше:

— Бегу и бегу, прямо запалился, а остановиться не могу; ноги так и чешут, так и чешут, сил нет, а они дуют и дуют. Хотел их руками придержать, да не тут-то было: они, как тугоуздый конь, подхватили, да пуще прежнего, аж в ушах ветер свистит. Вот, думаю, наказание Господне, да тут и вспомнил вновь про дядю-то Алеху, и только его слово заикнулся, а ноги, чтоб им, с полного намета стоп. Я так и полетел кубарем через голову, чуть шею не сломил и растянулся не хуже шамана.

И рассказчик, и слушатели, отчетливо представляя себе полет Пашки и его распростертую долговязую фигуру, дружно оглашают диким хохотом и визгом уже мирно спящий стан.

— Пашка, Па-шка-а! — стараюсь я перекричать еще не стихший хохот.

— Ну, што тебе?

— Пашка, а шаман-то в могиле шаманил? — задаю я коварный вопрос.

— Не в балагане, — огрызается Пашка.

— А как же ты его видел?

— А кто сказал тебе, что я видел?

— А как же? — недоумеваю я.

— Не видел, так слышал, чай не глухой. Он, шаман-то, словно за порог запнулся, так и растянулся, как корова на льду.

И Пашка, по-видимому, представляет себе злополучную фигуру озадаченного неожиданным паденим шамана, тихо хихикает и договаривает:

— Сидит, растопырив руки и ноги, бельмами ворочает и ничего понять не может, как я его угостил. Другой раз будет знать!

Набив трубку свежей порцией табака, Се-фуза, перелезая через Пашкины ноги к выходу, чтобы на свежем возду еще покурить и дать нам отдышаться, так как и от первой его трубочки в балагане мы кашляем и чихаем: со вздохом говорит:

— Ай, Пашка, Пашка, и чево тебе напрасно говориврешь; сейчас время, моя думая, такой чёрта нету — тун-тун [11] кончай, пропади.

Пашка от такого неожиданного замечания даже сел на своей постели и вслед вылезающему из балагана старику с жаром говорит:

— А, нету, нету, пропади? А ты зачем сам, когда здесь был Николай Муромов и про этого шамана наговорил, так ты зачем беленький дощечка строгал, своя буква писал, на могилу шамана таскал? Ты думаешь, я не видел? А, зачем?

Се-фуза озадачен таким разоблачением, некоторое время молчит и, по-видимому, соображает, как объяснить и оправдать свой поступок.

---

[11] Тун-тун — все, все.

— Тебе, Пашка, понимай нету. Наша Чифу [12] старый люди такой закона есть: ево какой люди пропади-помирай, земля живи, надо такой люди пиши: «Тебе земля живи, фанза ходи не могу; фанза маленький люди живи, пугай не надо. Спасибо».

Это «спасибо» так удивило Пашку, что он некоторое время не мог найти что ответить, но быстро, вновь, сев на «конька», с честью вышел из положения, по крайней мере в наших глазах.

— Спасибо, ишь все какие ловкие да гладкие! Те — там в землянке — понаделали из полыни себе тюфяков от блох, Савельич их из баночки порошком пугает, и нагнали весь табун на Пашку. Этот тут шаману записочки пишет: «Маленьки люди пугай не надо». Значит: жрите и пугайте Пашку, Пашка, мол, за всех отдувается; какие господа! Вот я теперь сам шаману напишу, так будете знать, — и Пашка со вздохом обиженного человека возится на своей постели, по-видимому укладываясь спать.

— Пашка, а ты што шаману напишешь? — уже сонными голосами тянем мы, и уже не ясно, донесся до нас или нет его ответ:

— Знаю что, а теперь отвяжитесь от меня, пусть за вас Се-фуза хлопочет.

---

[12] Чифу — главный город в Шаньдунской провинции, из которой и был приток переселенцев китайцев на север в Хулундзянскую провинцию, а также рабочих рук в русское Приамурье. Китайцы, живущие среди русских на Амуре, под словом Чифу всегда подразумевали «Родина», и выражение «наша Чифу» надо понимать, как «у нас на родине».

4

ПРИБЫЛЬ ВОДЫ

Вечером Се-фуза сидел в лодке и занимался стиркой. Старик временами отдыхал, курил свою трубочку и пристально всматривался в реку.

Из землянки вышел Григорий Андреевич, постоял, посмотрел на реку и тоже сошел к воде и, присаживаясь около Се-фуза на борт лодки, сказал:

— А вода-то, брат, прибывает.

— Вода ходи, трава, палка таскай. Завтра надо снасти снимай; рыба лови не могу.

Наш красавец Амур менял свой лик. Его еще утром спокойное зеркало, так отчетливо отражавшее в себе синеву высокого неба и плывущие в нем барашки облаков и яркие лучи жаркого солнца, потускнело и стало каким-то неприветливым, серым, холодным. Ускоряющееся течение несет снятые с берегов карчи, целые сплотки старого наносника и большие шапки где-то взбитой пены. Вода мутнеет от поднятого ила и глины подмываемых берегов.

К закату солнца грудь реки выпуклилась. Берега дальних островов отошли еще дальше. Острова как бы осели и стали ниже. Многие галечные и песчаные косы и плёса исчезли, и лишь мелкая рябь еще обозначает их места. На во-

доворотах крутится речной мусор, то свиваясь в целые островки, то развиваясь, и уносится дальше длинной мутной полосой.

С реки тянет сыростью, неприятным холодком, и она во тьме наступающей ночи кажется неспокойной и угрожающей.

Утром мы все поднялись еще до восхода солнца. Реки не было видно; сумрак ночи и густой туман застилали реку и берега. У Се-фузы в кухне пылал яркий большой костер. Серая мглистая завеса висела вокруг нашей столовой. За столом все, кроме Пашки, сидели набросив что-нибудь теплое на плечи. Завтракали плотнее, так как предстоял большой рабочий день.

Се-фуза нажарил в большом китайском чану куски рыбы и наварил чумизной каши. Хлеб у нас кончился давно, а дед Колотушкин что-то задержался в станице, вот мы и сидим на чумизе да на пресных китайских лепешках. Правда, это обстоятельство нас всех мало волнует.

Нажарил и наварил Се-фуза много, так как нужно было накормить всех сейчас и дать рыбакам с собой; они до вечера на стан не вернутся.

На уборку снастей ехали Григорий Андреевич, Савельич и Пашка; нас не брали; работа предстояла медленная, тяжелая, и мы с Оськой были не нужны.

Проводив «стариков» и Пашку и постояв на берегу, пока в туманной холодной мгле не стих скрип весел и говор рыбаков, мы снова забрались в свой сухой и теплый балаган и крепко уснули.

Проснулись мы поздно, только когда Се-фуза, разогрев остатки рыбы и каши и вскипятив чайник, пришел и стал будить нас.

Солнце давно перешло за зенит и успело после холодной и туманной ночи все прогреть и просушить. На небе ни облачка, и воздух дышит зноем.

По привычке бежим к реке купаться, но, сбежав к воде, мы реки не узнаем; галечный плёс, на котором всегда стояли до половины вытащенные из воды наши лодки, исчез. Лодки, закрепленные одна за другую, стоят недалеко от берега на якоре. Нашего любимого берега, с чистой отполированной многоцветной галькой, нет. Река мутна, сера, и быстрое течение ее крутит большие воронки водоворотов.

Пронесло целый сплоток бревен где-то сорванного с причала и разбитого плота. Далеко-далеко к берегу одного из островов подплывает стая гигантских птиц или черепах: это копны кем-то накошенного на низких местах сена. Тяжелое лиственичное бревно плывет, то надолго скрываясь под водой, то вновь блестит окоренным стволом на поверхности и несет с собой немалую опасность идущим навстречу тяжелым судам.

Жутко и неприветливо на реке, и мы, посидев на высоком берегу, бежим в нашу столовую.

5

ЭКСПЕДИЦИЯ В ЗАБОКУ

Обедали мы не торопясь; хорошо было в тени навеса на вольном свежем ветерке. Закончив обед, мы помогли Се-фузе прибрать в столовой и кухне, сходили за чистой водой к маленькому родниковому озерку и, не найдя больше ничего для себя интересного около старика, занявшегося осмотром и приведением в порядок вешал для просушки снастей, вспомнили о неотложном и срочном деле — необходимости сейчас же идти в Забоку на заготовку хороших удилищ. Вообще у нас там множество разных неотложных дел и забот. Там нам нужно осторожно и тихо подобраться и высмотреть, что делается в гнезде диких голубей, а потом идти дальше и, продравшись через чащи и «многие опасности», вновь разыскать гнездо утки-дуплянки и проверить положение дел в нем; попутно обследовать заросли малины и смородины, учесть предстоящий урожай черемухи. Таким образом, экспедиция принимала характер сложный, и заранее определить ее срок было трудно, а потому наши сборы были основательны и серьезны.

Вооружены мы были до зубов. У меня на поясе — большой охотничий нож, подарок моего «закадычного» друга, отменного охотника-орочена Пингусе из рода Муравьевых.

Их предки были проводниками у графа Муравьева-Амурского, и весь их род в нашем районе был известен, как Муравьевские. Это был трезвый, честный и всегда расположенный к русским народ.

В руках у меня, как и у Оськи, был лук. Луки наши — Пашкиного производства и сделаны тщательно, прочно, по типу старинных ороченских луков для лесной охоты. Эти луки могут быть действительным и сильным оружием и не на близкие дистанции, но наш боеприпас — стрелы — портит всё дело. Сделанные нам Пашкой одновременно с луками стрелы — по одной для каждого, как образец, мы, в упоении подарком, потеряли в тот же день. Пашка, изругав нас за потерю, новых делать не желает даже в обмен на Оськино маленькое круглое зеркальце, которым Пашка довольно часто любит пользоваться.

Стрелы нашего изготовления очень капризны, и на вид это какие-то кривые, не равной длины и толщины палочки. На изготовление лучших у нас нет ни терпения, ни сноровки, и наши стрелы в полете непостоянны: одна стрела взмоет вверх, другая бросится без всякой видимой причины вправо или влево, или ни с того ни с сего закопается в землю, не пролетев и пяти шагов; но, как говорится, «на безрыбьи и рак рыба», и нам приходится мириться с этим.

Оська опоясался длинным лыковым поясом, накрутив его вокруг себя несколько раз, и заткнул за него Пашкин маленький охотничий топор. За этот топор, если мы его потеряем, нам Пашка пообещал оторвать головы, но мы пока что — до времени, когда у нас будут свои топоры, и еще почище Пашкиного — берем, рискуя головами, Пашкин топор. Так как срок экспедиции весьма неопределенен, то мы запасаемся продовольствием — по куску холодной и уже достаточно твердой лепешки.

Здесь на острове мы не одни. Выше по реке и на этом же берегу стоит вторая рыболовная артель; это рыбаки с хутора Ново-Петровского, ближайшего русского поселения.

Атаман этой рыболовной артели — Федор Иванович Бородин, и артель известна как Бородинская.

Федор Иванович высок и уже по-стариковски сухой, или, как говорят у нас, поджарый. Он смугл лицом и слывет за человека твердого характера с большой долей упрямства и приверженности к старине, особенно в приемах и снастях рыболовного дела, чем нередко наказывает себя; но позиции не сдает и на нашу артель, применяющую кое-что новое, смотрит свысока и неодобрительно.

В прошлом он был учителем станичной школы, но по каким-то причинам оставил эту профессию и теперь, имея взрослых сыновей, в свободный период в хозяйстве проводит свой досуг за любимым занятием: рыбалкой.

По отношению к нам — ко мне и Оське — Федор Иванович никогда не был строг или груб, но мы предпочитаем, если это возможно, с ним не встречаться. Он, можно сказать, нас не замечает, смотрит поверх нашего роста, считая наше присутствие здесь недопустимым беспорядком, и мы под этим «высоким» взглядом всегда себя чувствуем в чем-то виноватыми и испытываем ощущение, что к нам залезают в душу. А потому, памятуя пословицу — «береженного и Бог бережет», направляясь в Забоку, обходим бородинский стан далеко стороной, сохраняя свое душевное равновесие, а это в наш «тяжелый» век — главное, и мы — как птицы.

6

ЗАБОКА

Забока — это мыс, образованный рекой и впадающей в нее широкой, но в обычное летнее время мелководной протокой Тихой.

По своему рельефу Забока представляет собой трехступенчатую террасу, спускающуюся к реке.

Высокий материковый берег ее порос крупным предречным лиственным лесом.

Ниже — полоса влажных почв со многими озерками и ямами, заросшая кустарниками, мелкой яблоней, бояркой и резанью, а в иных местах таким диким и могучим чертополохом, что эти места едва ли могут быть кому-то доступны.

Полоса илистых, песчанных почв по берегу реки заросла густой щеткой тонкой и высокой лозы, запутанной и перепутанной по низу каким-то прочным и неприятным вьюном.

Узкая, но довольно глубокая когда-то, протока, а теперь лог, прорезая все три зоны и далеко уйдя в травянистую часть острова, делит Забоку на две неравные части.

Нет! Забока не просто мыс, это целая страна — страна, где не ступала нога человека, страна, полная всяких неожи-

данностей, бесконечных открытий, и полная интересной жизни, а в сущности — это прекрасный зоопарк на первых шагах пытливого умишки, любящего природу.

Итак, Забока со своим лесом, чащами, кустарниками, тальниками, таинственным и необычным освещением, со своим населением — для нас целый мир. Мир со своими тайнами, какими-то шорохами, писком, свистом и пением. Мир всегда для нас неизведанный и манящий.

В тайгу ходить — нас не учить. О! Мы знаем, как . . . Мы идем гуськом, след в след, перешагиваем каждый сухой сучок, обходим каждую валежину; ни шороха, ни треска; готовы в любой момент отразить опасность. Луки в руках, стрелы на тетиве.

Зеленый, прохладный и душистый сумрак принимает нас. Здесь, в большом лесу, воздух напоен запахами прелых листьев, трав и отцветающих поздних ландышей.

Развесистая крупная черемуха, высокие клёны и вязы, бархатное дерево, крупнолистный маньчжурский орех — заселяют эту часть Забоки и, высоко взметнув свои широкие кроны, застилают путь солнцу, создавая зеленый полумрак и особую красоту леса. Но дальше — туда, в эту манящую тайну . . .

Небольшое лесное озеро. Озеро, лес, травы и все здесь в каком-то сказочном полусвете, в каком-то изумрудно-зеленом мерцании. Водное зеркало расцвечено разнообразием световых бликов, сочных и резко очерченных, блестящих, как только что положенные мазки свежей краски.

Нависшие над водой ветви деревьев и густых кустарников накрыли часть водного зеркала, и оно, черное-черное, с непередаваемой четкостью отражает в себе ветви и кусты и каждую былинку, а глаз долго не может различить, где отражение, а где действительность.

Где-то просочились рассеянные лучи солнца и кроют зеленым лаком полоску нежной осоки, островки листьев кувшинки и белые звездочки ее цветов.

Густой и узкий сноп ярких лучей упал на куст краснотала, на его красный ствол и красные ветви, на корзиночки нежно-желтых цветов и превратил его в дивный коралл с золотыми цветами.

Сказка! Но какая же сказка без прекрасной феи или принца? И Забока не скупится и щедро и ярко творит свою сказку.

Вот и сказочный принц! Он тихо и грациозно скользит по зеркальному полу. На нем прекрасные одежды горят золотом, многими самоцветами и игрой ярких красок. Маленькая гордая голова его — в пурпурной с золотым султаном шапочке. Его золотые волосы распущены низко на плечи. Временами он, охорашиваясь, поднимает по бокам два больших оранжево-золотых веера, окаймленных широкой изумрудной каймой. Все ярко, блестяще и сказочно.

Это — наша первая встреча с «принцем», но мы знакомы с ним, как говорится, «по наслышке», и знаем, что это селезень утки-мандаринки, но от этого наше очарование не уменьшается.

Вот почему уже в свои юношеские годы я не был удивлен красками Васнецова, а лишь восхищался тем, что человек — смертный — мог так ярко и правдиво перенести их на полотно.

Неизвестно, кем и когда протоптанная тропинка, то еле заметная, то теряющаяся в высоких перистых папоротниках, то в зарослях малинника или смородины, ведет нас в это таинственное и жуткое, но всегда заманчивое и интересное царство.

Большая куртина дикого винограда запутала и перепутала подлесок около пробкового дуба, взобралась на него, перекинулась зеленым сводом через нашу тропу, взметну-

лась по высокому тополю и, повиснув с его ветвей длинными гирляндами, ищет и ловит, за что бы ухватиться вновь. Пробковый дуб, запутанный и задушенный виноградом, как бы моля о спасении, тянет свои бархатистые плоские, коленчатые, но неприятные, как лапы паука, ветви.

Делая иногда обходы колючих кустарников или завалов бурелома, мы с трудом и опасениями пробираемся в зарослях густого подлеска, в высоких папоротниках и внимательно исследуем путь для каждого нашего шага.

Здесь, в этом лесном царстве, своя большая и кипучая жизнь. Мелкие пичужки суетливо снуют в зарослях подлеска, наполняя его своим разнообразным мелодичным говорком: свистом, писком и щебетанием.

Чем-то озабоченный бурундук, перебегая по упавшему сухому дереву нашу тропинку и увидев нас, замер в каком-то не то страхе, не то изумлении; потом сел, вытянулся столбиком и уставил на нас полные любопытства бусинки глаз, и, казалось, вот-вот сейчас сорвется с его губ возглас удивления и вопрос: «Вот невидаль! Да вы кто такие? Откуда взялись?»

Мы хотя и не удивлены этой встречей, так как не раз за свою «долгую жизнь» видели бурундуков, но не менее широкими глазами смотрим и любуемся этим красивым свободным зверьком. Я не знаю, сколько времени могло бы продолжаться наше свидание и лишь наша неосторожная попытка продвинуться ближе к бурундуку, прервала его. Я не думаю, что бурундук испугался нас; возможно, что у него уже не было времени, и он, воспользовавшись удобным случаем, весело циркнул, спрыгнул с валежины и, крикнув издали что-то на прощание, исчез.

Бурундуки у нас с Оськой под строжайшим запретом, мы никогда не обидим этого милого, трудолюбивого зверька. Конечно, это не потому, что мы такие хорошие мальчики, которые и мухи не обидят; нет, здесь причина другая: тро-

гать, или, как говорит Се-фуза, «обижай» их нам строжайше запрещено им — Се-фузой.

Как-то при одной попытке учинить охоту на забежавшего на наш стан бурундука мы получили основательную головомойку, а после, вечерком, Се-фуза поведал нам печальную картину самоубийства «обиженного» бурундука.

По нашим местам как у русских, так и у китайских, маньчжурских ребятишек-подростков был промысел — добыча орехов и прочих запасов путем раскопки и грабежа бурундучьих нор, и это уже поздней осенью, когда возобновить или добыть что-то на зиму было поздно; вот тогда, как нам поведал наш наставник, бурундук, отчаявшись и видя неизбежность смерти от голода, кончал жизнь самоубийством, вешаясь на развилке какого-нибудь кустика или деревца.

Дальше вглубь, поворот за поворотом, изгиб за изгибом нашей тропинки — и фильм жизни идет перед нами. Вон под группой небольших, развесистых и жутко колючих яблонь важно и спесиво расхаживает краснобровый красавец — петушок рябчик. Где-то высоко над нашими головами в густых ветвях вяза редко и тихо воркует дикий голубь. Душу раздирающий мяукающий крик лесной разбойницы, сойки-ронжи, заставляет нас вздрогнуть, а она, как яркое пламя, пронеслась в вершинах высоких деревьев. Вот там, в стороне, трудолюбивые дятлы торопливо и громко долбят сухое дерево. Все население этого большого города, а может быть и особого своего царства, чем-то занято, куда-то спешит, озабоченно перебегает, перелетает, ползет и тянется, и лишь маленькая серенькая ушастая совка сидит в густых зарослях, сиротливо прижавшись к стволу большого дерева, такому же серому, как и она сама, и удивленно моргает своими желтыми глазами.

Сумрачно, таинственно и сыро в лесу. Мы медленно и настороженно пробираемся в его глубь, в поисках нового и для обследования ранее открытого.

Здесь, в сторону реки, в дупле одной старой липы — гнездо особой утки дуплянки или каменушки, и нам необходимо знать, как и что там сейчас. Это гнездо мы открыли в один из наших ранних походов.

Поход тот, вообще был богат приключениями, открытиями и новизной впечатлений.

Прежде всего, вот так же как и сейчас, мы пробирались в этих чащах, пробирались с полной сноровкой опытных охотников и совершенно неожиданно наткнулись на большого и злобного хорька. Хорек, по-видимому, тоже не ожидал встречи с нами, с перепугу кинулся в сторону, сдуру вскочил на голый сук какой-то валежины и, сообразив всю невыгодность своей позиции, так зло и нахально ощерился на нас, что нам немедленно пришлось взяться за оружие, а когда наши стрелы пролетели над его злополучной головой, он застрекотал, как сорока, и, сделав большой прыжок, скрылся в ближайших чащах.

Не успели мы успокоиться от столкновения с хорьком и разобраться в деталях случая, как нас напугал шум взлета какой-то крупной птицы — взлета над нашими головами и так близко, что мы от неожиданности присели; и каково же было наше изумление, когда в улетающей птице мы узнали утку. Вот это здорово! Утка в лесу?»

Усиленные и тщательные поиски привели нас к дуплу, а там к гнезду с парой небольших зеленоватых, теплых яиц. Вот мы сейчас и пробираемся к этой цели, попутно ища новых объектов для нашего любопытства и дичи для нашего оружия.

Вот и гнездо; оно не разорено, но ни утки, ни яиц в нем нет, и только несколько яичных скорлупок говорят нам, что мы опоздали и выводок ушел, и что его надо искать в иных местах — на воде.

В низменной части полуострова, вблизи реки, в густых зарослях тальника, высоких трав и редкого камыша, есть

небольшое озерко; больше выводку уйти некуда, да и этот путь для малышей не близкий и не легкий, а сколько они пережили, пока добрались до цели!

Спешим к озеру и, покинув лес, продираемся через заросли колючих кустарников, перепутанных диким хмелем и каким-то цепляющимся вьюном, и, обдирая руки и ноги, попадаем в высокие тальники и по промытой когда-то водой, а сейчас сухой канаве быстро добегаем до озера.

Наши рассчеты верны. Мамаша и пять-шесть пушков на озере. Мы сидим в высокой траве и через редкие камыши любуемся этим семейством и чувствуем, что наши усилия не напрасны, и мы вознаграждены такой картиной семейного счастья, что наши глаза готовы вылезть из орбит.

Мамаша-утка что-то сказала своим пушкам и, распустив по воде крылья и немного затонув, дает возможность пушкам взобраться на ее спину, всплывает и, подобрав крылья ставит их так, что они вдоль ее тела образуют невысокий борт, и вся счастливая семейка пускается в прогулку по небольшому чистому зеркалу воды среди зеленых осок и островков кувшинки.

Я не знаю, как долго мы не могли оторвать своих глаз от этой картины, и не знаю, дышали ли мы в это время; мне кажется, что мы даже забыли о нашем собственном присутствии здесь, и возврат к действительности нашего существования был как бы пробуждением от какого-то красивого сна.

Прийдя несколько в себя, мы с Оськой молча переглядываемся и от удивления и массы впечатлений даже не обмениваемся мнениями.

О! Ум человеческий! Когда ты бываешь спокоен?!

Не успели мы еще все осознать, как в наших беспокойных головах зарождается «идеальный» план с блестящим будущим: переловить пушков, увезти их домой и там рас-

тить, как это делает с дикими гусями Василий, фонарщик с Сычевского переката. Сказано — сделано.

Быстро разоружаемся и, раздевшись, тихо заходим с разных сторон озерушки и начинаем погоню. Крик, команды, советы, упреки, визг и смех наверное в первый раз всколыхнули тихую дрёму этих мест, но все наши усилия напрасны; шустрые и проворные пушки мигом попрятались в высокой осоке или под листьями лопухов, и если нам удавалось обнаружить одного из хитрецов, он так ловко и быстро увертывался от наших рук, что мы скоро поняли всю тщетность наших усилий взять утят голыми руками.

Измученные, грязные, с кровоточащими ссадинами, мы выбираемся на берег и решаем бежать на стан за подсачком, которым мы пользуемся при ловле рыбы на удочку.

7

КАРАСИ

Бывают дни, когда человек не знает куда себя деть, не знает, чем заняться. Вот и мы сегодня: проснулись поздно, проснулись вялые, сонные, долго валялись в постели, а выбравшись из балагана на яркое солнце, томимся и тоже не находим себе места . . . Искупаться? Но Амур пухнет, несет мутные воды и не манит к себе . . . Идем пить чай, но и чай не излечивает нас. Холодную черствую лепешку жуем, как нанятые . . . Скучно! В голове ни одного плана, ни одной идеи.

Наш друг, советник и покровитель Се-фуза давно навел порядок на стану, прибрал и подмел на площадке перед землянкой и балаганом, сидит-отдыхает под своим навесиком и временами поглядывает на нас. Вот он выколотил свою трубочку, поднялся и пошел на холм, что высится за нашим станом. Долго старик стоял там, что-то разглядывая из-под руки в глубине нашего острова . . . Ску-учно! Плетемся и мы к старику на холм, а зачем? . . Не знаем . . .

—Ваша чево хворай? Сыпи хочу? Ваша старик люди? Сиди-сиди. Ходи рыба-карась лови! Ваша смотри — вода озеро пошел! Рыба трава ходи. Сейчас время карась хорошо лови. Ходи карась лови! Карась кушай все любишь. Ваша

лови, я жарить. Пашка, другой люди кушай, спасибо говори. Ну, ходи, ходи!

— Вот это здорово! Как это мы сами-то не надумали? Карасей ловить — да нас и просить не надо; мы это дело любим и знаем, и тут уж нас не учить; сами еще поучим. Сефуза хоть и мастак всякую рыбу ловить, но с удочкой, как и все китайцы — куда ему! Вот корейцы — те да, так да! Наши удочки корейского образца и уже не раз испытаны, и это дело у нас верное!

Куда делась вялость, куда делась лень? Дело кипит, и сборы недолги, все, что нужно, уже в лодке, и мы идем искать червей. Червей копать — нас тоже не учить: выдирай таволожник с корнем и выбирай из влажных корней червей; ни лопат, ни копаруль не надо, а черви-то какие! Других таких не найдешь. Выбирать-то выбирай, да не считай: сосчитаешь — рыбы не поймаешь! Всё это надо знать . . .

Бодрые, веселые, гоним свою лодочку к устью протоки — глубокому логу, по которому сейчас идет вода в озеро. Мы не спешим; время у нас есть; «старики» и Пашка вернутся со снастей лишь под вечер, а у нас немало дел и по пути; надо забежать и посмотреть, не созрела ли красная смородина-кислица; а потом мы долго крались на лодке за зимородком, пытаясь подъехать к нему как можно ближе, но этот большеносый хитрец все перепархивал от нас, улетая вдоль берега. Цвиркнет и как будто упадет, и летит над самой водой в глубокой тени береговых зарослей и, попадая в тонкие иглы солнечных лучей, местами проткнувших густую листву, вспыхивает то изумрудом спинки, то рубином грудки.

Но вот и устье лога. Густая чаща и свалившийся большой тополь замаскировали его вход, но место нам знакомо, и ему от нас не укрыться. Цепляясь за ветки тополя, за береговые кусты, мы проталкиваем нашу лодку под это заграждение — и вот мы в логу.

Сумрачно, прохладно; здесь нет солнца, какая-то светящаяся зеленая муть сквозит от всего. Кроны высоких деревьев сплелись над нами густым шатром — все необычно, таинственно и настороженно. Вода зеленая, густая, и глаз не проникает в нее. Белые цветы водяной лилии с желтыми тычинками, на маслянистой воде необыкновенно четки и светят, как маленькие лампады.

Вода, как неживая, медленно идет в озеро и несет нашу лодку. Ни всплеска, ни журчания. Мы притихли и стараемся не стукнуть, не нарушить этой заколдованной тишины. Всякий невольный шорох или неожиданное прикосновение к лицу нависшей ветки пугают нас. Мы здесь с Оськой в первый раз, и правый берег этого таинственного лога нам незнаком. Пашка же говорил нам, что та волчица, что утащила своим щенятам бородинскую собачонку, живет где-то здесь в большом лесу, и что где-то в овраге поселились барсуки, но нам что? Мы же их не трогаем, мы за карасями.

Светлеет под зеленым туннелем, а чащи и лес пошли куда-то в стороны, и мы вновь под ярким солнцем, и чихать мы хотели на волчицу и барсуков, а попадутся, так им же хуже будет! . .

Оська тихо убрал весла, и я, стараясь не булькать, гоню лодку шестом в дальний конец пока еще небольшого заливчика — туда, к высоким кочкам, покрытым шапками зеленой травы. Вода подняла и несет за нами всякий мелкий мусор: лепестки отцветших трав, сухие листики, палочки и барахтающихся в воде, попавших в беду жучков и букашек, а по берегам, уже в залитой траве слышатся всплески и чмоканье жирующей рыбы. Оська потирает руки и хитро подмигивает мне: мол, «будет дело». Крепко и глубоко втиснута лодка между кочек около небольшого мелкого русла, по которому вода идет туда — к обмелевшему за сухое время озеру. Перед нами небольшой омуток с куртинкой, поднятой водой звездчатой листвы водядого ореха, что и требуется. Ко-

роткие, гибкие черемуховые удилища у нас в руках, тонкая прочная волосяная леска, один крючок, наплав — гусиное перо. Как полагается, поплевали на червяка, и первый заброс... «Ловись рыбка, большая и маленькая»...

Темный толстый горб показался в начале занятого нами русла, за ним другой, и дело пошло бойко и весело... Заброс — и лишь наплав успеет встать, как вновь ложится и пытается уйти в кочки, но ты, рыбак, не зевай! Резкая, твердая подсечка, попридержи на месте, а потом, не подымая из воды, тихо, но настойчиво, веди к лодке и здесь, опустив по локоть руку за борт в воду, бери упрямца за голову и, не давая ему шуметь и буянить — в лодку, в налитый водою отсек, к ранее пожаловавшим приятелям. Комары поют над ухом, но нет времени от них отмахиваться, и мы лишь временами размазываем их ладонью по лицу и шее...

Берут изредка и сомы — досаждают: заглатывают крючок и отнимают тем много времени, и мы ворчим на них, но не бросаем, а садим на отдельный кукан и держим за бортом, чтобы не мазать ими лодки. «Старики» наши сомов не едят, говорят — «погань», мы же с Се-фузой любим есть сомов: они не костлявы, и мясо их сладкое. Пашка тоже есть с нами сомов, а нас, за то, что мы едим, называет чушками; это он задирается, ну, да ничего!

Как ни увлекательна сегодня ловля карасей, и хотя мы знаем, что завтра ее уже может и не быть, но всей рыбы не выловишь, да и время нам ехать домой; улов у нас и без того не на один день.

«Стариков» мы застали уже дома — на стану. Они еще до нас напились чайку и прилегли отдохнуть. Пашка непрошенно забрался в наш балаган и храпит так, что его слышно на берегу у лодок. Надо было ему подсыпать под нос мелкого табаку, да Се-фуза отнял у нас свой кисет и торопит чистить карасей.

Ловить карасей — это дело одно, это приятно; чистить — дело другое, нелегкое, но мы — народ бывалый и чистим не в первый раз; видывали виды на своем веку. Тонкий, гибкий и острый, как бритва, нож Се-фузы — в этом деле отличный инструмент. Аккуратно подведешь с хвоста под крепкую и крупную, как полтинники, чешую лезвие ножа до самой головы и ... чик вправо, чик влево, и с половины карася рубашка снята одинм пластом, и пожалуйста! Скоро, чисто! Я чищу, Оська потрошит и собирает икру в жестяной таз, пузыри выкладывает на доску, а вымытых карасей — в небольшую корзину из-под крючков снастей. Рыбу считать нельзя: сосчитаешь, ну, а потом, когда надо, червей не накопаешь. Пузыри же — не рыба, и считай, сколько хочешь, хоть десять раз ... Все это надо знать, и недаром дед Колотушкин говорит, что «жизнь прожить — не поле перейти».

Корзина с карасями и таз с икрой уже у Се-фузы в кухне, и оттуда доносится шкварчение масла и вкусный запах жареной рыбы. Как тут устоять? И мы, шаг за шагом, подбираемся к старику ... Тот понимает нас. По маслянистому, поджаренному, большому карасю на широком листе лопуха в наших руках; но это не караси, а сущий огонь, и мы, ухая, приседая и перебрасывая жаркое из руки в руку, бежим к лодкам и там, дав немного остыть жаркому, наслаждаемся любимым блюдом ... Вот это жизнь — так жизнь!

Наши рыбаки заспались, и поднял их гость: пришел Федор Иванович Бородин, наш сосед по рыбалке. Пока «старики» и Пашка умывались и сгоняли с себя сон, Се-фуза накрыл стол.

8

В «СТОЛОВОЙ»

Большая стопа свежих горячих лепешек, из которых каждая величиной с хорошую тарелку, накрытая от мух чистой тряпкой, красуется на столе. Жестяной тазик с крошеным и толченым с солью диким луком, чашка с солью и ложки по числу мест. Вокруг стола чурбаки-стулья.

Дядя Григорий и Савельич приглашают гостя к столу:

— Ну, сосед, с нами свежинки отведать!

И гость, вместо обычного «Благодарствую, сыт, сами кушайте», охотно принимает приглашение, и все садятся за стол, а на столе появляется большая черная глиняная миска с жареной икрой. Гостю пододвигается стопа лепешек, и любезно подается ложка. Народ бывалый, и каждый знает, как и чем пользоваться: лепешка и за хлеб, и за тарелку. Перекрестясь, приступают к делу: ложки ходят, не торопясь, степенно и черпают хорошие порции то луку, то икры. Гость обязан как-то выразить свое удовольствие и благодарность за радушие и поддержать застольный разговор.

— А ты што, Паха, не садишься? Я твое место занял? Ну, спасибо, парень!

Вот это на! Караси наши, а спасибо Пашке — рыжему подлипале! Ну, да ничего, мы ему припомним!

Хрустит на зубах вкусная икра, миска и тазик с луком быстро пустеют. Гость, довольный, поглаживая бороду, говорит:

— Вот какая, кажись, рыба карась — костей уйма, того и гляди, что подавишься, а люблю! Такого, своего вкуса, ни у одной рыбы нет; костист же — не приведи Бог! Люди любят карася, да что про нас говорить, любят его и важные господа! Кто любит его удочкой ловить, а кто любит и половить и поесть. Половить и поесть и я люблю, и, кажись бы, по нашим местам смешно старику с удочкой таскаться, а вот люблю! Старуха говорит: «Ты, как маленький, да тебя бабы засмеют, с удочкой-то ходишь!» А что поделаешь — люблю! Карась не больно уж хитрая штука, а взять его тоже уметь надо, и время знать надо, и место надо знать, и где его как взять . . . А что это у вас — Паха отличился?

— Нет, станица, это наши рыбаки; да посмотрел бы — целый сусек привезли!

«Наши рыбаки» и Пашка устроились около костра на земле, у них своя чашка с икрой и тазик с луком, горка лепешек, и ложки их работают с не меньшим усердием, но не так чинно. Пашка, загребая ложкой целые копны икры, ест с видом: «Не пропадать же с голоду, ну и ем, что дали». Но ничего, задавала, мы тебе припомним «что дали»! Сам уже умял больше половины, да еще отталкивает наши ложки.

У нас тазик с карасями, на столе — большой железный противень. Хозяева и гость берут по новой лепешке и по солидному карасю, и за столом нет разговора: карасей полагается есть молча. За нашим столом тоже нет разговора, и мы так же, как и «старики», берем горячих, жирных, румяных карасей на лепешку, разбираем их руками, смакуем и обсасываем косточки . . .

Оська портянул руку за солью, Пашка любезно пододвинул чашку-солонку. Оська, подражая Бородину, благодарит: «Спасибо, Паха» — и не успевает мигнуть, как получает та-

кой щелчок по пальцам, что Оськины глаза готовы выскочить на лоб, а рот готов издать дикий вопль, но ушибленные пальцы засунуты в него, и бедный Оська лишь только мычит и качается из стороны в сторону, а его глаза, полные слез и дикой злобы, смотрят на Пашку, а тому что? . . Быстрота и ловкость щелчка восхитили меня, а Оська с выпученными глазами и пальцами во рту такой смешной, что я невольно фыркнул и сразу же получил резкий пинок Оськиной ноги. Пинок пинком, но наш неизменный союз нерушим, и ты, Пашка, держись! . .

— Ну, благодарствую за хлеб, за соль, отвел душеньку, — благодарит Бородин.

Хозяева и гость встают из-за стола и переходят в «гостиную».

9

В «ГОСТИНОЙ»

В «гостиной» и гость, и хозяева устраиваются, где кому любо. Федор Иванович присел на кучу сухого наносника, заготовленного на дрова; кто прилег на сухую и теплую землю около костра, кто приспособил какое-то сидение. Се-фуза разливает по чашкам густой черный чай и первую чашку любезно предлагает гостю, остальные разбираются присутствующими.

Пашка развалился во всю свою мощь по другую сторону костра, и мы около него, и пользуемся им, как спинкой дивана. Пашка и мы любим такие вечерние посиденки. Мы любим тихую беседу стариков, те любят вспомнить прошлое, вспомнить старинку, и есть что послушать, и есть чему поучиться. У нас с Пашкой на эти часы всегда прочный мир.

После вкусных карасей гости и хозяева охотно попивают чаек, но тема для сегодняшней беседы еще не найдена, и Бородин, по-видимому, ловя завязку, обращается к нам:

— Вы што, рыбаки, на удочку или мордой ловили?

— На удочку, — осторожно и неохотно отвечаем мы; со стариками надо держать ухо востро, а то враз и сам попадешь на удочку, и подымут на смех.

— На червяка ловили или на хлеб?

Похвалы за столом, обращение к нам Бородина окрыляют нас, и, не чувствуя подвоха, мы, с сознанием собственного превосходства в этой отрасли рыболовства, поучительно заявляем:

— На червяка! Будет он теперь брать на хлеб, когда водой подняло столько корма — червей и всякой всячины?! Червя и то подавай хорошего, ядреного; теперь карась важничает, это не сом — всякую-то пакость хватать. Сегодня карась-то был жадный, а вот завтра, так его шибко не возьмешь; за ночь воды нальет в озеро, и карась разбредется по кочкарнику и траве, да и нажрется до отвала; а сомов налезет, что и дохнуть не дадут, и, может, завтра надо будет ловить на хлеб. На хлеб ловить — сплошная морока, и много не поймаешь, но хоть сом не будет лезть. На хлеб ловить — удочку надо добрую: сазан может хватить, а он не карась, рванет — так и будешь без удочки; сачок тоже надо — сазана рукой не возьмешь!

Федор Иванович смеется в бороду:

— Вот говорят: яйца курицу не учат, а вот поди ж ты! Ну, спасибо, рыбаки, за добрый совет, а завтра и на мою долю накопайте червей, намните катыш хлеба, одолжите добрую снасть и примите в артель.

Темная, тихая, теплая ночь. Звезды усеяли все небо. Нам от костра их не видно, но, если зажмурить глаза, отвернуться от яркого пламени и потом открыть . . . тысячи, тысячи засверкают их, засветят и замигают радостными, яркими самоцветами . . .

На огонек подошли еще два бородинских рыбака и, устроившись около костра, пользуются любезно им предложенным Се-фузой кисетом и закуривают трубочки.

Сильный всплеск у берега заставил нас вздрогнуть. А! Это сом, ночной бродяга, гоняет мелочь . . .

— Долго ли вода будет? — вздыхает один из бородинских. — Однако, и рыбалку время снимать и ехать домой,

ладиться к покосам. Теперь калужки или осетра ждать нечего, а не ловить же нам, как ребята, карасей!

— Ну, что ж? Понемногу будем собираться и айда до дому, — соглашается и Бородин. — Это верно, что рыбалке конец, да и незавидна она была это лето. Меньше в Амуре рыбы стало! С большого-то ума понастроили в низовьях — у Николаевска, да и по лиману — заездков, перехватили чуть не всю реку, и кому барыши, а кому шиши! Ну, ловить бы ловили, куда ни шло, а то губят-то сколько! Главное же — речки, рыбьи рассадники погубили! Заездки строить лесу-то сколько надо — уйма! Рубят лес по берегам речек, где рыба икру метала, ну, и оголили берега. Зимой ветер сдувает снег со льда, и промерзают речки до дна, и гибнет малек, что не успел скатиться в море, и так от года в год переводят добро . . . А давно ли было? Отцы наши, да и мы еще помним непочатый этот край. Бывало, выйдешь на три-четыре дня, и кончай рыбалку: хватит и тебе и людям. Рыбой-то в те поры и торговать считалось зазорным: — Божий дар; а кому надо, сделай одолжение, бери!

В сентябре кета пойдет, у неводов собьются артели, и идет засол на зиму. Добудь только соль, а за рыбой дело не станет. Соль-то тогда дорогая была, да и не всякой солью рыбу солить-то можно. Вот белая немецкая, или китайская — дешевая, но никуда она не годилась, а надо забайкальскую серую, не мытую, тогда этот засол хоть года стой. Солить надо умеючи, и если в этом деле не смыслишь, то проси лучше того, кто мастер. Мы-то солили лишь для себя, а вот городские молокане, так те уж шли как бы с промыслом, большими артелями и основательно. В сентябре ветра, холод, а ты, почитай, целый день в воде, иной раз зуб на зуб не попадает. Мы-то около дома, урывками, на день-два, и немножко обогреешься, а молокане идут с плёса на плёс, и пока идет рыба, они и снаряжаются, как следует: большая барка-матка, там и дом, и стол. Мужики на неводах, бабы

на разделке рыбы и по очереди поварят; засольщик — это уже особый человек, и окромя своего дела он знать ничего не знает, но и ему работы — от зари до зари. Молокане все торгаши, но работники, любят копейку и на все жадноваты.

Пробовали рыбачить и крестьяне, да у них как-то не выходило, и они стали покупать готовую рыбу; оно, пожалуй, для них и проще, да и не дороже, народ же зажиточный и, сколь надо рыбы, всегда купить может. Царская-то льгота как на опаре их поднимает — пятьдесят лет ни податей, ни повинности! Сидят на своем хозяйстве и пухнут. Те, что пришли первыми да доброхотами, теперь и забыли черный хлеб и живут крепко, дай Бог всякому. Молокане теперь уже сильны, и в Благовещенске немало из них богатеев, позавели пароходы, мельницы. По хуторам да деревням тоже не всякого и не в одну тысячу уложишь — на рысаках ездят. Народ все это лишь «Подай, Господи», у них же не шибко ущипнешь. Праздников, гулянок у них, почитай, и нет, разве вот только свадьба. Живут сытно, работают много.

Помню, как-то в уборку хлебов, когда каждые руки дороги, приходит к нам на хутор артель китайцев наниматься. Ну, конечно, спрашиваю, где, мол, раньше работали?

«Молокан наша работал».

«Что ж, разве закончили работу?

«Нет! Наша так не могу. Как так? Работа кончай, солнца нету, темно. Хозяин говори: 'Ну, Ванька, ходи кушай и сыпи-дыхай'. Наша кушай, трубка кури . . . трубка кури кончай — сыпи . . . 'Эй, Ванька, вставай, работай ходи', — кричи хозяин. Моя трубка щупай — трубка горячий; как так? Нет, наша так не хочу!»

Слушатели смеются, смеется и Се-фуза.

— Да, народ везде разный. Один на работу жадный, другой — век бы ее не видел, лежал бы да бражничал, — раскуривая от уголька трубку, говорит невысокий, поджарый

чернявый бородинский казак. — Вот на действительной мы одно время стояли в Урге у консула в конвое, забайкальцев подменяли, так там народ — монголы. Народ монголы — так тоже ничего, но работать, кажись, сроду не работали. Да им что? Пасутся их табуны по степи, а степь — ей и конца-краю нет! Кони, быки, бараны, а хозяин и счета им не знает. Сена монголы не косят, и зиму и лето скот на подножном корму. Что монголу делать? Ну, ездит с утра до вечера по приятелям, ест баранину да пьет аракушу и почто-то возит с собой свою чашку. Рыбу они не ловят: вера не дозволяет, а охотиться охотятся, кто ради потехи, с беркутом или с собаками, а кто ради промысла, с ружьем. Ружья-то у них в ту пору были старинные, своих мастеров, не приведи Бог — тяжелые, а с сошек они ладно ими палили. Зимой там из далеких степей-пустынь иногда приходил степной козел — зерен. Это и не козел, и опять же не баран. Покрупней нашего козла и рога другие, мясом же хорош и, пожалуй, лучше козла и барана. Приходят они большими тысячами, и иной раз в одном табуне по многу сотен. Ну, вот тогда съезжаются монголы в большие партии, все на лучших своих скакунах, и устраивают охоту — загон. Монгол норов этого козла-зерена знает и гнать умеет и, несмотря, что зерен на бегу как ветер, и дюж, добывают помногу. С нашим народом, забайкальцами, монгол живет дружно, и у них дружки там и тут, и наши-то, что караульские, по-монгольски толмачат ладно.

— Да, народ, как народ, и везде люди есть, — соглашается второй бородинский. — Кто скот пасет, кто хлеб сеет, кто службу несет. Один ездит да араку пьет, а другой рук не покладает; опять же, кому как и где земля способствует и указывает, как жить надо — скот ли паси, или землю паши, всякому свое. Не одни наши русские — вот и маньчжур или китаец тоже труженики и робят хорошо. Мы, как ходили усмирять «Большого кулака», так тоже насмотрелись на их

жизнь. Туда дельше, к Мукдену и дальше, все поднято, и клочка земли нет не засеянной. Еще дальше — уже теплые края, и там, брат, чего-чего только нет! Сады — яблок, груша, виноград, и народу густо-тесно, а всем жить надо. В Маньчжурии же свободно, и край не заселен, но ни дорог, ни путей, и пришельцу спервоначала нелегко; но кто устоял и обжился — живет хорошо: богатая страна!

Да вот за этим хребтом, что сейчас позади нас, если подняться по речке Кочурихе и перевалить по ту сторону хребта, то попадешь на речку Сун, что впадает в Амур чуть не напротив Пашкиного хутора — Куприяновского. Ходу-то здесь через перевал — один летний день, и попадешь в широкую долину. По всей этой долине места пахотные, под мелким орешником, и гони борозду на версты. По ближайшим сопкам — дубовые леса, а в горы — кедрачи и тайга. Речка рыбная, и в неё идет кета. Ленок и таймень в ней постоянно живут. Места те теплей наших: горы и леса загородили их от холодных ветров, снегу там бывает больше, и весна раньше, чем у нас. Пока там, кроме одного-двух ороченских зимних стойбищ, никого нет. Вот бы где поселиться!

— Мало тебе земли? Ты, брат, как молоканин, все на чужую землю заришься, — посмеивается сосед рассказчика.

— Не зарюсь, — оправдывается рассказчик, — а уж это в крови у меня с отца и деда, все бы куда шел да ехал, все бы новых мест искал, а на Суне места важны! Я там не раз бывал, — ходил с ороченами белковать. Там в урожайный год желудя, кедровой шишки — собирается на жировку зверья разного, и охота добычлива. В такой год не диковинка взять на ружье полста белок за короткий зимний день. Житуха там сытная, вольная, и кабаниной запасались на всю зиму, а о козе и говорить нечего. Орочены там в горах по тайге соболя промышляли, ну, и другую пушнину. Я-то по соболю не мастер, но случайно добывал одного-другого.

Рысь, выдра, ну, и медведь — тоже не диковина. Кабан, бывало, придет табунами голов до сотни. Придет кабан — ну смотри, не пришел ли за ними и их пастух — тигра; тут надо ухо держать востро, а то враз сожрет.

Семидомские орочены сказывали — случай у них был. Промышляли они одну зиму тоже по Суну, но туда выше, в его вершину. Зима была удачная, и у них добыча была немалая. Выходить на Амур к русским через хребет — и далеко, и с грузом дорога тяжелая, и подались они к китайцам в небольшой городок Мергень (Мергень-то по-ороченски значит охотник). В этом городке всегда две-три лавки занимались скупкой всякой ороченской добычи: меха, панты, брали и мясо. Поехали охотники да бывалые там старики, а баб с табором, ребятишками и табуном коней отправили Суном на Амур — на летнее свое стойбище «Семь домов». Эти семидомские орочены были народ все трезвый и жили ладно, и летом не в юртах, как другие, а в фанзах и этим гордились и свой поселок прозвали «Семь домов», так как их и было семь. Огородики немудрящие садили — лук, чеснок, да еще какую-то мелочь и даже пытались хлеб сеять, да ничего у них не выходило: не умели, и тут помогали им куприяновские казаки.

Ну, вот идет весь табор вьюками на конях, впереди табун бежит, бабы с люльками за спинами качаются в седлах, бренчат от скуки своей нехитрой музыкой — стальной тонкой пластинкой, зажатой в зубах, и гнусят носом ей подстать. Парнишки, девчонки, что побольше, шныряют туда-сюда на своих иноходных коньках, и растянулся караван жидкой цепочкой по узкой тропе, что бежит и вьется берегом Суна. Вьется тропа то открытым берегом, то нырнет в заросли высокого камыша, пересечет реку и на другом берегу снова спрячется в густой заросли береговых чащ, и местами только глаз ороченa в силах отыскать ее. Время деньденьской, по-весененнему греет солнышко, и в зимних ерга-

чах [14] жарко и клонит ко сну. Растянулся табор и бредет не спеша; куда торопиться? Где стать на ночлег — там ли, или верстой дальше, или ближе, не все ли равно? День ли идти, два ли идти, куда спешить? Им не пахать, не сеять, ну и идут-бредут . . .

Два, три парня сопровождают караван; мало ли что может случиться, и бабам да ребятишкам и не справиться. Потерять дорогу тут никто, конечно, не боится, так как каждый подросток, да и малыш идет по следу, как по торной дороге: все им ясно, понятно . . .

Тут один молодой парень дорогой сшиб козла, освежевал его, и, разделив на две половины, по-ороченски сладил вьючок, связал его ремнем и перебросил в торока позади седла. Времени-то не шибко много потерял и, сев на коня, не спеша пустился вслед за табором. Тепло, и парня разморило; снял с себя ергач и набросил его на вьюк, а шапку заткнул за пояс. Винтовка, как полагается у них, висит на ремне на правом локте. Мурлычит себе под нос, а голодное брюхо уже говорит о хорошем куске свежей козлятины: наварят бабы и похлебки, и сочных больших кусков мяса.

След каравана на влажной земле четкий, и парень видит, что табор идет не спеша, но остановок не делает. Вот брод через реку — и здесь задержались, поили лошадей и поправляли вьюки, а на той стороне реки шли след в след по кочковатому травянистому болоту, и вот опять камыши, чаща, и дальше в большой излучине тропа ушла в крупное чернолесье; но вот и оно кончается, и светит ясная поляна.

Вдруг конь осел на зад, да так, что парень чуть не вылетел из седла. Оглянулся он и оторопел: на тропе, припав к земле, полосатая зверюга — тигра! Оторопел парень, а успел разглядеть: его ергач и вьючок мяса на шее тигры, и та, знать, тоже ошалела и не может понять: что на нее свали-

---

[14] Ергач — верхняя одежда из меха козы.

лось и схватило за глотку? Парень-то не будь промах, прямо с коня и резанул ее промеж глаз, а сам, как мог, на коньке-то ходу . . . Догнал табор, сменил коня и, собрав кого мог, и захватив собак, пошли разыскивать, что там? Собаки живо все обследовали и тигру нашли мертвую — парень-то ее с пули положил. Тигрица была. Шкура-то весенняя не шибко добра, но все-таки с когтями, с зубами, с усами и другими потрохами — все же деньги; китайцы все это купят, и парню фарт, а не просчитайся бы тигра — и коню и ему был бы капут.

— Да . . . чего только не бывает на свете! — соглашается кто-то.

— А вот дядя Алеха на кабане верхом ездил! — вдруг врывается в разговор Пашка.

— Ну, ты, Пашка, тово — уж будет тебе врать! — урезонивает Пашку дядя Григорий.

— Да ей-Богу! Сам он сказывал, и у нас все это знают, — защищается Пашка.

— Говори, говори, Паха! — поддерживают слушатели.

Пашка сбрасывает с себя нас, становится на колени, быстро загорается азартом рассказчика и повествует с вдохновением:

— Тоже это было на Суне; Сун-то от нас недалеко, и мы всегда промышляем в его низовьях. Ну, вот, как-то по осени собрался дядя Алеха пойти добыть козу; то ли дома мяса не было, то ли куда ему шкурка понадобилась, и вот он собрался. Собраться-то собрался, да пожалел на козу доброго патрона и не взял свою берданку, а пошел со старинной кремневкой; по козе и она ладна, и дядя Алеха из нее палил не плохо. Ну, значит, идет — где хребтиком, где увальчиком, идет-высматривает; плывет в мягких олочках, [15] ни шуму, ни шороху, то дубнячком, то по орешнику,

[15] Олочи — мягкая обувь, род мокассин.

и выткнулся на поляну. Выткнулся, взглянул, да так и присел! Глядит . . . а на поляне-то кабан! Да добро бы чушка или поросенок, а то секач! Секач-то здоровенный, что твой бык. Роет это секач землю рылом, воротит, как сошняком, и, почитай, зарылся по самые уши. Откопает какой корень, подымет рыло и чавкает, а клыки, что клинки, а глазенки маленькие, да злющие-презлющие — настоящий Ирод! Сожрет это корень, и опять за свое, а дядя Алеха сидит и чешет в затылке: «Неладно я выткнулся — прямо на рыло, опять же винтовка: на козу-то оно и ладно, да на грех заряд то не по кабану, а что делать? . . Зайти да ударить по уху? Непременно сшумишь. Уйти по добру? — Жалко: ведь мяса-то сколь! Никак не меньше пятнадцати пудов, да сала можно насолить хороший боченок, опять же и желчь — не менее трех рублей . . . Уйди — так от ребят проходу не будет».

Ну, так. Не зимовать же около кабана и ждать, когда он ухо подставит? Бросил дядя Алеха винтовку на сошки, [16] обладил все, как полагается, подсыпал порошку на полку, перекрестился — ну, мол «Матушка лунь» — взял промеж ушей и, благословясь, торкнул!

Па щетине, по коже, по салу скользнула пуля, как по льду. Присел было кабан, а потом фыркнул, да как стоял, так прямо и бросился, и прямо на дядю Алеху, а тому куда? На орешничек да на дубнячок не взлезешь, а кабан прет и вот сейчас пересечет, как шашкой, напополам. Дядя Алеха и туда и сюда, а кабан на него; дядя Алеха и подскочи; кабан под него, а дядя Алеха на него и сел верхом . . . Дует секач во весь опор, чаща шумит, зверь какой там — зайцы, козы — с дороги дай Бог ноги. Медведь муравейник зорил — метнулся за лесину и, выпучив глаза, оттуда выглядывает: мол, вот диковина! Катит дядя Алеха, что твой Иван-

---

[16] Сошки — подставка, упор при стрельбе из старинных тяжелых винтовок.

царевич, только задом наперед, орогда[17] слетела, да тут уж не до нее. Катят, а куда — затылком ничего не видать, и вот дядя Алеха, ухватив темп, сделал «сизо»[18] и сел, как следует. «Завезет, будь он неладен, нивесть куда!» И начал дядя Алеха пилить кабану ножом загривок... Пилил, пилил и допилил до жилы, и кабан пал. Слез дядя Алеха со своего скакуна, осмотрелся и ничего понять не может — куда затартал его кабан? Место как бы и знакомо, как бы и нет. Посмотрел дядя Алеха на кабана, а тот и сам смотрит одним глазом на дядю Алеху, язык прикусил и как бы смеется, а потом возьми, да и подмигни. Тут дяде Алехе и тюкнуло: «Э, да кабан ли ты, не ороченский ли оборотень?» Прочел дядя каку надо молитву, или како слово пробормотал — у него всегда их с собою запас — и смотрит... нет ничего: кабан, как кабан, и глаз закрыл, и больше не смеется. Тут дядя Алеха и место признал и снова почесал в затылке: «Фю-фю! да тут и до завтрашнего вечера до дому не добежишь!» И пожалел дядя Алеха, что с ним уздечки не было, а то бы зануздать кабана, да и прикатить прямо в Куприяновку, и за мясом бы ехать не надо.

Дружный хохот награждает рассказчика, и не менее заливисто хохочет и он сам.

— Вот спасибо, Паха, уважил, повеселил, — несутся голоса.

— Набрался этого он у дяди Алехи, и теперь такой же балагур. И всегда так сплетут быль с небылицей, что и концов не сыщешь, — удерживая смех, по привычке ворчит дядя Григорий.

Гости благодарят за приятно проведенное время и поднимаются идти по домам, а хозяева встают проводить гостей, и, как участник беседы, встает и Пашка и шагает че-

---

[17] Ороченская шапка.
[18] «Сизо» или «ножницы» — один из приемов при джигитовке.

рез затухающий костер, но ловко и вовремя подсунутая ему под ноги палка чуть не валит его с ног, а бедный «Байкал», опрокинутый на угли, шипит и отфыркивается и просит помощи.

— Ну, и увалень же ты, Пашка! Шагу ступить не можешь, чтобы что не своротить, длинноногий сохатый! Вот пойдешь на службу, так там тебя урядники выстрогают — гладкий будешь! — выговаривает Пашке дядя Григорий. — Дед Колотушкин все пророчит, что Пашке непременно быть в гвардии, да и я так думал; по его статьям так оно и должно бы быть, и все время ему талдычу: «Пашка, пока ты тут около Савельича, так подучись получше грамоте, писать-читать, счету, как следует, подучись. Книгу хорошую он тебе даст, а ты с умом почитай; не поймешь — спроси, и он тебе, что надо, пояснит!» Так куда! Читает без конца «Конька-Горбунка», да не читает, а чуть не поет, да вот еще нашел себе компанию и торчит там у них в балагане день-деньской: возня, хи-хи, да ха-ха-ха, хоть палкой разгоняй. Парня женить пора, а он с этими сосунками компанию водит . . . Да и какая за него дура пойдет? Разве какая хромая или косая!

Пашка фыркает, как кот, и отворачивается в сторону, силясь удержать расплывающуюся до ушей улыбку, а мы по Пашкиным глазам видим, что он на этот счет совершенно другого мнения.

Федор Иванович, прощаясь и проходя мимо Пашки, дружески его треплет по плечу.

— Вот слушай, Паха, что тебе люди говорят; ведь добра желают, а ты успевай и сколь можно подучись, а придешь из гвардии, то мы тебе такую невесту отыщем! И певунью, и красавицу, и уж не бесприданницу! И заживешь ты казак-казаком. Руки у тебя есть, силенки не занимать, наберись лишь ума, а там гульнем на свадьбе!

Пашка стоит к костру спиной, и нам его лица не видно, но мы не слышим и его обычного в таких случаях фырканья, и он не отворачивается от говорящего, а стоит в какой-то необычной для нас, застывшей и почтительной позе.

Все эти разговоры нам не по душе! То, что Пашка будет служить в гвардии, это хорошо: мы сами будем служить в гвардии, а вот жениться . . . Зачем жениться? Мы знаем этих женатых — самый скучный народ и любят командовать: «Туда беги, то принеси!»; ни повозиться с ними, никакой с ними компании. Нет, неженатые, да дед Колотушкин и Се-фуза — эти лучше: неженатые всегда веселые, а Се-фуза с дедом так уютно и спокойно всему научат, и у них есть, что послушать.

Если на всей этой беседе нет нам ни похвал, ни обещаний на наше будущее, то не думайте, что мы забыты, нет! Прежде чем разойтись беседе мы получаем от дяди Григория наказ, не особенно любезно высказанный, но ответственный своим поручением:

— А вы! Завтра в Тихой под Крутым Яром найдете снасть и снимите! Снасть там лёгкая — справитесь! Будет рыба и не по вашим силам, выйдите на косу и разведите дымокур, — дадите нам знать: приплывём и снимем! И там не своевольничать! Се-Фуза ты утром их снаряди и отправь. А вам пора спать.

— В Тихой ставили: — удивлённо спрашивает Бородин. — Да там что? Лягуш ловить?

— С весны-то там орочены не раз калуг видели вот и бросили и держали там снастишку да и забыли. На фарт бросили, — как бы оправдывается дядя Григорий.

10

КАЛУГА

Было еще прохладное утро, когда Се-фуза поднял нас. «Стариков» и Пашки уже нет на стане — уехали на снасти. Наша лодка тоже приготовлена к отплытию и заботами Се-фузы снабжена всем рыболовным инвентарем, потребным в предстоящем деле. В лодке все разложено по местам и под рукой.

Мы с Оськой не спеша пьем чай и просидели бы за столом долго, если бы хлопотун старик не напомнил нам, что пора ехать.

Нам сроки не поставлены, и мы после сытного завтрака едем не торопясь, долго наблюдаем из-за куста, повалившегося в реку, ловлю мальков изумрудно-рубиновым зимородком, потом заходим в береговую чащу собрать себе на дорогу кислицы, в протоке заезжаем в широкий мелководный песчаный залив и, купаясь, занимаемся добычей больших, тяжелых раковин с блестящим перламутровым покровом внутри и, нанырявшись за ними до боли в глазах, двигаемся к месту нашей командировки.

На указанном месте, несмотря на тщательный поиск, мы снасти не нашли и, разморенные долгим купаньем и уже жарким солнцем, укрылись в тени высокого берега, отды-

хаем и лениво наблюдаем за спокойным зеркалом широкой протоки.

— Оська, смотри, во-он там, под тем берегом, туда ниже, вон там, на чем это там сидят чайки?

— На чем? Сидят и сидят себе на воде.

— Нет, так на воде не сидят — бок-то о бок, это они не плавают, а сидят. Поедем, посмотрим!

Сказано — сделано. Подплыв к чайкам, мы обнаружили, что они сидят на снастном наплове. Чайки косятся на нас и неохотно уступают нам занятую ими позицию. Найдя снасть, мы ворчим на «стариков», и Оська здесь, на свободе, не скупится на упреки и критику:

— Ставят, сами не зная где, и толком-то рассказать ума не хватает, а тут майся день-деньской. А знаешь — это, брат, тут чайки-то неспроста сидели. Это они рыбу ворожат. А вдруг бы нам, брат, бац! — калужка! Вот бы мы им нос-то утерли!

Оська не спеша перебирается по фалу наплова и, выбрав его половину, начинает пыхтеть и кряхтеть, вытягивая уже с трудом каждый аршин и силясь поднять на нос лодки хребтину, но та почти не поддается и вызывает снова целый поток Оськиных упреков в адрес стариков:

— Вот таже горе-рыбаки, нашли где ставить. Лягуш тут, что ли, ловить? Вот замыло или карчу насадило, а мы надрывайся. Чужими-то руками все мастера. «Поезжайте, легонькая снасть!» Вот тебе и легонькая! Да что она, приросла, что ли? Чево расселся там, Ирод, помогай! Что я вам, нанятый?

Я перебегаю с кормы к Оське, и мы общими усилиями вытягиваем вершок за вершком и с большим трудом добираемся до хребтины и закладываем ее на носовой крюк. Сидим, отдыхаем и соображаем, как нам быть дальше, так как хребтина чем-то придавлена и стоит как-то странно — круто в глубину и наискось течению; стоит так, как никто и ни-

когда снасть не ставит. Хребтина на крюке давит на нос лодки, и корма ее поднялась высоко — все как-то не так, как надо.

— Давай качать лодку. Идем на корму и будем качать, может, расшевелим карчу и ее снесет, — предлагаю я.

Оська не протестует, но и не высказывает одобрения моему плану, медленно и вяло переходит на корму, садится около меня, и мы начинаем раскачивать лодку все сильней и сильней, увлекаемся этой качелью и видом разбегающихся маленьких волн и забываем о цели наших усилий, но цель сама напомнила о себе: лодка почувствовала какое-то облегчение, выпрямилась и отошла в сторону; мы, готовые крикнуть победоносное «ура», обернулись на сильный всплеск позади нас и застыли от изумления: огромный хвостовой плавник много ниже нашей лодки тихо разгонял небольшие буруны. Мы ошеломлены таким размером рыбы: ведь голова ее где-то здесь, на уровне нашей лодки, а хвост?

Мы бросаемся на нос лодки с тем, чтобы сбросить с крюка хребтину и тем обезопасить лодку и себя от возможных, опасных для нашего судна сильных сопротивлений громадной рыбы. Освободив хребтину с крюка, мы не выпускаем ее из рук; этот жуткий громадный плавник исчез, и хребтина в наших руках не передает никаких рывков, ничего враждебного; лишь снова напряглась и смотрит вглубь. Это спокойное состояние дает нам возможность прийти в себя и решить вопрос, как нам быть.

На мое предложение ехать и вызывать стариков, как нам было приказано, Оська протестует и каким-то неуверенным плачущим тоном тянет:

— Да-а-а, когда мы поймали, а они снимать . . . Что мы, хуже их? А Пашка будет дразнить, что струсили . . .

Успокоившись и чувствуя себя в безопасности, мы приходим к заключению, что калужка, сев на снасть, стронула с места легкие якоря и увела снасть вниз по течению, поче-

му мы снасть и не нашли на месте; что снасть она вытянула по течению, и что сидит она на дальнем нижнем конце снасти и потому всплыла так далеко позади нашей лодки, и что, раз она не буянит, — значит, она села давно и уже умаялась, и, пожалуй, нам можно рискнуть попыткой снять ее самим и тем утереть нос и «старикам» и Пашке. Только надо не торопиться, а потихоньку, и не зевать.

Разработку плана действий, обмен мнениями, советы и споры мы почему-то ведем, как заговорщики, вполголоса, а иногда и шёпотом, поглядывая на то место, где всплывал огромный — Оська говорит: саженный — плавник.

— Эх! Попытка — не пытка, и семь бед — один ответ! Где наша не пропадала! Мы — Амурские казаки! Решено и подписано!

— Ты иди на корму и отводи ее все время подальше от хребтины, а я буду подходить, — шепчет Оська, и его большие глаза, хотя все еще с тревогой, но уже смотрят весело.

— А ты смотри, не торопись и все крючки снимай, а то как рванет, да крючком за руку, ну, только тебя и видел, — подаю совет я, и мы расходимся по своим «боевым» позициям.

Оська медленно, крадучись, начинает перебираться по хребтине. Я отвожу корму лодки и слежу за поверхностью воды — не покажется ли вновь этот страшный хвост большой рыбы. Оська доходит до крючков и долго возится с каждым, отвязывая его: узлы замокли и забиты илом и не поддаются его усилиям. Я теряю терпение и шепчу ему:

— Да режь их, чего возишься?

— Режь, а потом тебе нарежут, — огрызается Оська, но достает нож, и дело сразу идет быстрей.

Хребтина круто стоит в глубину, и Оська, по-видимому, что-то чувствует; огромная рыба где-то здесь, близко от нас, и он несколько раз вопросительно оглядывается на меня, и мы оба в нерешительности, но «людское тщеславие» застав-

ляет нас перебороть и страх и благоразумие, и мы снова, как воры, крадемся дальше . . .

Вдруг Оськины глаза, ставшие необычно большими, уставились куда-то в водную глубь, и в то же мгновение я вижу, как из этой глуби всплывает огромная тень. Не успели мы ахнуть, как в трех-четырех саженях от нашей лодки всплыла большая рыба. Мы, затаив дыхание, настороженно смотрим на нее. Рыба спокойно и как-то странно лежит несколько на боку, показывая нам часть своего белого брюха. Жабры ее усиленно работают, и она хоть и зло смотрит на нас одним своим правым глазом, но ведет себя мирно, и мы вновь имеем время прийти в себя и набраться дерзости, так как видим, что рыба сидит на нескольких крючках, что ее движения связаны, и что она уже теряет силы и, пожалуй, не так уж опасна; да она не так уж велика, как представилось нам в первый момент. Да мы же — казаки, чего трусить?

— Я еще немного подберусь, а ты бери багор, а мне брось лямку. Багрить будешь — держись в лодке крепко, да убери из-под ног крючки, а то всадишь в ногу Ну . . . Господи благослови! . . — торопливо шепчет Оська.

До рыбы не больше сажени. Снова стоим и наблюдаем за ней, и, кажется, нет ничего угрожающего. Оська мотнул головой: сигнал — время багрить. Я становлюсь на уровне головы рыбы. У меня в руках большой багор на крепком древке, тонкий трос от него в правильных аккуратных петлях у меня под ногами. Я готов . . . Вот лодка надвинулась еще ближе, и до рыбы меньше сажени, и ближе нельзя. Оська, широко разбросив ноги, лежит на носовой подушке лодки и цепко обеими руками держит хребтину . . .

Тихо, чтобы не задеть и тем не взволновать рыбу, подвожу свой багор под передний дальний плавник и быстрым резким рывком переворачиваю рыбу на спину и прикручиваю багор к мачтовке; в таком положении все усилия рыбы

для нас не так опасны, но тут, к нашему удивлению, рыба и не споротивляется, а по-прежнему лишь усиленно работает жабрами. Оська быстро прорезает ей губу, продергивает конец лямки, приподнимает рыбе голову и крепит лямку за уключину. Глотнув раз-другой воздух, калуга совсем обессиливает, и мы смело обрезаем держащие ее крючки, ведем ее к берегу и, привязав там к крепкому пню, едем снимать снасть. Торопливо закончив эту работу, мы купаемся, моем хребтину и без конца рассказываем друг другу все пережитое.

Пережитое начинает сказываться на нас. Мы бесконечно счастливы, радостны и веселы. Наш смех и громкий разговор звенят тонким эхом в высокой скале противоположного берега протоки, а мы, перебивая друг друга, рассказываем один другому все, как было, и что каждый из нас думал и что делал, и это не раз, а повторяем и спрашиваем друг друга: «Ты видел, как я ее? . .» — «А она как . . .», и прочее . . . и «пожалуй, Пашке так бы не справиться, как мы ее . . .»

Оська определяет вес калужки в пятнадцать пудов. Я тоже хочу, чтоб она была пятнадцати пудов, но я уже «на своем веку» видел не одну калужку, и у меня почему-то чувство какой-то неуверенности и сомнения, а Оська твердо заявляет:

— Ты не выдумывай! Пятнадцать и ни фунта меньше! Так и знай!

Мы ведем калугу около борта и придерживаемся берега: «Береженного и Бог бережет».

С Оськой что-то происходит: то ли он ошалел, то ли спятил с ума; гребет, болтая веслами, смотрит себе под ноги, трясет головой, а то начинает смеяться: откинется назад и, запрокинув голову, дико хохочет, и я уже не понимаю, что с ним. На мой вопрос: «Ты что, обалдел?» — Оська, захлебываясь, хихикает и с трудом выговаривает:

— Бородинские-то . . . бородинские-то позеленеют от злости . . . Вот вам и лягуш ловить! Нет, брат, не лягуш, а вон она какая барыня, ты только посмотри, да ты посмотри! Посмотри, какая! Чистых двадцать, и ни фунта меньше. Дядя-то Григорий тоже — «дымокур разведите!» Нет, брат, не дымокур, а мы сами с усами.

Оська вдруг дико взвизгивает, барабанит пятками в дно лодки, заливается-поет:

— Мы сами с усами, мы сами с усами — с усами сами . . . Вот она какая барыня! Барыня — барыня — сударыня . . . А что? Чистых двадцать пять и ни фунта меньше!

Этот все увеличивающийся вес начинает меня смущать. Я, конечно, не против Оськиных определений веса, но чувствую, что он далек от истины. Оська поет, орет, стучит голыми пятками в днище лодки, гребет, болтая и булькая веслами, так что мне приходится уже с сердцем кричать ему:

— Да ты что, долго будешь с ума сходить? Пока едем, так проквасим калужку. Греби, тебе говорят!

Мы, страхуясь от всяких случайностей и не доверяя миролюбию калужки, плывем вблизи берега и, выйдя из-за небольшого берегового мыса, видим весь наш стан. У балагана стоит Се-фуза и, наверное, уже ждет нас. Все лодки дома — значит, «старики» вернулись. Вот Се-фуза прикрыл ладонью глаза и смотрит в нашу сторону и, сообразив по крену нашей лодки, по-видимому, что-то крикнул, так как из балагана кубарем выкатился Пашка, а из землянки вышел Савельич и следом дядя Григорий; все сошли к лодкам и смотрят в нашу сторону.

Оська, обернувшись назад и увидя встречающих, как-то сразу потерял свою веселость и гребет тише и как бы нехотя, но мы уже так близко, что лодка по течению подходит сама к месту причала. Пашка стоит по колено в воде, подводит нашу лодку к берегу и, немного вытащив на плёс, держит. Мы сидим на своих местах, не глядя на встречающих.

— Вы што? Долго будете сидеть в лодке? Вам, паршивцам, что было сказано? Ох, доберусь я до вас! Вылезайте! Вот прута в руках нет, а то бы я вам дал баню, ну!

Оська, как сидящий на первой скамейке, вылезая и пробираясь мимо дяди Григория, получает хорошую «коковку в головку», и, может, такая же участь ждала и меня, но тут подошли все бородинские, и внимание было отвлечено, а я, воспользовавшись этим, соскочил с кормового сидения прямо чуть не по пояс в воду и выбрел к стоящему в стороне Оське. Бородин посмотрел на приведенную нами калужку и изрек:

— Дуракам счастье!

Оська, потирая ушибленное место, бормочет про себя, но так, что слышат все:

— Дураки, да с калужкой, а умники чаек швыркают . . .

Федор Иванович, бросив на Оську недобрый взгляд, так же тихо, но веско говорит:

— Ты, паря, сегодня что-то больно речист? Смотри; кошка скребёт, на свой хребёт, как бы потом не каяться!

Тут Григорий Андреевич, по-видимому желая загладить Оськину дерзость и отвлечь внимание, говорит Пашке:

— Паха, возьми-ка калугу да уведи её на яму в тень, привяжи как следует, а утром поведёшь в станицу.

Мы взревели в голос: — Мы поймали, мы и поведём, а не Пашка!

— А верно, ребята, ведите вы; мне-то Пашка и здесь будет нужен; кончать надо рыбалку да собираться домой. Се-Фуза, ты их соберёшь и утром чуть свет отправишь.

11

КОЗЕЛ

Вправду говорится: «Пришла беда — отворяй ворота’. Не успели мы пережить все «незаслуженные» огорчения, как над нами грянул новый раскат грома.

Пашка отвел калугу и вернулся, а дядя Григорий, обращаясь ко всему обществу, говорит:

— Господа станичники, прошу на расстанье с нами откушать хлеба-соли: Паха нас сегодня козлятиной угощает. Вот на расстаньи и вроде, как попируем, можно бы и рюмку выпить, да по зеведению ее тут не держим, но не обессудьте на сухой ложке. Козла своротил парень доброго и не по времени жирного.

Все направились в столовую.

Мы стоим с Оськой и не можем ничего понять. Мысли бегут, путаются, в голове целый вихрь, и почему-то так тяжело, что мы готовы погубить себя — завыть, как девчонки, но кое-как перебарываем эту слабость. И меня и Оську, повидимому, мучит одна мысль:

«Как? Пашка пошел без нас и добыл козла? А с нами ходил и даже не стрелял! А тут пошел! Ооо! Предатель, Иуда! И это еще мы его пускали в наш балаган — вместо того, чтобы гнать как паршивую собаку. И ведь когда? Это,

мы знаем, ему стало завидно, что мы поймали калужку. Но как же он узнал? Но вон же Се-фуза говорит, что он знал, что мы поймаем калужку: он видел во сне белого коня и потому положил в лодку большой багор. Может быть, и Пашка видел этого коня? Или это ему подсказал его шаман? Недаром он хотел ему писать записку. О, несчастный Иуда!»

Мы голодны и тоже бредем за всеми в нашу такую всегда уютную столовую, но сейчас мрачную и неприветливую для нас, как чужой дом. Оська шепчет мне на ухо:

— Ты не ешь его паршивого козла, пусть сам им давится!

А у Се-фузы в тазах такие сочные большие куски отварной козлятины, и лук, и лепешки, а тут Федор Иванович что-то сказал одному из своих, и тот вскоре принес большую буханку свежего хлеба и берестяной туесок топленого молока. Да это же «пир на весь мир», а мы на этом пиру — «бедные родственники»!

Наша столовая преображена: стол увеличен скамейками, снятыми с лодок, и около него вбиты в землю несколько сошек и положены толстые кругляки, которые служат скамьями. Гости и хозяева занимают места за столом, и среди них Пашка! Мы с Оськой сидим в стороне, далеко за кухонным костром, сидим на земле и не собираемся принимать участие в этом торжестве. Сидим и все еще не можем справиться со своим настроением и не собираемся есть Пашкиного козла — пусть едят его они, а мы лучше умрем с голоду.

Но что нам делать? Как нам быть? Се-фуза принес и ставит перед нами тазик с парной, душистой и сочной козлятиной, а сверху лежат два толстых ломтя свежего хлеба. Тут же чашка толченого с солью лука и наши большие деревянные чашки с чаем, забеленным топленым молоком. Какие мы несчастные! И все это Пашка-Иуда!

Старики, по-видимому, поняли наши переживания, и из-за стола до нас доносятся похвалы Пашке и молодым рыба-

кам, и здесь мы узнаем, что Пашка на охоту не ходил, а козел сам пришел к землянкам, его увидел Се-фуза, прибежал и шепнул Пашке, а тот, оголтелый, не спросясь, схватил винтовку дяди Григория и прямо от землянки выстрелил и добыл [19] козла. Дядя Григорий смеется и говорит:

— Ну, Паха, промажь бы ты по козлу, так намял бы я тебе шею!

Гости благодарят Пашку, а тот, как хозяин стола, радушно говорит:

— Что мало кушаете? Кушайте на здоровье!

«Задавала!»

В общем, все уж не так плохо, и лишь одно — надо же было этому козлу прийти, когда мы поймали калужку! А Пашка уж тут не при чем: не отпускать же козла, когда он сам в котел лезет! Вот только Пашка задается и сидит за столом, как будто большой. Тоже, подумаеш!

Сегодня, как и обычно после компанейского ужина, — посиденки, беседа, но у нас этот день так богат нашими переживаниями, что мы сейчас — плохие слушатели и на замечание дяди Григория, что завтра надо нам отплывать рано и чтобы мы шли спать, мы охотно поднимаемся и направляемся к балагану, и Пашка тоже с нами. Мы идем дружной компанией — Пашка обхватил нас за плечи, мы Пашку за пояс и, расскачиваясь, бредем в темноте. Пашка, по-видимому от избытка чувств, своих сил, молодости и нашей дружбы, в каком-то порыве к чему-то, останавливается и быстро бросает в темноту речитативом своего бархатного голоса:

«Было дело за Амуром в завоеванном краю . . .»

Мы с Оськой, как опытные хористы, опираясь на бархат Пашкиного голоса, но уже с распевом, может быть по-дет-

---

[19] Хлеб не резали, а рушили. Рыбу ловили, а зверя и птицу не убивали, а добывали.

ски визгливо и фальшиво, но старательно и с не меньшим подъемом, вытягиваем, подражая тому, как поют молодые казаки в станице:

«Ай! Дааа былооо дело за Амуром, да в завоеванном-то краю . . .»

— Пашка! — доносится из столовой голос дяди Григория. — Ты опять за ними увязался? Ну, кажись, возьму я хворостину!

Пашка по обыкновению фыркает сдавленным смешком, втягивает в плечи голову, как бы уже от неминуемого удара, но не забывает дать по тычку и нам и вдруг, подхватив нас под мышки, крутит вокруг себя так, что наши ноги относит в сторону, и образуется карусель.

Мы еще долго не спим, но у нас сегодня не Пашкины страшные расказы, а совещание и планы на будущее.

У Пашки целая программа, и по ней многое надо не забыть и выполнить, а Пашка наказывает нам:

— Так помни, ребята, как приедете, то попросите дядю Симона, чтобы он велел машинисту наладить из старой берданки дробовичок. Там пока тебе, воробей, дробовик купят или не купят, а тут у нас будет дробовичок хоть куда. Я эту берданку таскал этому усатому чёрту — машинисту, так он говорит: «Давай три рубля, так я тебе из этой берданки такой дробовичок отолью, что почище, чем у Василия Высоцкого, а Ермоленко или Петруня ложу сделают — дешевле не могу. Высоцкому-то за два делал, так без ложи, а тот сам приклад делал, а тебе за три все сделаем». А где я три-то рубля возьму? Мой-то заработок у атамана, а ему не заикнешься: такой дробовичок покажет, что вдругорядь и не захочешь, а дядя Симон этому чёрту скажет, так он нам и сделает, а мы им потом на бутылку-то наскребем. Осенью-то мы уток, фазанов, а зимой я — тетерь. Вы только про гильзы не забудьте. Там в старом амбаре в углу за бочкой винтовка-та, а в бочке в тряпке десять гильз; так вы, как

машинист начнет дробовик делать, гильзы в старый квас с отрубями положите, а я приеду — почистим и все сделаю: и патронташ, и сетку свяжу, а как хлеб жать начнем, то вечерами по пашням будем перелетного клокотуна [20] добывать. Запасайтесь порохом, дробью или свинцом: я сам-то мастер дробь лить, не хуже базарской.

Гости уже разошлись, и Се-фуза, убравши в кухне и столовой, пришел на отдых и, застав нас еще за оживленным разговором, попенял на Пашку, а нам велел спать. Как тут уснешь, когда впереди такая заманчивая перспектива: хорошенький дробовичок с новой красивой ложей и опять походы и Пашкина компания! Но все же сон сильнее, и мы, хотя и поздно, но заснули спокойным сном.

---

[20] Клокотун — утка-чирок, свойственная лишь Приморско-Амурскому краю и Тихоокеанскому побережью.

12

ДОМОЙ

От вчерашних переживаний, от затянувшегося прощального Пашкиного визита, от полного умиротворения и глубокого с ним душевного покоя — мы спали крепким здоровым сном и проспали. Старики пожалели нас будить рано, но Пашке за «визит» попало.

Калуга уснула, и ее погрузили в лодку и закрыли навесом из толстого слоя травы.

Предстоящее ли возвращение домой, длинный ли путь впереди, забота ли возможно быстрее доставить рыбу в сохранности, расставание ли с обжитым и ставшим нам таким привычным местом, или расставание со всей нашей артелью, стариками и Пашкой — но мы были взволнованы и, несмотря на всю заботу и старания Се-фузы, завтракали вяло и, выпив лишь по чашке чая, стали грузить в лодку свое «личное имущество»: «оружие» и весь запас заготовленных нами удилищ, сверток бересты (это нам потом на пыжи), запас кварцевой гальки и много еще другого, такого необходимого и ценного. Дядя Григорий, наблюдая наши сборы, при виде всего нашего «богатства» лишь крякнул и ушел в землянку. Провожали нас Се-фуза да Пашка. Се-фуза принес беленький мешочек из-под муки с зетейливым американским

клеймом, а в нем — наши чашки, маленький наш котелок, несколько лепешек и кусок мяса Пашкиного козла.

Все готово, и мы занимаем свои места на двух парах весел. Пашка отводит лодку от берега и, забредя по колено в воду, держит ее, пока Се-фуза дает нам свои последние наставления:

— Надо скоро ходи; долго ходи — рыба пропал, бросай. Играй не надо. Кушай половина солнца, один раз, все время ходи, стои не надо. Шипко устал ничево, потом дома отдыхай. Солнце низу пошел — ветер будет, большой ветер. Ваша всё своя сторона ходи. Ветер большой, ходи не могу — ваша какой маленький речка, протока, остров стой-жидай; ветер мало-мало кончай — сразу ходи, сиди не надо. Ну, ходи! Пашка, пускай!

Пашка держит лодку; я, как владелец судна, повелительно кричу ему:

— Тебе сказано, пускай! Чего держишь?

А Пашка взял и вытащил нашу лодку носом на берег, но тут вмешался Се-фуза и прикрикнул на Пашку. А тот, балда, так толкнул лодку, что мы чуть не свалились с сидений, а он хохочет! Но не успел Пашка закрыть рот, как Оська резким и сильным ударом весла послал ему такую густую и сильную струю воды, как из брандспойта, а следом такая же струя летит из-под моего весла. Пашка, смешной и мокрый, стоит какой-то растерянный, озадаченный таким душем, а мы наваливаемся на весла и спешим отплыть на безопасную дистанцию. Пашка бросается вслед за нами, но, заскочив по пояс в воду, возвращается назад, а мы гребем изо всех сил и, отскочив подальше, заливаемся торжествующим смехом. Но тут около нас взвивается фонтан брызг от ловко запущенной Пашкой увесистой гальки, что заставляет нас снова взяться за весла и выйти из-под «обстрела». Однако, мы совсем не намерены оставить «поле сражения» за Паш-

кой и применяем другое оружие, чтобы разгромить противника.

Оська передразнивает вчерашнего Пашку за столом с «большими» и, сложив ладони рупором, кричит:

— «На здоровье . . . чего мало кушали?» . . . У-у-у, задавала!

А у меня есть снаряд и посильнее, и я уверен, что Пашка будет сражен.

— Жених! — кричу я. — Жених гвардейский!

И я, и Оська взвизгиваем от восхищения такой меткой «стрельбой». Пашка что-то кричит, но мы уже так далеко, что приходится спрашивать, и, приложив ладони ко рту, мы кричим:

— Што-о-о? Што орешь?

— Ребята-а-а! Про доробовичок не забудьте-е-е! — еле доносится до нас.

— Без тебя знаем! — бросаем мы и беремся за весла.

Путь не близкий, и надо спешить. Поручение ответственное, и мы это понимаем, а потому, закончив «прощание» с Пашкой, усердно гоним лодку.

Для сокращения пути мы должны по узкой протоке, почти канаве, пересечь большой остров, что отделяет нас от главного Амура. Вот и вход в эту канаву-протоку. Место это приметное; оно около рощи больших сухих тополей. На толстых ветвях погибших деревьев расселился целый цапельный городок. Сейчас население этого города в отлучке, на промысле, но их стража — с десяток цапель — стоит там и тут около своих гнезд и зорко наблюдает за окрестностью, следя за каждой пролетающей грабительницей-вороной.

Красивое зрелище представляет этот цапельный городок на закате солнца, когда население его разместится по толстым сухим ветвям высоких крон и четкими, странными, одноногими силуэтами рисуется на багряном фоне догорающей зари . . . Но сейчас нам не до цапель, да их грязный го-

родок никогда не привлекал нас, и мы торопливо гоним и гоним свою лодку.

Крутые берега узкой протоки поросли высокими островными травами, местами — грядами сухого высокого камыша, купами низкорослой дикой яблони, а кое-где зарослью кустарниковой черемухи, но, в общем, здесь нет ничего для нас примечательного, да нам и не до наблюдений: нам надо спешить, нам недосуг.

Вот и главный Амур! Он после душной протоки дышит нам в лицо свежестью прохладных своих вод и встречает широкой спокойной волной от только что прошедшего парохода. Быстрые струи широко разводят растекающиеся воронки водоворотов и горят и играют под лучами яркого солнца.

Наша лодка здесь, на быстром могучем течении, кажется какой-то неустойчивой и робкой, и мы, оставив свою беспечность, работаем веслами внимательно, согласуя взмахи обеих пар. Нам нужно, да и было наказано, сразу перейти на нашу, русскую, сторону, пока мы не встретили предсказанного Се-фузой ветра, но мы тоже не лыком шиты и, немного обтерпевшись на быстром течении реки, перебиваем ее наискось, стараясь использовать течение, выиграть время и сократить свой немалый путь. Берега быстро бегут нам навстречу и уходят за корму, а там, далеко, становятся низкими и туманными.

Мы сейчас обходим многоверстный курчавый зеленый мыс. Ветерок дует нам в левый борт и может нам помочь. Мы ставим свой небольшой парус и наслаждаемся отдыхом, спокойным бегом лодки и тихой песенкой струй за бортом, а зеленые берега беспрерывно сменяются перед нами.

Этот зеленый мыс замечательное место; на нем живут фонарщики — Василий и другие; тут же живет водомерный староста. Живут они в красивых домиках. У них красивые шлюпки и лохматые охотничьи собаки. Там есть маленькое

озеро, они загородили его проволочной сеткой и растят там диких утят и гусят. У них в большом загоне живут дикие козы, а у будки-норы здоровый барсук на цепи. Им что? Им хорошо: лишь поднимай на высокую-высокую мачту разные корзины да шары — небось не надсадишься; ездят да гусят ловят, живут, как цари . . .

За мысом на широких просторах равнинных берегов Амур встретил нас короткой крутой волной, поднятой низовым ветром. Убрав парус, мы на веслах все еще держимся главного фарватера, цепляясь за его течение. Ветер уже затрудняет работу веслами, а волна начинает нас изрядно покачивать . . . Волна становится все круче и вскоре заставляет нас идти к берегу, но и там не лучше: толчея из волн и ветер. Но что делать? На горящих ладонях вздулись водянистые пузыри-мозоли, спина и руки просят отдыха. Бесконечно прямой, без единой бухточки, берег не может нам дать никакого укрытия, и пока есть какая-то возможность продвигаться и какой-то запас сил, мы гребем и гребем. Мы стараемся не думать о том, сколько еще осталось пути, и как долго мы будем качаться на волнах, а Амур все шумит и шумит. Зеленые крутые волны завиваются белыми барашками, дали реки мутнеют от водяной пыли, и ветер треплет седые кудри волн.

Крупные серые чайки-хохотуньи легко и свободно реют над волнами, без единого движения крыла то высоко взмывают в солнечную высь, то стремительно падают в провалы волн. Вот одна серая как бы повисла над нами, низко парит и спокойно, то одним, то другим глазом разглядывает нас. Она не выказывает никакого опасения, а нам не до нее; нас ничто не интересует; нам бы лечь и уснуть, и спать бы и спать.

Далеко позади нас из-за мыса появился большой белый парус; он гуляет от берега к берегу и быстро нагоняет нас.

Большой китайский бусс[21] под огромным прямым парусом галсами идет против ветра вниз по реке. Это судно, в безветрие всегда такое тяжелое, громоздкое и неуклюжее, сейчас, под лучами яркого солнца, на зеленых крутых волнах, с большим белым буруном перед своим тупым носом, ожило и преобразилось в какую-то легкую изящную птицу. Оно быстро и плавно скользит по шумящему волной простору реки и, развернувшись позади нас, переложив парус, близко обходит нашу лодку. Его команда, с засученными по колено штанами и без рубашек, сидит на сухой части палубы и блаженствует, покуривая трубки, и лишь двое кормчих у руля на высоко поднятой корме застыли бронзовыми фигурами.

Бусс большой, богатый, и вся его оснастка солидна и нова. Высоко над большим квадратным парусом на вершине солидной, а сейчас кажущейся легкой и красивой, мачты полощет ярко-пестрый флюгер — усатый дракон; его красный хвост змеится по ветру. На корме над рулевым, позади ажурной маленькой кумирни, на невысокой мачте второй дракон с длинным, белым с синими зубцами, хвостом указывает рулевым направление ветра. Из тонкой железной трубы кормовой надстройки вьется тонкая струйка дыма: то повар готовит обед. Счастливцы!

Широкая тень паруса накрывает нас. С шумом рассекаемой волны, подымая радуги мелких брызг, бусс, сам как какой-то могучий дракон, мокрый и блестящий, чертит бортом воду и легко скользит среди мечущихся волн.

Мы с тоской и завистью следим за этим свободным, без усилий, полетом. Команда «дракона» смотрит на нас, смеется и что-то кричит, но мы не слышим, и нам не до них: им

[21] Бусс — китайская парусная барка для перевозки зерна в насыпку.

хорошо зубы скалить, а попробовали, погребли бы! . . Оська все же не может удержаться и со вздохом шепчет:

— Черти косоглазые!

Ушел парус, и мы его уже невидим, а гребем и гребем . . . Мы не делали остановок, не ели, но нам и не хочется есть, и мы уже не пьем «забортную», так нами любимую воду. Мы оба работаем веслами добросовестно, но знаем, что на это идут последние силы . . .

С китайской стороны подошли горы. Вот и Хованская сопка, и дальше Амур еще шире, а там, ниже, где река снова разделяется большим островом на два судоходных русла, ветер гуляет на просторе — крепкий низовик, и там все бело. На нас несет водяную пыль, и мы промокаем до нитки, мокрые рубахи прилипают к телу и мешают работать руками, да и в руках уже нет сил.

Но уже недалеко: еще верста-две, и, может быть, сможем юркнуть в протоку и там найти спасение от ветра. Протока нас выведет почти к самой станице, но нас заботит мысль: достаточно ли сейчас в протоке воды? Сама протока глубока, но при входе в нее волной всегда наметываются гряды крупной гальки, а при выходе — мели из чистого белого кварцевого песка, и мы можем засесть там со своим грузом. Однако, у нас нет больше сил бороться, мы бросаем весла и бредем подле лодки, ведя ее в руках. Волны беспрерывно окатывают нас, и, несмотря на ясный теплый день, мы дрожим мелким частым ознобом.

Вереницы пенистых волн набегают на широкий галечный плёс. Мы снова на веслах и держимся на волне далеко от берега, стараясь определить место более глубокого русла входа в протоку. Наконец, кажется — ничего, можно, и мы, улучив момент, быстро разворачиваем на высоком гребне волны свою лодку и гоним ее с пенистым шумным каскадом . . . Ура! Проскакиваем в протоку, даже не задев днищем за гальку. Это — удача, это — счастье!

Мы устали, и наше торжество — какое-то тихое и робкое, тем более, что там впереди, при выходе, мы можем попасть в «мешок», и как тогда быть?

Мы стаскиваем с себя мокрые рубахи и греемся на солнце, медленно плывя по тихой в высоких тальниках протоке, стараясь как-то по берегу и по затопленным кустам выяснить, есть ли в протоке течение, а, следовательно, выход, но какой? Однако, другого выбора нет, а мы, можно сказать, уже около дома.

Но вот и выход. Двумя широкими, но мелкими руслами вливается протока через песчаный перекат в реку. Направо, за рекой — курчавый зеленый берег большого острова, налево — наш песчаный берег. Он заканчивается длинной, такой же песчаной косой, за которой — устье впадающей здесь речки Завитой, а за ней высокий берег с березовой рощей, над которой синеют купола нашей станичной церкви. На берегу виден наш дом, но перед нами — еще не малый труд . . .

13

ДЕД КОЛОТУШКИН

Мы бродим в мелких руслах переката и нащупываем, где бы мы могли провести нашу лодку, но все наши изыскания напрасны; воды мало, и при первой же попытке силой протащить лодку мы садим ее крепко на мель. Сидим на борту лодки и устало соображаем — как же нам быть?

— Пойдем вон к валежнику и принесем каких-нибудь кряжей и по ним, как по каткам, перетащим лодку, — предлагаю я.

Мы вяло и медленно поднимаемся, идем к тальникам, где большой водой наметан целый штабель разных палок и обломков нетолстых стволов, и, выбрав три-четыре нужных нам, переносим их к лодке, подсовываем один под нос, а остальные выкладываем перед ней, но катки под тяжестью лодки и груза вдавились в песок, и мы ни с места . . . Снова сидим, не зная что предпринять.

— Ты сиди здесь, карауль, а я побегу домой и приведу коня, и мы ее конем, — оживляясь говорит Оська.

Это единственный у нас выход, но как через Завитую? Оська устал, ему не переплыть речки, и мы снова в тупике.

— Бери веревки, снимай с паруса, и мы там сделаем паром, и ты на нем переплывешь, — командую я, и мы сразу

оживаем; выход найден, и теперь все ясно. Собираем все свободные веревки и спешим. Я шагаю за Оськой и, подбирая тянущийся за мною конец длинной веревки, натыкаюсь на него.

— О, чтоб тебя! Чего стал?

— Парус! Смотри, парус — это дед! Дед Колотушкин едет! Он нам поможет! Смотри же, это он! Забегай ему наперерез. Ха-ха-ха, вот здорово! Кричи ему. Эй, де-е-ед! Де-еду-у-ушка!

Мы бредем по мелкой воде все дальше и дальше на путь идущей вдоль берега лодки. Бежим, кричим, но дед, туговатый на ухо, нас не слышит, а парус мешает ему нас видеть. Но мы знаем, что сейчас состоится наша встреча, и представляем себе озадаченное лицо нашего деда, нашего старого друга, и мы рады не только тому, что он нас выручит из беды, но просто рады этой встрече — ведь мы его не видели почти уже две недели.

Вот лодка уже близко, и мы, заложив по два пальца в рот, издаем такой свист, что у самих звенит в ушах; парус сразу метнулся в сторону, и из-за него показалась изумленная бородатая голова деда. Он сразу не может понять нашего неожиданного появления здесь, смотрит широко открытыми глазами, а мы хохочем, машем ему руками и кричим:

— Дед, подваливай сюда!

— Помоги нам: засели!

— Калужку поймали. Плавим. Давай сюда!

Дед ничего не может понять из нашего крика и сам грозит нам веслом и кричит:

— Вот я вам! Откуда взялись? Озорники, управы на вас нет!

— Да ты подворачивай, помоги — калужку плавим!

— Вот я вам покажу калужку! — дед подворачивает к нам и спускает парус.

Мы хватаемся за борта лодки и ведем ее к берегу. Дед прямо с кормы слезает в воду и бредет к берегу, продолжая нам грозить, а мы не слушаем его и, перебивая друг друга, спешим ему поведать, что мы поймали калужку и что сейчас засели и не можем протащить лодку, и чтоб он нам помог.

— Полно вам врать-то! Кака-така у вас калужка? Чего несете?

— Да ты сам посмотри, в лодке-то у нас какая: все двадцать? — опять Оська вылезает со своим весом.

Дед идет к нашей лодке, приподнимает травяной навес, смотрит и хмыкает:

— Хм, пудов восемь. Сами снимали?

И здесь мы спешим рассказать все подробности нашей борьбы с калужкой, и как она . . . и как мы . . . и какие она подняла своим хвостом волны, «как пароход», и что дядя Григорий велел дымокур, а мы ее сами . . . и что бородинские позеленели от зависти . . . и готовы были еще много рассказать о калужке, да дед перебил наше повествование:

— Ну, ну, полно вам врать-то, уж и калужка-то не Бог весть какая, да и сидела-то она, матушка, не один день: по крючкам вижу. Про Бородина-то так говорить не хорошо: он вам не ровня, да и что ему завидовать? На своем веку он сколь рыбы-то переловил! Не надо так про людей-то говорить. А вы чего залезли в протоку?

— Чего? А волна-то, а ветер-то какой! Небось, залезешь. Из сил выбились. Посмотри, руки-то — одни пузыри, — и мы показываем деду свои ладони. — Вишь, какие пузыри? Пальцев не сведем . . . А у Бояшкина острова смотреть страшно — все бело. Уж в руках лодку тащили, ты помоги нам . . .

— Эх, горемыки вы! Ну, берись дружно. Смогу, так подмогну.

Пока мы пытались протащить лодку, пока встречали деда и за время наших разговоров, уровень воды в протоке — от прибыли ли воды, или нагнало ее ветром — повысился, и мы, сверх ожидания, провели лодку без всякого затруднения. Приткнув ее к берегу, мы всей компание присели на ее борт, и дед вспомнил про свою трубку.

— Оська, ну-ка, паря, сбегай к моей лодке, там в корме под сиденьем кисет да трубка. Принеси-ка; покурить, да ехать.

Дед курит свою трубку, а мы сидим около него и рассказываем ему все наши «новости», что были за дни его отсутствия у нас на рыбалке: что вода прибывает и наши снимают снасти, что дядя Григорий говорит, что уже стало жарко, и он хочет снимать рыбалку, и что надо уже косить сено; что мы поймали калужку, а Пашка на зло нам добыл козла и угощал бородинских и задавался, а потом прилез к нам в балаган и говорил, чтобы мы сделали дробовичок и осенью будем охотиться на клоктунов; а Бородин Пашке обещал невесту, и что мы тоже потом будем служить в гвардии, но нам невест не надо; а если Пашка женится, то мы ему дробовика не дадим.

Дед курит, молча слушает нашу болтовню, а сам ее расшифровывает и прекрасно нас понимает, и оттого наша беседа легка и непринужденна. Выколачивая трубку, дед делится с нами и своим:

— Рыбалку-то кончать надо, и я везу приказ. Савельичу надо домой, да ладится на большой покос. Твой-то отец, — обращается он ко мне, — взялся много поставить сена Амурскому Обществу. Косить будут на китайской стороне — на острове выше Чекатэ. Китайцев надо нанимать на прессы, чтоб Се-фуза шел нанимать. Пароходы приведут баржи и привезут прессы, а Савельичу с машинами да конями уже надо ехать и начинать косить, а там кто на граблях, кто копны возить — работы-то всем хватит! И я туда же, может

быть, соберусь, как со своим покосом управимся; мы-то, литовошники, на неделю раньше начнем покос.

Мы только сейчас почувствовали, что голодны, и из своего мешочка достали по куску лепешки. Дет спохватился, хлопнул себя по колену и заспешил к своей лодке, торопливо вернулся с таким же мешочком, до половины чем-то туго набитым, и, передавая его нам, сокрушается:

— Вот беда-то, совсем было забыл; тут Евстафьевна вам завертыши прислала, а они у меня из ума вон!

Мы, отложив в сторону твердые лепешки, роемся в мешке и наслаждаемся пресными калачами, пряниками и сухими кусками сладкого пирога; жуем и запиваем водой и, быстро насытившись, как-то сами не отдавая себе отчета, передаем оставшееся в мешке деду — отвезти Пашке. Дед смотрит на нас веселыми ласковыми глазами, снова набивает свою трубочку и шепчет:

— Вот это хорошо! Это вы молодцы! Дружка не забыли. Всегда надо так, а Пашка парень хороший, и вам дружок; дурашливый, сам-то еще козленок, а будет парень хороший. Сиротой вырос, а поди ж ты: не пьет, не курит и старших почитает. Вот и бородинских угощал — это хорошо; надо привыкать с людьми-то жить, а будешь волком — ну, и на тебя будут собак травить. А задаваться тут ему нечем: козел не тигра, да и не впервое Пашка козла добывает. Вот и Федор Иванович к нему с лаской, а он человек-то такой — словом не разбрасывается. Вот и глядишь — все будет ладно, и Пашке, попомните мое слово, быть в гвардии. А вы все рыжий, да идол, а они, рыжие-то, самая лучшая масть; конь ли рыжий, или человек рыжий — всегда бойчей, сильней и проворней.

Старик, докуривая свою трубочку, чему-то ласково улыбается, и не знаем мы, нам ли он говорит это, или просто вспоминает свои прошедшие годы, а мы его так же легко

слушаем, как тихий плеск мелкой здесь волны о корму нашей лодки.

— Да! Теперь все по-новому. Жили раньше под камышевой да тесовой крышей, ела семья из одной чашки без клеенок да скатерок, на скобленном березовом или липовом столе, и было все крепко, устойчиво: и семья, и дружба, и дома, и на службе, в походе — дружки-однокорытники, одна чашка и дружба на жизнь . . . Сено косить — машина, хлеб жать — машина, а раньше жали хлеб серпом да горбом: тяжеленько было, но зато и знали цену хлеба, бросать куски собакам или чушкам почиталось за грех, а теперь? . . Норовят есть каждый со своей таралки, каждый ловит кусок пожирней, да побольше, жуют по своим углам. Ну, оно и нет той дружбы и мира, и вот лишь на походах, на промыслах, на рыбалках держится старинушка-дружба . . .

Трубочка деда давно погасла, а он не замечает того, посапывает ею и, по-видимому, не замечает и нашего присутствия, уйдя в далекие свои годы, годы хорошей, здоровой молодости и крепкой дружбы. Мы тоже сидим и почти не замечаем деда, и нам не надо уходить в «далекие годы своей молодости»; мы отдыхаем от тяжелого пути, безучастно наблюдая, как стайки мальков кружатся и щекочут наши ноги, свешенные в воду. Первым очнулся от этой дрёмы дед. Он, как бы проснувшись от сна, обвел взглядом вокруг и, остановив его на нас, по-видимоу сразу вернулся к действительности и, проворно встав, охает и возмущается:

— Ах, ты старый хрыч! Чего же это я тут расселся с вами? Мне-то ехать сколь? Подвернула же вас тут нелегкая! Ох, ты горе! думал до Никанки сегодня добежать и переночевать у Жешки, утром раненько по холодку и до рыбалки, а теперь я куда? Теперь я под кустом где ночуй? Ах, ты грех, вот грех! Оно бы и ничего и под кустом, да вот же говорила старуха — возьми котелок или чайник, так думал: зачем он мне? Ветер хороший, попутный, скорей парохода

добегу, а теперь? Провиянту у меня целый мешок везу, а котелка-то нет! А мне-то что надо? Кружка-другая горячего чая. Ну, да ладно, не велика беда — и водички попьем.

Мы приходим деду на помощь: снабжаем его и котелком, и кружкой, и куском мяса Пашкиного козла, и дед успокаивается, а мы, как опытные и бывалые, советуем ему для сокращения пути и чтобы избежать особо бурного участка реки, плыть нашей протокой и тем выиграть около десятка верст. Дед подумал и согласился, и мы помогаем ему провести в протоку его большую и тяжелую лодку. Дед, садясь в лодку и подымая парус, говорит:

— Пашке-то от вас поклон скажу?

— Ладно! — соглашаемся мы, а дед уже быстро уходит от нас с туго надутым и до самого верха мачты вытянутым парусом . . .

Мы снова на волне, но сейчас каждый взмах наших весел приближает нас к дому, и уже нет перед нами никаких преград, и мы уже мечтаем о доме.

— Приеду — сразу крынку молока с хлебом, — предвкушает Оська.

— А я? Крынку простокваши с черными сухарями и сахаром!

— Ишь ты! С сухарями-то и с сахаром — и я не дурак . . .

14

ГРОЗА

Ночью, днем воздух без движения. Ночи — темные, жаркие, душные. Дни — безоблачные, знойные, сухие. Ни ночью, ни днем — ни ветерка, ни прохлады: зной и духота круглые сутки. Какая-то тревожная, непонятная тишина.

Деревья стоят с обвисшей, вялой листвой. Далекие сопки неясно рисуются в пелене тумана или дыма. Все живое притихло, скрылось, попряталось, и даже на широких просторах реки не видно жизни.

На галечном плёсе, что опоясывает небольшой высокий остров и уходит от него на целую версту к черным каменистым обрывам подошедших к реке гор, стоит одинокая белая палатка.

Устройство палатки, тагана над костром и разбросанные в беспорядке кое-какие вещи — все говорило о том, что стан этот здесь недавний и временный.

Начало дня — а воздух и галька плёса накалены и дышат зноем.

В полдень к палатке пришла лодка — это рыбаки из станицы. Они стали здесь на день-два половить рыбки, осетриков к предстоящему празднику, прибытию краевой святыни — иконы Албазинской Божией Матери.

Идет Чудотворная от хутора к хутору, от станицы к станице на руках народа, и далеко разносится песнопение: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Поют два хора — мужской и женский. Придет народу много, и всех надо принять, накормить и дать отдых. Все работы оставлены; и стар и млад спешат далеко за околицы встречать чтимую Святыню, устилая ей путь душистыми свежими травами. «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

***

За обедом все ели мало и вяло, а отпивались чаем. В палатке нестерпимая жара и духота, хотя полы ее и подняты.

После обеда, рыбаки, спасаясь от жары, вытащили на плёс лодку и, перевернув ее на борт и днищем к солнцу, укрепили веслами и образовали навес с узкой полосой тени, в сомнительной прохладе которой все и укрылись.

Ни сон ни отдых, а тяжелая расслабляющая дрёма . . .

В природе что-то происходит. Яркое и немилосердное до того солнце стало терять свою яркость. Дым, что застилал далекие сопки, растекаясь на востоке, заливает горизонт, даль реки и противоположный берег. День тускнеет, а зной и ощущение тяжелой истомы не проходит.

С того берега, пересекая реку, летит ворона. Она летит низко над водой, медленно и тяжело машет крыльями и направляется к горам, но скоро возвращается обратно и опускается на гальку у самого обреза воды, застыв в неподвижной позе с опущенными крыльями и разинутым клювом.

Вот, пересекая наискось плёс, пронесся маленький воздушный смерч, метнулся вправо-влево, как бы испугавшись водной шири реки, и, подняв около берега синюю мелкую рябь, рассыпался и исчез.

Жарко . . . душно . . .

Се-фуза вылез из-под лодки и, прищурив и прикрыв ладонью глаза, смотрит на солнце, на горы и на надвигающуюся на нас мглу и, придя к какому-то решению, начинает укреплять палатку, основательно и глубоко загоняя топором колья, надежно перевязывает ее растяжки и дает им небольшую слабину.

Мы тоже все вылезли, и каждый находит себе работу, готовясь к шторму: дед Колотушкин, опустив полы палатки, покрякивая, работает лопатой — присыпает полы галькой и окапывает палатку канавкой; дядя Григорий переносит тяжелые каменные плиты, что были заготовлены для новых запасных якорей, и ими подваливает, укрепляет некоторые колья; я торопливо собираю и стаскиваю в палатку все, что было разбросано вокруг.

Се-фуза собрал в палатке все металлические вещи: все ложки и поварежки, топоры, пилу, лопату и даже наши поясные охотничьи ножи, и все это уносит далеко от палатки, складывает в кучу и закрывает куском старого брезента.

Общими усилиями мы спускаем на воду лодку, переводим ее к сваленным вещам и, вновь вытащив, опрокидываем дном вверх и накрываем ею сложенное.

Дядя Григорий принес свою винтовку, завернул в одеяло и тоже сунул под лодку.

Солнце исчезло, как бы растаяло во мгле, плотней и ближе подступившей к нам. Наступили странные сумерки — ни утро, ни вечер.

Где-то далеко и глухо ворчит гром — и снова мертвая тишина . . .

Се-фуза, устраивая и прибирая внесенные в палатку вещи, вздыхает, по-видимому отвечая на свои тревожные мысли. Дед Колотушкин понимает причину этих вздохов и, сам переживая тревогу, успокоительно шепчет:

— Ишь ты, да кто же ее знал? Надолго ли стали тут? . . а оно вишь как! . . Ну, да Бог не без милости . . . А ты, — об-

ращается он ко мне, — полезай в палатку да спи! Нечего тебе тут смотреть, укройся с головой и спи. Это ничего, что маненечко жарко, потерпишь.

Я не испытываю острого страха перед надвигающейся грозой, хотя знаю, что наша палатка на такой случай поставлена неудачно и даже недопустимо опрометчиво: одна высокая точка на широком ровном плёсе — никто так табора не устраивает! Но знаю также, что это случилось из-за торопливости, ставили на короткий срок и могли бы уже уехать домой — только вечером нужно еще снять две небольшие снасти; а теперь гроза нас связала, и нужно ее переждать. Не страх, а какая-то тяжесть ожидания чего-то, что может быть или не быть . . . Наступившие несвоевременные сумерки, странная неподвижность воздуха, непонятная тишина, озабоченность старших гнетут меня.

Из моего угла не видно, что происходит там — вокруг нашей палатки и острова, и я не любопытствую, но слежу за настроением и выражением лиц старших.

Дядя Григорий лежит около меня, лежит на спине, закинув руки за голову; может быть, он старается уловить звуки надвигающейся грозы, или его также тревожат мысли о неудачной нашей стоянке. Дед Колотушкин сидит у противоположной стены и что-то шарит и ищет вокруг себя — наверное кисет или трубку. Се-фуза долго что-то рылся в своем берестяном коробе, достал три-четыре огарка молитвенных китайских свечей, зажег их и воткнул в песок у входа, а сам сидит в своей любимой позе — на корточках. Полотнища входа в палатку до половины зашнурованы, в свободную же часть Се-фуза выглядывает и неодобрительно покачивает головой.

Внезапный сильный порыв ветра прервал мои наблюдения и потряс палатку так, что, казалось, мгновение — и она будет сорвана или раздавлена в лепешку; но, своевременно укрепленная, она устояла. Се-фуза торопливо завязывает

полотнища входа, а нижний край их придавливает и держит ногой.

Короткие, тихие волны ветерка временами мягко давят на палатку, и, ослабленная на растяжках, она полощет. В палатке становится еще сумрачнее — нашла ли туча, или еще усилилась мгла? . .

Прошел десяток минут нашего заточения, и Се-фузе не терпится; он, убрав ногу, приподнимает полотнища входа, намереваясь выглянуть, но не успел он высунуть голову, как палатка с каким-то тихим звуком наполнилась нестерпимо ярким голубовато-зеленым светом, и в тот же момент палатку и, казалось, всю вселенную потряс страшный удар-взрыв, но не гром, а именно оглушительный резкий удар. Удар такой мощный, что создалось впечатление, будто земля ушла из-под меня, и что я какое-то время — миг, минуту — не жил.

Я не помню, как и когда я сел и сколько прошло времени, пока я начал сознавать. Глаза после ослепительного света еще плохо видят. В ушах шум и звон, и у меня мелькает первая мысль: «Это нас убило!» Но почему так легко глубоко и сладко дышится? . . . А, вот . . . вижу! Дядя Григорий тоже сидит. Он опирается на руку, а другой прикрыл глаза. Вон в жиденьком тумане и дед Колотушкин: он торопливо и часто крестится. Вот ясно вижу Се-фузу: с молитвенно сложенными и прижатыми ко лбу руками он лежит ниц. В ушах шум и звон, и я не слышу ни говора, ни других звуков. В голове не то тупость, не то тяжесть . . .

Но вот и шум и звон в ушах спадает, и я, глядя на деда Колотушкина и на его широко и так смешно разеваемый рот, начинаю различать как бы издалека доходящий голос:

— Молнией пахнет; близко ударила!

Снова ждем страшного удара. Шум в ушах слабеет, и я уже отчетливо слышу каждый шорох и шум набегающей на берег волны.

Вот раз-другой что-то резко щелкнуло по полотнищу палатки, потом зашумел частый мелкий дождик и внезапно прекратился, а через минуту пахнуло ветром, и полил сильный, шумный, отрадный ливень с ветром и раскатами грома проходящей грозы. Палатка намокла, натянулась и стойко сопротивляется налетающим и мятущимся порывам дождевого шторма . . .

Дед Колотушкин медленно крестится большим размашистым крестом и весело и по-прежнему громко кричи нам:

— Проходит! Ну, пронесла Царица Небесная!

Шум дождя по палатке стихает, и слышно как ливень уходит дальше — туда, к горам . . .

Через минуту-другую скользнул по палатке яркий луч солнца и быстро погас. Снова зашумел мелкий дождик, но вот палатка озарилась ярким солнцем, и дождик, словно поняв свою неуместность, медленно и скромно затих.

Се-фуза торопливо развязывает полотнища входа, и мы один за другим выбираемся наружу. Тихий влажный ветерок веет нам в лицо, сладко и легко дышится чистым, чем-то напоенным воздухом.

Грозная темная туча уходит к горам, седые хвосты тучевых смерчей, низко повиснув над землей, клубясь, тянутся за ней; отсталые мелкие тучи спешат вслед, нагоняют и вновь сливаются в одну, сгущая и усиливая и без того жуткую темную громаду, накрывшую горы, а над нами — солнце! Солнце, так еще недавно томившее нас, сейчас весело и ярко заливает потоками своих лучей и взволнованную шквалом реку, и омытую гальку нашего плёса, нашу палатку и нас. Радостно и легко природе и нам!

Я стою и любуюсь всем этим разнообразием, воздух омыт, и всё стало четким и ярким. Река тихо шумит зеленой некрутой волной и гонит к берегу маленький белый бурун. Плёс еще блестит влажной галькой. Палатка дымится легким испарением, высыхая на солнце.

— Вона! Ишь, где ударила! Ну, ребята, миловал нас Бог, да спасибо и фонарю!

На восклицание деда обращаем свои взгляды к фонарю — к острову — и сразу не можем понять происшедшей там перемены.

Над высоким обрывистым берегом острова, что выдается небольшим мысом в сторону реки, стоял навигационный знак — высокий столб, выкрашенный в белую краску и увенчанный двумя большими красными щитами и красным фонарем. Сейчас этого знака нет, и лишь длинные размочаленные щепы широко разбросаны вокруг жалкого его пенька.

15

ЛОДКА

«Проехал я по Амуру больше тысячи верст, видел миллионы пейзажей... Право, столько видел богатства и столько получил наслаждений, что и помереть теперь не страшно.

А. Чехов.

Мечта иметь лодку у меня не нова.

Я давно жду дня, когда у меня будет моя собственная лодка.

Жить на реке, да особенно на большой, и быть без лодки — это равносильно тому, что быть без ног. Ну, куда ты без лодки? .. С лодкой же ты вольная птица! С лодкой тебе доступны и ближние, и дальние районы реки: острова, протоки, заливы, курьи и заводи. С лодкой куда-куда не заберешься, каких таинственных уголков не откроешь, где не побываешь на своей могучей и прекрасной реке, чего не насмотришься! С лодкой, с сетями, с переметами, со снастями — ты стоишь в таких местах, которых без лодки в век бы не увидал.

Осенью — по островам за черемухой, за яблочком, а на дальних берегах разыщешь и грушу, и виноград. Осенью,

когда прихватят первые ранние утренники, все эти наши фрукты вкусны и сладки, и есть из-за чего поработать веслами, а воздух . . . воздух! Не дышишь, а пьешь.

Главное же, осенью, в период перелета и отлета дичи, когда утка табунится в огромные стаи и держится на широких разливах стариц, тучами кружит и переносится через полосы залитого высокими водами лозняка, — попробуй, возьми ее без лодки! Да что и говорить, без лодки на реке и жить нельзя. А что за красота, когда в погожий день при ровном свежем ветерке ты идешь под парусом! Берега быстро уходят за корму, а навстречу тебе бегут новые и новые. За бортом струя поет монотонно, но ты не зевай, назад лучше и не оглядывайся: там крутая зеленая волна с кружевным гребнем гонится за тобой и старается накрыть тебя, и, если сядешь на мель, то и накроет. Вот и не зевай и смотри вепеpед!

У нас и сейчас есть несколько лодок, и они стоят без дела, вытащенные на берег, но это большие рыбацкие лодки. Иногда я со своей ватагой пользуюсь какой-нибудь из них, но они нам не под силу и на быстром течении или против ветра выматывают все силы, и нам часто приходится отказываться от «важных предприятий». Да коли уже не своя, так не своя и есть, и похвастать-то нечем.

Нет, мне надо свою, хорошую, небольшую, ходкую — вот, как у старшего брата Николая; только моя, конечно, будет еще лучше, и я ее тоже сам покрашу, но не голубой с белым, а другой краской. У меня и название ей уже придумано, и я его напишу красиво на корме и на носу, как написано у пароходских шлюпок. Напишу печатными буквами белой краской «КЛОКТУН», и моя лодка будет такая же статная и аккуратная, как эта маленькая утка.

В эту весну есть одно благоприятное обстоятельство, которым надо воспользоваться, и тогда, возможно, моя мечта претворится в жизнь.

На мельнице на высоком берегу Амура, у самого съезда, что был выкопан для выкатки с барж прибывшего большого и тяжелого локомобиля и тяжелых ящиков с какими-то машинами, сейчас у нас что-то вроде верфи. Там идет оживленная работа: пильщики на высоких козлах-«кобылинах» распиливают бревна на душистые доски и складывают их в красивые треугольники для сушки. Здесь китаец-специалист лодочник и наш постоянный плотник Еромоленко строят большую барку-шаланду для перевозки дров. Дальше, в рощице молодых берез, кузница, откуда доносятся удары молота и звон наковални.

Ермоленко, наверное, за пятьдесят (по-нашему, старик); он невысок, тощ лицом и фигурой, и его полосатые тиковые штаны, заправленные в солдатские давно не мазаные сапоги, широко болтаются на тощих ногах. Жиденькие светлые волосы, чтобы не лезли на глаза, подхвачены ремешком, за который заткнут длинный плотницкий карандаш. Лицо старика доброе, хотя он всегда чем-то недоволен и постоянно ворчит, что нам, ребятам, хорошо известно. Мы его ни чуточки не боимся; только нельзя у него брать топор, вертеть уровень и лазить на штабеля досок, а к его вздохам и жалобам мы привыкли и их не замечаем. Если его о чем попросить, то он сначала раскудахтается, но это ничего: потом все равно сделает, о чем его просили, это он лишь покуражится.

Ермоленко лодок делать не умеет, но я надеюсь, что здесь поможет китаец, да и я тоже буду помогать, я не раз видел, как делают лодки, и знаю как; вот только я не могу так прямо пилить, как пилит Ермоленко, да он мне не даст свой острый топор, а то бы я . . .

Старика нужно уговорить. Сначала он заартачится и начнет кипятиться и говорить что его сживают со света, и что он не двужильный, чтобы за всех работать, но, если меня поддержит кто-нибудь из «больших», то он потом сдастся

и, хотя будет ворчать, но сделает. Но у кого искать поддержки? Попросить разве кузнеца? Кузнец не старик, но ругательник — не приведи Бог! Кузнецы — они все, как черти: чумазые и ругательники, и Еромоленко говорит, что нашего кузнеца черти заставят лизать раскаленное железо, во-первых, как кузнеца, а во-вторых, как ругательника и пьяницу. Кузнец когда кует, то лучше и не подходи, а то так и грозит запустить молотком — злющий! Но когда отдыхает и сидит в тени за кузницей, то его не переслушаешь — любит поговорить и порассказать, а у него есть что: он служил военную во флоте матросом и плавал по морю и любит похвастать; его за то прозвали «флотилия», это так к нему и прилипло, и он не обижается, а даже доволен.

Кузнец, как матрос, тоже любит реку, и он поймет, как мне необходима лодка. Его только надо уговорить.

Я почти каждый день хожу на мельницу или приезжаю верхом. Это недалеко, всего три версты берегом или немного больше, если надо на брод через речку. Я целыми днями торчу около плотников, или мы с молодым китайцем-весовщиком Егоркой ловим на удочку крупных пескарей, здесь же на берегу чистим их и, нанизав по десятку на тонкую таловую палочку, опускаем раз-другой в кипящий рассол и вывешиваем сушить — заготовляем вкусные соленые сухарики, которые все любят.

Сегодня я пришел на мельницу с утра и на работе у шаланды застал лишь одного Ермоленко, китайца почему-то нет. Старик возился с тяжелыми дубовыми кокоринами и, как обычно, что-то ворчал себе под нос или разговаривал сам с собою. Чтобы установить на место кокорину, ее временно нужно пришить парой больших гвоздей к днищу будущей шаланды. Одному это сделать трудно, надо чтобы кто-то придержал ее в нужном положении. Без всякой задней мысли я пришел на помощь старику, держу эту тяжелую рогулину так, как мне командует Ермоленко, а он быст-

ро, сильными ударами обуха своего топора прихватывает ее гвоздями. Потом он тонкой центровкой сверлит через нее в днище дыры, я лезу под днище и просовываю в них болты, а старик накручивает гайки и затягивает их ключом. Дело идет, и Ермоленко доволен моей помощью. Работа тяжелая, и мы после установки каждой кокорины отдыхаем. Старик не ворчит, а что-то обдумывает по ходу своей работы.

Я люблю быть около мастеровых. Люблю смотреть на их спорую работу. Смотреть, как красиво вьется из-под рубанка душистая тонкая стружка, как Ермоленко, что-то обдумав, мерит складным деревянным аршином, отмечает на доске или бруске своим карандашом, а потом смело пилит, и приложенный к месту кусок — как тут и был. Сильными точными ударами молотка загоняет гвозди, или острым топором что-то подтешет, и все ложится к месту без щелей и перекосов. Пильщики вот тоже: один стоит высоко на «кобылинах» на распиливаемом бревне, а другой внизу, засыпанный опилками, и своей большой тяжелой пилой «разгоняют» бревно на ровные доски. Кузнец «Флотилия» ровно и спокойно качает коромысло большого стонущего меха, раздувает жаркое пламя в горне, а потом хватает длинными клещами раскаленное добела железо и на звенящей наковальне крутит и бьет его с остервенением, разбрызгивая фонтаны ярких искр — и тут уж к нему не сунься! О столяре Михайле Литовченко и говорить нечего: около него можно просидеть целый день. Вот он сделал скрипку Василию Гурову, и, когда высохнет клей, он ее так отполирует, что твое зеркало.

— Ну, шабаш! Полдничать будем, — объявляет Еромленко. — Ты бери котел да вари чай, а я тут пока один управлюсь.

Чай варить меня ни учить, ни просить не надо: люблю костер и чай с легким привкусом дыма и люблю наш стол

на земле в тени старой березы, где место нами так хорошо утрамбовано и очищено от разных корешков и колючек.

На берегу под высоким яром наш постоянный таган и кострище; там мы и пильщики варим свой чай, а «Флотилия» вечно стреляет по чужим котлам: ему лень варить и скучно одному пить чай в кузнице, так он то у нас, то у пильщиков. Жаркое пламя уже лижет закоптелые, а сейчас еще мокрые, бока нашего большого жестяного котла, а я — купаться: нырок-другой, и готов. Здесь купаться не всякий рискнет; сильная отбойная струя быстро крутит и несет от крутого скоса галечного берега, и если не умеешь плавать, то здесь и не суйся.

Ермоленко пришел на берег, осторожно присел, вымыл руки и сполоснул лицо; посидел, невольно любуясь сверкающей гладью реки, вздохнул, поднялся и направился к столу под березу. Я на крепком сучке, изгибаясь от тяжести и неудобства, тащу за ним все еще бурлящий котел. Ермоленко засыпает хорошую горсть наструганного черного чая, и через минуту-две чай — как смола.

Пока котел горяч, как огонь, и полон, из него не нальешь чая, и я своей кружкой наливаю большую деревянную чашку Ермоленко и черпаю для себя, и моя кружка раскалилась так, что ее трудно держать в руках. Ермоленко, прихлебывая чай-огонь, крякает от удовольствия и хвалит:

— Вот это чай, так чай!

— Ермоленко!

— Что тебе?

— Сделай мне лодку.

Ермоленко, приготовившись отхлебнуть чая, ставит чашку и пристально смотрит на меня. Я не задерживаю своего взгляда на нем, смиренно сижу и молчу.

— Лодку?

— Да без лодки я куда?

— Да ты што пристал ко мне? Тебе лодку, другому лодку, тут этот китаец сбежал, письмо получил — мать умерла, ему в Чифу надо, а я что вам — двужильный? С этой лоханью не управлюсь, а он лодку! И что, прости Господи, далось вам это плавать? Вот это ты опять здесь купался? Волос-то мокрый. К реке тут подойти страшно, а им лишь бы плавать . . . Боюсь я воды. По нашим-то рассейским местам какие речки? Перешагнуть можно, а тут . . . Вспомню, так аж сейчас страх берет. Век по большой воде не плавал, а как приехал на Амур — сюда к вам на работу ехать; подвода-то за Зеей на постоялом, с Максимом сюда ехал-то. У перевоза пароход, что ли, сломался, и ждать, говорят, может, до вечера, а Максим наказал с утра быть . . . А тут гололобые татары-перевозчики с лодкой — лодка большая — говорят:

«Давай, земляк, ходим! Один мах та сторона будешь».

Что делать? Как бы и тихо — ветру нет . . . Ну, сбросили в лодку барахлишко, ящик с инструментами поставили, и мы с Лизаветой сели на ящик. Поехали . . . и понесло нас, и у меня в глазах все поплыло! Лизавета в слезы, хнычет, и меня кобенит, а тут и сама середина, и ветру нет, а лодку то поднимет, то повалит . . . Ну, я и с ящика съехал и на дне, в воде сижу, а эти нехристи хохочут — им хоть бы что!

«Э, земляк, чево пугался, это Зея дышит. Ты сюда Амур приехал — привыкай; здесь скрозь большой речка. Осень с нами Миколаевск рыбалка пойдем, хорошо заработаешь, Амур посмотришь — берега нету, одна вода, волна гуляй, а рыба идет, ловить надо, потом вода бояться не будешь».

Не до рыбалки мне. Снесло нас чуть не на версту ниже постоялого, и лишь лодка к берегу — я на землю, и пошли к постоялому: она на лодке, а я пешком и дал себе зарок; а ты вот с лодкой . . .

Подошел «Флотилия» и, черпая из котла своей кружкой и балагуря, обращается к нам:

— А что, господа хорошие, чайком угощаете? Ну, так гостем буду, — и взглянув на Ермоленко, спрашивает: — Ты што, богатырь российский, надулся как мышь? Может, с похмелья? Ты вот напрасно водку не пьешь; с водкой жить веселее. Вот бы тебя во флот!

— Отвяжись ты со своим флотом и водкой, и чего мелешь, непутева голова? Тебя не доставало. Тут этот привязался с лодкой, а что я вам, разорвись? Китаец убежал, а я . . .

— Китайцу, брат, нельзя; ты знаешь, мать у них всё! Отец умри, ну, туда-сюда, глядишь, и не поедет; ну, там деньги на похороны пошлет, письмо напишет . . . А мать . . . тут тебе сразу стоп машина! Где б ни был, сразу домой, и на месяц, а то и больше. Волос не стрижет, не бреется, повяжется белыми тряпками, наденет белые обутки, распустит свои рукава и ходит, как очумелый. Ничего не делает — не работает, не торгует: на мертвом якоре.

Ермоленко и я внимательно прослушали повествование «Флотилии», без всякого сомнения в правдивости его слов: он тут не куражился, не хвастался, и его слова были проникнуты сочувствием и одобрением китайца.

— Ты, Ермоленко, не справишься один с этой работой. Гулять ты не любишь, а что тебе сидеть без дела? Ну, и сделай парню лодку. Ты вот воды боишься, а он на воде растет.

Такое содействие со стороны кузнеца для меня было полной неожиданностью, пожалуй даже больше, чем для Ермоленко, но я даже не думал его благодарить, так как был захвачен врасплох и знал только, что, несмотря на всю воркотню и охи и жалобы, старику не устоять. «Флотилия» же, отмахнувшись рукой, ушел в свою кузницу.

Закончив работу, мы собираем инструменты, и я помогаю старику все снести в пакгауз. Ермоленко уже давно на

работе успокоился, хотя и не перестает время от времени вздыхать, а, направляясь по домам, по дороге к перевозу через речку, наказывает мне:

— Скажешь отцу, что китаец, мол, сбежал домой, в свое Чифу — мать умерла. А мне одному не управиться, так пусть дает человека. Да где его сразу найдешь? Петруню, что ли, может даст; невелик барин, что столяр. Вместо рубаночка, пусть и топором поработает, а без человека работа стала. Ну, там спросишь отца, как он. Скажет — ну, так и быть, смастерю тебе лодку, как умею. Лодки на берегу лежат, а ему свою. Утром пойдешь, попроси у матери две-три хороших головки луку; люблю это я лук с солью . . . Картошку принесешь — так тоже сварим, а про человека не забудь!

Дома, вечером за ужином, вопрос о постройке лодки решился очень просто и легко. На мой доклад отцу, что китаец сбежал хоронить мать, что он теперь повяжется белыми тряпками и делать ничего не будет, а будет ходить, как очумелый, что Ермоленко один вытянул все жилы и что надо человека или Петруню, а то работа станет, отец, помолчав, сказал:

— Вымотался старик. У Петруни своя срочная работа, да они и не уживутся на одной работе . . . А человека тут не купишь, надо искать; будет случай — возьмем . . . Амур-то пока небогат людьми, и не будь китайцев, совсем была бы беда — работай один. Скажешь завтра старику — пусть день-два отдохнет, а там, пока человека нет, займется мелкой работой: весла, сходни для баркаса делает.

— А он говорит, что если ты ничего, то он мне лодку сделает.

— Лодку? А што тебе, мало лодок? Сколь дома на берегу — лодка, две?

— Да те большие.

— Ох, эти лодки! Плавала я с ребятами на остров Марьины коренья [22] собирать, так ребята на гребях все руки повытянули; не лодки, а одна надсада, еще с этими лодками грыжу наживут, — неожиданно пришла поддержка со стороны мамы.

— Николай на своей лодке уехал на Голый Яр? Ну, тогда уже ладно — будь с лодкой. Скажешь старику — пусть делает. Да делайте, чтобы была лодка, как лодка, а не корыто. Делать надо не меньше шести аршин, а как? Попроси Виноградова: он что-то в этом деле смыслит, потаскался по сибирским рекам на своем веку, насмотрелся, так, может, что и путное посоветует.

Конторщик Виноградов — старик он или не старик? Ничего не поймешь! Морщинист, как печеная картошка, ходит в низеньких, мягких опойковых сапожках, сапожки свои смазывает касторкой; как будто и старик, а посмотри, как он ходит! Не угонишься. Зубов нет, только три. Это у него в тайге цынга отняла зубы. А какие он делает стрелки! Только эти стрелки надо запускать не из лучка, а с гладенькой дощечки с тоненьким ремешком; летят же они так, что скрываются из глаз. Ест Виноградов лишь вареное мясо или цыпленка: жевать-то нечем . . .

Он все вспоминает тайгу и хочет туда ехать умирать. Где только он не был! Все искал ключики да россыпи; он находил, а другие забирали, а у него лишь один чемоданчик да постель. В чемоданчике у него есть толстая клеенчатая тетрадь, и он в ней иногда что-то пишет, а потом снова прячет. В тетради у него длинная полоса бумаги гармошкой, а на ней нарисованы разные реки и речки и ключики — это, где он был; красные, синие, желтые кружки, квадратики, полоски — это все он знает. Вот он осенью поедет в город; там двое судятся: это которые забрали то, что он нашел, и Виноградов говорит: «Ну, теперь они у меня запляшут!»

---

[22] Марьины коренья — пионы.

На мое обращение о содействии в постройке лодки Виноградов охотно согласился помочь и пообещал прийти на мельницу завтра под вечер, по холодку, а пока, чтобы не терять времени, велел Ермоленко отбирать нужный несучковатый, прямослойный лес и хорошо его прострогать. А лодку обещает построить такую отменную, каких здесь еще и нет.

На другой день утром я с увесистым мешком пришел на мельницу раньше Ермоленко и немало пережил тревожных минут: то мне казалось, что старик будет отдыхать и совсем не придет; то мелькала мысль, что он сам пошел говорить с отцом, займется чем-либо другим и тоже не придет. А уже вся мельница знала, что мы будем строить новую, «мою» лодку, и я боялся, что меня сочтут за болтливого хвастуна, и не находил себе места. Я то шел к строящемуся баркасу и готов был туда сносить инструменты, то пытался отбирать лес, но не знал, какой . . .

— Лодку! Эээй, подай лодкууу! — долетело до моих ушей, и я со всех ног бросился к речке, к лодке-перевозу. Ермоленко сидит на бревне на другом берегу и, увидя меня, перестал вопить, просить перевоза.

Старая, разбитая, наполовину гнилая и с водой на дне лодка служит здесь перевозом. В ней нет ни одной скамейки: все куда-то порастаскали. Вместо весла — железная лопата, и я гоню лодку гребя стоя, так как сесть не на что. Да я бы и не сел: что я — баба?

Работая лопатой взамен весла, я еще издали кричу Ермоленко:

— Начинай лодку строить, лес отбирай, Виноградов придет, а ты время не теряй — строгай . . . Ну, садись!

Ермоленко, влезая и с опаской устраиваясь на носу лодки, так как дальше вода, а он бережет свои сапоги, бормочет:

— Ну, намолол с три короба, а не поймешь, что. Да ты сядь и не качай, ради Христа, лодку: ведь бултыхнемся! Те-

бе-то ладно, ты, может, выберешься, а я-то, как топор . . . И чего форсишь? Сядь, тебе говорят!

Мне не до страхов. Какие там страхи, когда надо скорее строить лодку? Я сильнее орудую лопатой, лодка качается с боку на бок, и мой старик, сидя на корточках и ухватившись руками за борта, притих. Речка не широка, и плаванье не длительно, и только лодка ткнулась о берег, Ермоленко проворно и ловко оказался на земле и вновь обрел речь:

— Штоб тебя с твоим перевозом! И кто только тебя звал, оглашенного? Вот не буду тебе делать лодку, так узнаешь! Егорка перевозит, как полагается, не качает, а этот всю речку изрыл своей лопатой . . . Ну, говори, что отец наказывал.

Все, что я еще с лодки кричал старику, было повторено, но уже с дополнениями и новыми подробностями. На мое сообщение, что придет Виноградов, показывать как строить лодку, старик вскипел:

— Штооо? . . Еще этот беззубый таежный пень придет учить? Сам топора держать не умеет, а учить лезет! Вот и стройте сами с ним! Учителей много, а строй Ермоленко.

— Да он только покажет, какую, и уйдет, а мы сами будем строить; он мешать не будет, он лишь скажет, какую.

При содействии пильщиков, почти разобрав целый штабель, отобрали нужный лес, и мы с Ермоленко двуручным рубанком его прострогали.

Под нашей березой сегодня пир. Мой мешок был не пуст, и у нас, помимо обычного закоптелого котла с густым и горячим чаем, много других блюд: картошка, вареная в мундире, три-четыре луковицы, в деревянном черепке крупная серая соль; соленые огурцы, которые из соленых превратились в такие кислые, что Ермоленко не может нахвалиться, и гвоздь всего — кусок соленого свиного сала. Банкет по случаю закладки лодки! Ермоленко в отличном расположении духа, стол радует его глаз, и он даже причесал волосы, перевязал ремешок, а карандаш оставил на верстаке.

— Пойди, зови пильщиков; народ хороший, российский, не чета кузнецу!

Пильщики — народ здоровый, но какой-то тихий, и как бы ко всему присматриваются, прислушиваются. Тот, что всегда пилит нижним, старше того, который идет верхним, у него и борода длиннее, и он шире и здоровее молодого. Он всегда ведет разговор, когда ему заказывают, какой требуется лес, он же всегда точит свою большую и тяжелую пилу, точит внимательно и не торопясь, пробует пальцем и снова точит.

Молодой тоже неразговорчив, но в его глазах иногда можно уловить смешок, и он тоже, хотя и с опаской, купается.

Пильщики народ бывалый и пришли со своими чашками. За столом они сидят степенно, но их не нужно приглашать за каждой ложкой: они истово и с чувством хрустят кислыми огурцами, берут нарезанные Ермоленкой тонкие ломтики сала; четвертушки луковиц макаются в соль и сочно и звучно разжевываются на сильных белых зубах. Ермоленко — радушный хозяин — занимает гостей немногословным разговором, подвигая им то огурцы, то сало или большие ломти хлеба.

Подошел «Флотилия» и выпучил глаза . . . сдвинул на затылок прожженную во всех местах свою бескозырку и, подбоченясь рукой со своей кружкой, удивленно изрек:

— Вот это здорово! . . Гостей собрали, а меня? . . Забыли? Ну-ка кто, дай место!

Я, помня услугу кузнеца, охотно и торопливо уступаю ему свое место, а кузнец, садясь, удерживает меня за руку:

— Сиди, и тебе места хватит, — и, глядя на стол, вздыхает. — Эк, ведь какое добро пропадает! Да под такую закусь не грех и выпить! Ну, не знал я, а то бы непременно запасся хоть полбутылочкой.

Ни одного звука не произнес весь стол на речь кузнеца,

чем, по-видимому, его немного задели, и он уже как-то с насмешкой и задором обращается к пильщикам:

— Что, вятские, набили мошну амурскими целковиками? Почем с реза-то берете? — и, обращаясь ко мне, подмигивает и кивает головой в сторону пильщиков. — Вот, брат, вятский народ — хватский: семеро одного не боятся! . . . Мастера же на все руки: зиму дома кто что мастерит, а на лето вишь куда закатились — на Амур с пилой! Ты дома-то что мастеришь — обращается он к молодому.

— Краснодеревец я, резчик . . .

— А! . . Видывал я вашу работу; что скажешь — мастера, так мастера! Недаром вашу губернию прозвали «Вторая Англия». Мастера!

Молодой смеется глазами, а старик, слыша похвалу мастерству своей губернии, уже не так холодно смотрит на кузнеца. «Флотилия», откусив огурца и перекосив лицо, крякнул и обращается к главе стола:

— Эх, Ермоленко, Ермоленко, едят тя мухи! Жить ты не умеешь! Ведь какую закусь впустую пустил! Хоть беги за бутылочкой! И что бы тебе, старому чёрту, сказать! И мужиков бы угостили, и прошлись бы по лампадке, а потом соснули бы, и был бы у нас вроде праздник, а ты . . .

Закончив стол, гости поблагодарили и разошлись отдыхать. Ермоленко, в ожидании прихода и указаний Виноградова, поворчав вслед кузнецу, устроился в тени березы и сладко засвистал носом.

Я, мучаясь новыми сомнениями — придет, не придет Виноградов? — не нахожу себе места и брожу то около пильщиков, то иду к кузнецу, а день бесконечно долог . . .

Я уже разогрел остатки чая, и мы собрались пить вечерний, как над крутым берегом за нашей столовой появился огромный парус, вершина мачты и красный, полощущий по ветру хвост дракона-флюгера. Мы поспешили к берегу. Огромный китайский бусс, развернувшись против течения, ста-

новится на якорь против нашей гавани — устья речки. Заскрипели блоки, и парус покатился вниз. Босоногая команда корабля работает бесшумно и быстро, и тяжелое судно замерло . . .

Бусс большой, с высокой толстой мачтой, с тяжелым огромным парусом, от которого на корму к рулевому тянется целая паутина тонких веревок, собранных в один узел в массивном медном блестящем кольце над головой рулевого. На вершине мачты, на тонком железном стержне — вращающийся флюгер-дракон. Дракон в причудливой сквозной резьбе; два тонких уса его с красными кисточками на концах торчат вперед, алый хвост полощет по ветру. Дракон расписан яркими красками. На корме бусса каюта с плоской крышей, которая служит мостиком для рулевого, а над ним тент, крытый цыновкой. Каюта с невысокими длинными окнами в ажурном переплете рам. Окна заклеены промасленной бумагой.

Мы с Ермоленкой, свесив ноги, сидим на обрыве высокого берега и любуемся этим тяжелым, большим, но складным и по-своему красивым судном, любуемся расторопной работой его команды, какой-то общей слаженностью — и не заметили, как к нам подошел Виноградов.

— Казенную пшеницу привезли молоть. Чиновник у атамана за разрешением. Сейчас таможенники придут проверять, нет ли контрабанды. Три тысячи пудов, и ни одного мешка! Все зерно в трюмах и в насыпку! Умеют косачи строить и ходить на этих судах. А народ-то, как на подбор — молодой, здоровый, а сложены — хоть в цирк! Это настоящие водники и дело свое знают, любят, и вот, Ермоленко, воды они не боятся. Иные по своим местам на воде родятся и на воде живут. Сюда это все народ пришлый с китайских больших рек, есть среди них и моряки, и народ все бывалый. Пришли за хорошим заработком, и ребята — гвозди!

Долго Виноградов объяснял Ермоленке, как надо вычертить днище лодки — где какие размеры взять, и как обогнуть линию. Старик не понимал, вздыхал и хмурился, а я вновь переживал тревогу, боясь чтобы они не поссорились и не оставили начатое дело. Но, когда Виноградов палочкой стал чертить на песке и в нужных местах проставлять вершки и четверти, то мой дед сразу все уразумел, но не упустил случая поворчать:

— Вот давно бы так, а то мелешь, мелешь; где всего упомнишь? Ты лучше запиши мне на бумажку.

Подошел «Флотилия» и тоже стал давать свои советы и наставления, и в довершение всего подошел весовщик Егорка с капитаном бусса — высоким, лет сорока китайцем. Лицо капитана покрыто густым бронзовым загаром. Чуть раскосые глаза спокойны. В приветливой улыбке из-под черных жидких усов, по-китайски висящих по углам рта вниз, поблескивают широкие сильные зубы. Он в обычном для китайца костюме — в широких синих штанах и того же материала куртке-курме. На высоко и гладко подбритой голове — шелковая шапочка с красным, хитро сплетенным из шнура помпоном-шишечкой; в тонкой косе вплетен черный шнур с длинными кистями. Капитан в белых матерчатых носках и матерчатых туфлях на толстой двойной подошве. Как знак его положения, на нем широкий шелковый красный пояс. Весь вид капитана и манера держаться производят впечатление человека, уверенного в себе и знающего себе цену.

Егорка что-то быстро говорит и, по-видимому, объясняет капитану причину нашего здесь сборища, и тот, улыбаясь, взглядывает на меня и заговаривает с Егоркой. Егорка внимательно слушает капитана, слушает с каким-то почтением, лишь временами вставляя свои тихие «Ши!» и «Мимбай!» [23] Выслушав, он обращается к нам:

---

[23] Ши — да, так; мимбай — понимаю.

— Ево . . . шибко мастер! Ево лодка шибко понимай! Ево хочу мало-мало помогай. Ево говори — доска хорошо строгай надо; два доска положи — дырка нету. Дырка нету — конопати не надо, замазка положи. Ево моя учи замазка делай. Я делай. Китайский замазка положи — вода ходи не могу! Шибко хорошо будет! Ходи ево бусса посмотри — вода нету, мешок не надо, пшеница так положи — так таскай. Завтра его моя учи замазка делай.

Капитан, заметив на песке чертеж Виноградова, присел около него и внимательно рассматривает . . . палочкой чертит — меняет несколько форму днища и что-то говорит Егорке, а тот торопливо ищет и подает обрезок гладко отстроганной доски и Ермоленкин карандаш. Капитан быстро и уверенно чертит чертеж лодки и пытается через Егорку объяснить его Виноградову, но Егорка выдохся, его словаря не хватает, и он лишь толмачит свое одно и то же:

— Ево шибко мастер! Шибко понимай! Ево учи помогай!

Но Виноградов, по-видимому, и без Егорки понимает капитана и, буркнув в сторону Егорки: «Погоди, не лезь!» — следит за чертежом и, когда все необходимые детали лодки вычерчены, одобрительно произносит:

— Хо! Тин хо! [24] — и Ермоленке: — Ну, Ермоленко, не подкачай! Сделаешь эту лодку — будешь мастером! Но поихнему, брат, все надо начинать задом наперед: прежде борта, а потом уже днище. Вот и выходит, что век живи, век учись! А тебе, мореплаватель, повезло: лодка у тебя будет отменная!

Ермоленко давно сидит в стороне на досках, сидит какой-то грустный, усталый; наверное у него от всех этих советов, требований и указаний заболела голова, а я снова в тревоге и не знаю, радоваться ли мне такой общей помощи, или она загубит все мое дело. Вдруг да Ермоленко заартачится или

---

[24] Хо — хорошо; тин-хо — очень хорошо.

заболеет — он и сейчас совсем больной! Так и есть! Мой старик отложил начало постройки на завтра, а тут еще Егорка шепчет мне:

— Ево бусса капитан чушка мяса надо, ево пустой мешка проси один сота — пшеница мельница таскай. Тебе могу один маленький чушка продавай?

Здесь на мельнице у нас большое стадо свиней — мы и не знаем сколько их, но я не знаю как мне поступить. Бежать домой и получить разрешение на продажу? Но это займет много времени, а ответ, по-видимому, нужно дать сейчас . . . Боже, сколько на свете всяких неожиданностей, затруднений и разных заковык! . . На помощь мне приходят «Флотилия» и Виноградов — в один голос высказывают свой совет:

— Дай чушонку; им много мяса не надо. А денег не бери, — говорят они. — Отцу же скажу я сам, — добавляет Виноградов.

Я плохо спал ночь. Меня томили кошмары. Мне снилось: то капитан бусса забрал мою лодку и уплыл; то Ермоленко опрокинулся и утонул в речке; то «Флотилия» ругался и грозил мне молотком . . . Я ночью вскакивал несколько раз от жутких сновидений и опасений проспать, а под утро забылся крепким сном и в самом деле проспал. Проспал и утренний чай, но мне теперь не до чая; схватив кусок хлеба, я бросился бежать на мельницу.

Постройка идет полным ходом; Ермоленко не один: китаец плотник с бусса прислан на помощь старику, и они уже перестрогали заново лес и по сколоченным и установленным лекалам шьют борта, и лодка уже приняла определенный и красивый вид. Работу ведет китаец, Ермоленко уже на втором плане, но старик доволен и чистотой их работы, и той уверенностью, с какой работает специалист лодочник.

И вот через три дня — три томительно долгих дня и три бессонных ночи — я стою перед свежей, чистенькой и кра-

сивой лодкой. У лодки необычная для нашей реки форма: она, действительно, как уточка, и нет ей другого названия, как «Клоктун». Борта ее отлоги и выпуклы, носовая часть несколько широка, но к корме она вся уже и подбористей, корма так же приподнята, как и нос. Внутри ее две глухие перемычки выделили ящик-трюм для наливки воды при перевозке пойманной рыбы, и трюм закрыт чисто отстроганной крышкой. Нос и корма зашиты небольшими палубами: то помещения для вещей. По борту — узкий, но красиво положенный фальшборт. Все чисто, гладко и блестит, а у меня душа поет, — и какие все хорошие: и Ермоленко, и капитан, и «Флотилия», и Виноградов, а главное — папка и мама. Мама шьет из использованных мешков-пудовиков парус, и он со своими клеймами на каждом мешке будет очень красив . . . Моя собственная лодка, и лучше всех!

Егорка, как только у него выдается свободное время, бежит шпаклевать лодку и не дает мне, воображает что только он — мастер, а мне все свое: «Маманди!» [25] Шпаклевка быстро сохнет и твердеет, и я собрался красить, но Егорка со своим капитаном говорят: «Пусин . . . Пуе . . .» [26] Егорка опять:

— Ево шибко мастер. Краска эта года не надо — масло положи, китайский масло. Ходи ево бусс посмотри, само перво . . .

Господи! Опят запятая! Навязался этот Егорка со своим капитаном! Пришел тот же китаец-плотник с бусса, и они с Егоркой, весело тараторя, протравили маслом всю лодку снаружи и внутри, не спрашивая меня, как будто это их лодка . . . Вся строительная комиссия в восторге от постройки, а «Флотилия» объявил, что «это не лодка, а китобойная шхуна».

---

[25] Маманди — обожди.
[26] Пуе, пусин — нет, не надо.

Виноградов и капитан что-то опять ворожат около «китобойной шхуны» и намечают место установки мачты. Мачту можно будет и убирать, и ставит. «Флотилия» преподнес якорь-кошку и уключины и обещал сам приспособить их к веслам, как полагается.

О, Господи, Господи! Три-четыре дня надо ждать, пока масло впитается в древесину и засохнет красивой лаковой поверхностью, чуть окрасив ее в темно-желтый цвет . . .

Накануне спуска «китобойной шхуны» вернулся из своей длительной командировки Оська и, узнав от меня о постройке моей собственной лодки, был ошеломлен, растерян и обижен. Такое событие — и без него! . .

Я его понимаю и утешаю тем, что ведь плавать-то мы будем вместе и, как только спустим «шхуну», поедем вокруг острова и там будем жить на заездке у стариков, будем рыбачить, и я попрошу, чтобы его никуда не посылали, а когда я уеду в город, лодку поставим под навес, и он, Оська, будет ее охранять и, пока я не приеду, никому не давать. Сейчас же надо дать знать Кольке, чтобы он собирался в длительную поездку и, пока что, шел жить к нам сюда на мельницу. Завтра «Флотилия» будет налаживать парус и учить, как им управлять, а как спустим «шхуну», он покажет и на воде, как ходить против ветра. На такой лодке можно! . . Вот так «Клоктун»!

16

В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ

Вот и закончилось учебное плавание! Два или три раза выходили на парусах под командой нашего адмирала — кузнеца «Флотилия». Многое пришлось перенести: сколько обидных намеков, окриков и хлестких словечек по нашему адресу, но зато наш «Клоктун» получил отменную аттестацию!

«Клоктун» стоит в порту — в устье нашей речки, пришвартованный к сплотку бревен, и готов к отплытию в дальнее плавание...

Идем в «кругосветку» — дальний вояж вокруг нашего острова, что широко и далеко раскинулся против станицы. Ближние берега давно исследованы и нам хорошо знакомы, но там, далеко, в Чуприхе, другой берег острова и другие «страны» — для нас тайна и манят своей неизвестностью.

Много мы наслышались от «бывалых людей». Там где-то есть маленький залив, который вскоре же переходит в узкий лог, а дальше разливается в широкое и неглубокое озеро. Ежегодно высокие воды реки через этот лог наливают озеро свежей водой; с ней приходит и свежее рыбное население озера. Высокие крепкие берега узкого лога дают возможность без затраты больших средств и усилий его перего-

раживать. Нехитра дамба — ряд плетней, забитых дерном и глиной, удерживают и воду и рыбу до холодного времени. Когда холода начнут сковывать поверхность озера льдом, добычу можно без риска сохранить: воду медленно спускают через лотки, а рыбу вычерпывают и, заморозив, увозят в домашний запас на зиму или на продажу.

Из года в год лог этот городится то одной, то другой артелью наших станичных стариков. Вот и это лето там «стоит» со своей артелью наш друг и приятель — дед Колотушкин.

Цель и задача нашего плавания: поход на новом парусном судне, знакомство с новыми, нам еще неведомыми местами, ну и, конечно, свидание с дедом, да и вообще надо посмотреть, что они там нагородили . . .

Сколько времени займет наша экспедиция, мы не знаем, но знаем, что «едешь на день, хлеба бери на неделю», а потому запаслись всем! Все продумано, учтено и взвешено. Учтен опыт прошлого, и приняты во внимание повествования о дальних походах.

«Кормовой трюм» — ящик под сиденьем, служащий также капитанским мостиком, принял продукты: картошка, сухой красный стручковый перец, лук и лавровый лист — это для ухи. Полкирпича черного чая, соль, хлеб и кое- что на скорую руку в пути. Приняты меры и для самоснабжения: крючки, лески, небольшая сеть и личное имущество экипажа — в носовом кубрике. Топор (собственный, а не Пашкин), острога трехзубка и легонькая лопата устроены вдоль бортов и не мешают. Есть и бутылка подсолнечного масла для жаренья рыбы. Не забыт и перевязочный материал: у каждого «индивидуальный пакет» — стираная довольно чистая тряпка и березовая пенка. Хирургический инструмент — иголка для заноз, а нож у каждого на поясе.

Мы могли бы уйти в плавание дня два тому назад, но . . . Сколько на свете этих «но»! Разных запятых, точек, вык и

заковык! Вот уж правда говорится: «Человек предполагает, а Бог располагает». Все было готово, и можно бы ехать, но ... тут одного члена нашего экипажа — Оську (ну, и не везет же ему в это лето!) — куда-то послали по срочному делу. Что было с парнем! Чуть не лопнул! Весь исказился, осатанел, нас изругал и потребовал честного слова, что мы без него никуда не поедем, да и здесь плавать не будем, и заставил побожиться. Вот мы и сидим — ждем и второй день живем на мельнице.

По нашим расчетам Оська сегодня вечером должен быть обратно, и можно бы вечером же пуститься в путь, но здесь опять НО!

Сегодня на мельнице кололи кабана, и весовщик Егорка запасся хорошим куском мяса и забрал всю требушину, и будет пир!

В крутом береге вырыта печурка, установлен большой плоский китайский чан, и в нем под тяжелой деревянной крышкой с какими-то кореньями варится печенка, а Егорка и старик свинопас — «Чушка-капитан» — быстро и ловко лепят большие китайские пельмени — «тёза». Куда же тут уедешь?

День угасает, и на западе горит багровая полоса, предсказывая на завтра погожий ветреный день. Река спокойна и, отражая закат, окрасилась в необычные фиолетово-красные тона. С далекого берега острова временами доносится звонкое ржание жеребенка и шум многих сотен конских копыт по галечному плёсу: то табуны лошадей, пасухшихся летом на острове, отстояв жаркие часы дня в прохладных водах реки, двинулись на пастбища. Тихо, хорошо на берегу реки ... временами слабый ветерок приносит нам тихий шум машин мельницы.

Не зов — просьба о перевозе, — а какой-то дикий вопль-визг долетел до нас из сумрака вечера. То вопит Оська и уже сыплет ругательствами по нашему адресу:

— Оглохли, чтоб вас! Сколь мне кричать тут? Колька, слепая курица, подавай лодку-у-у! . .

Оська явился злой, потный, растрепаный, с большим узлом в руках — скатанным войлоком и куском старого брезента, — и на наш вопрос: зачем припер? — огрызается:

— Зачем . . . зачем? . . А спать на чем? А дождь? Олухи несчастные! Не для вас тащил, чтоб он провалился! Все руки оттянул, наверно пять пудов! А вы чего расселись? Собирайтесь и айда, ходу и ходу, чтоб и духу моего здесь не было! Грузись! . .

Широкими глазами смотрит Оська на пельмени:

— Ребята . . . завтра чуть свет, а то Савельич опять меня турнет куда . . . Ребята, мы затемно? . .

После сытного ужина мы на мягком войлоке и под жестким брезентом легли на берегу. Прохладная ночь, крупная галька под боком подняли нас задолго до рассвета. Восток еще не алел, а вся команда уже на ногах.

Река глядит холодно. Жидкие космы ночного тумана тянутся по ее еще темной поверхности. Нас, в одних рубашках, пробирает мелкая дрожь, а вода теплее воздуха и сейчас приятнее, чем ранняя утренняя прохлада.

Но . . . опять но! Нет ветра, и нас уносит течением, и, как ни обидно, приходится браться за весла. Мы долго и усиленно работаем веслами — перебиваем реку — и там, приткнувшись к берегу острова за тополевой рощей, скрытые от чужих глаз, варим чай и ждем ветра.

Алеет восток, четко начинают выступать окружающие нас берега. Туман седой паутинкой уносится куда-то и тает, а ветра нет! . . Вот и солнце быстро поднимается за далеким противоположным берегом, заливая и реку и нас своими яркими и сейчас приятными теплыми лучами, а ветра нет! . .

Мы каждый на своем месте, согласно указаниям адмирала «Флотилия». Парус натянут до отказа. «Клоктун» стоит

на якоре, готовый двинуться в путь, а ветра нет! Мы давно уже посвистываем, вызывая ветер, но на этот раз это испытанное и верное средство что-то нам не помогает! Мы плохо выспались за ночь и, отчаявшись скоро вызвать ветер, начинаем дремать . . .

Безжизненно висевший парус сам тихо перешел на левый борт, скрипнул блоком и потянул брассы. Команда судна встрепенулась, каждый бросился к исполнению своих обязанностей, а с капитанского мостика несется команда: «Пошел якорь!» Якорь выбран, а «Клоктун» ни с места, и даже попятился — понесло течением . . . Вот еще слабый порыв ветерка, и «Клоктун» как бы призадумался, стал, помялся на месте и тихо двинулся вперед. Где-то далеко в берегах тихо отозвалось эхо на торжествующее «ура» экипажа корабля, и плавание началось . . .

Солнце взбирается все выше. Ровный настойчивый ветерок наливает наш парус. «Клоктун», развеяв ночную дрёму, весело бежит вдоль берега. Знакомые берега, выплывая из-за паруса, уходят за корму, за которой с тихим шёпотом гонится невысокая волна. Солнце, воздух, река! Широкая самодовольная улыбка заливает чумазые рожицы лихой команды . . .

Мне с кормы не видно левого берега реки, вдоль которого мы сейчас идем; его от меня скрывает парус, но на носу корабля «вахтенный», и на зычную команду капитана «Вперед смотреть!» следует не менее зычное: «Есть! Вперед смотреть» . . . — «Право руля . . . лево руля . . . так держать . . .»

Ветерок крепчает и команда на парусах — Колька, уперев босые ноги в борт, наматывает брассы на руку.

Вон далеко на том берегу виден наш дом. Оську беспокоит мысль о Савельиче, и он предупреждает нас:

— Смотри, ребята, если будет махать — все равно ничего не видим, мотай и мотай, пусь сам теперь покрутится! . .

— Вперед смотреть!

— Есть, вперед смотреть!

Высоким берегом с крутым галечным мысом встречает остров главное течение реки, колет его на две почти равные части, завернув одну круто на север в обход острова; по ней мы и пришли и сейчас стоим под защитой берега, стоим и озираем речную ширь, по которой предстоит нам дальнейший путь.

Здесь, на широком просторе, еще не сильный низовой ветер, встречая быстрое течение, уже раскачал волну и гонит ее широкими пологими грядами. Валы, набегая на подводные скрытые мели, дробятся, смешиваются и мелкими белыми барашками обозначают опасные места. Много выше нас по реке, под китайским берегом, видны два небольших лесистых острова, и они похожи на два идущих в кильватер грозных судна. Пенистый прибой у их берегов усиливает это впечатление.

Стой не стой, а надо ехать. Оська ворчит себе под нос:

— Насвистели!

Приводим все в порядок: парус зарифлен, вся система управления проверена и выравнена, все лишнее убрано из-под ног, брассы пропущены через специальный блок, укрепленный в корме, вёсла по местам, ни шуток, ни прибауток; подтянули пояса, подкатали, как следует, штаны и пускаемся в путь . . .

Мы не рискуем сразу взять нужное нам направление — против ветра, — и, чтобы привыкнуть к большой волне и еще испытать устойчивость корабля и увериться в ней, идем под пологим углом, чуть не попутным ветром, к китайской стороне. Смелеем и сокращаем угол к ветру. «Клоктун» все больше ложится на подветренный борт, весело и смело переваливается через волну и взбирается на другую, разгоняя небольшой бурун и оставляя быстро уносимый течением след.

Середина реки. Волны бесконечными рядами идут на нас, но они спокойны и своими изумрудными, еще не вскипающими вершинами не угрожают нам.

Экипаж корабля веселеет, теряет несколько обалделую настороженность, переглядывается, как бы говоря: «Видал миндал? Каков наш 'Клоктун'!», и мы еще круче забираем к ветру. Мы зорко следим за всем, но уже нет той глубокой настороженности; больше уверенности в корабле и слаженности в работе экипажа.

Вот недалеко и китайский берег, но нам незачем близко подходить к нему; у нас широкие просторы на реке.

— К повороту готовсь!

Улучив минуту, «Клоктун», послушный рулю, как хорошо выезженная лошадь, пошёл носом на ветер, взметнулся на гребень волны, приостановился на секунду и, глотнув свежего ветра, покатился с волны и лихо и четко закончил поворот.

Оська в каком-то экстазе сорвал с головы свою трепаную, видавшую виды фуражку, одним махом оторвал ей козырек и, нашлепнув ее лихо на затылок, стал совсем, как кузнец «Флотилия». Вот это здорово!

Мне нельзя: я — капитан! На канонерках все офицеры с козырьками.

У Кольки нет фуражка. Колька — как цыган, все лето без шапки, и он чудак. Вы ведь не знаете Кольку? Это у нас слепокурый профессор, близорукий, как крот, а читает днем и ночью — хлебом не корми. Колька и сейчас набрал с собой книжек, маленьких, по десять копеек. Читает, читает, а толком ничего делать не умеет, ни палатку поставить — ничего. А чай сварит — один дым, да еще углей полно. Кольку оставишь на таборе, придешь, у него ничем ничего — урод! Пойдет ловить бабочек, да сослепу и поймать не может, а то найдет муравья да сидит над ним — смотрит, как тот больше себя палку тащит, и Кольке тогда хоть говори,

хоть нет. Утку варил, а кишки не вытащил — прямо досада одна.

Колькин дедушка говорит, что Колька — бродяга. Колька любит бродить, и ему все равно, где. Колька никогда ни от какого похода не откажется; все бы шел да ехал. Когда весной Колька приедет из города, то его дедушка говорит: «Ну вот, еще одним лодырем больше стало». Колька маленький, но сильный и ни комаров, ни дождя, ни жары, ни холода не боится, а на самом лишь штаны да рубаха. Он ничего не боится — ни ведьм, ни чёрта: близорукий... Плавать Колька может, не шибко быстро, но хоть час, как пробка. Колька крохаль-гимназист и учится хорошо. На лето приезжает к дедушке; он — сирота. Мать Кольки умерла, когда он был еще маленьким, а отец куда-то провалился, и никто не знает, куда. Колька сам учитель и зимой учит приготовишек и первоклассников, а на деньги покупает себе книжки, а иногда халву, он совсем не скупой. Он что-то пишет, а нам читать не дает. На Пасху в газете напечатали его стихотворение, и подписано «Н. П-вский». Здорово написал! Писатель, а к леске крючка привязать не умеет, вечно помогай.

Мы на волне уже часа три-четыре, и нас стало укачивать, мы как-то обмякли, и нас клонит ко сну.

— Садок!.. Смотри вниз по берегу! Садок на мысу!.. — весело кричит истосковавшийся по земле «вахтенный».

— Забирай круче против ветра! Держись, ребята! Колька, не зевай! — воспрянул духом наш Оська.

Еще один поворот, и мы, выйдя на створ устья заливчика, под полным парусом лихо влетаем в «гавань». Парус скатился, и «Клоктун» мягко приткнулся к берегу.

Разбойничий свист пронесся по тихому острову, и через минуту в начале тропинки, что сбегает здесь с высокого яра, над чащей орешника показалась голова деда.

Дед смотрит на нас, не понимая нашего появления, по привычке грозит нам рукой, а сам спрашивает:

— Вы откуда? Из дома! Как там — слава Богу? . .

— Слава Богу; да ты иди сюда; гостинец тебе привезли, да смотри, лодка-то какая!

Дед спускается по крутой тропинке и, по-видимому не понимая причины нашего приезда, спрашивает:

— Вы што, сами приехали, или вас послали?

— Сами приехали, под парусом шли, против ветра шли. Смотри, лодка-то какая — таких нигде нет!

— Да уж вижу, вижу, ладная лодка! Это что ж, Ермоленко строил? Поди ж ты, какой мастер стал!

Пока мы выгружаем наш багаж, я торопливо сообщаю деду всю историю постройки лодки. Дед смеется в бороду и бормочет:

— Эк? Ведь всех запутал. Китаец-то, вижу, сильно помог: лодка совсем не нашего вида. Такие лодки, только побольше, видывал я на Сунгари, они для паруса-то хороши, устойчивы, а на веслах шибко не разгонишь. Балует тебя, парень, отец-то, потакает. Сам-то тоже, как помоложе был да делов меньше имел, так и рыбак, и охотник. И стрелок был — приз имел. Ну, а теперь тебя, меньшего, тешит, а вас, может, драть бы надо, да некому. Приехали, так вылезайте — гостями будете. С дороги-то отощали, поди? Уху сварим, и накормлю вас.

Мы передаем деду привезенный «гостинец» — берестяной туясок топленого молока и мешочек с пресными калачами.

Бабушка Спиридоновна это тебе послала, Колька твой принес. Просился с нами, да куда его, мы под парусом. Ревел парень, а бабушка сказала: когда ты приедешь, тогда с тобой пустит, а с нами не пустит. Вот он тут вдругоряд прибегал, узелок принес, там тебе штаны да рубаха чистая, и сказывал, что Гнедуха ожеребилась — жеребчика принесла.

Дед, слушая о своем любимце, самом младшем внучонке Кольке, светлеет лицом. Ему приятна забота домашних и особенно участие в ней его баловня Кольки. Дед совсем веселеет и начинает командовать нами:

— Оська, ты, што ли! Нож-то у тебя есть, так иди к садку, да выбери пару хороших сазанов, или там один небольшой амур есть, так почисть его, да не распусти желчь. Уху сварим, а на завтра к утру у нас холодец будет. Таскайте свое добро к балагану. Я нонче один на таборе-то; мои старики сегодня утром на бату в станицу уехали, в баню; да и теперь пока делов здесь немного, будем дежурить по одному понедельно; всем-то тут что торчать без дела?

Стан рыбаков устроен солидно. В тени крон больших черемух на утоптанной площадке большой балаган, отдельный двухскатный навес с толстой травяной крышей — столовая и кухня, за балаганом глубокая яма с холодной родниковой водой — колодезь и ледник. Везде чисто и порядок. Здесь, под черемухами на высоком берегу, постоянный ветерок с реки отгоняет комаров, шатер из крон спасает от зноя. Спокойно, уютно . . .

После обеда — ухи из амура, этой красивой, сильной и вкусной рыбы наших рек — мы на своем войлоке в тени черемух легли отдохнуть и лишь закрыли глаза, как глубокий спокойный сон поглотил нас . . .

— Эй, сони, вставайте! — будит нас дед. — Ночь-то во что спать будете? Вставай, вставай, мойте морды да будем чаевать, я уже и «сливан» сосливал, и калачи на столе. Ну, подымайся, живо!

На берегу всё долой с себя и с разбегу вниз головой в прозрачные, прохладные воды. Ух! Хорошо! Нырок-другой, быстро переплыть на ту сторону залива и обратно, еще нырок, и надо выходить: вкусный «сливан» и пресные калачи ждут нас.

Оська говорит, что когда он на мысу у садка чистил рыбу, то видел за мысом большой омут, а такие места всегда интересны уловами крупной рыбы. Там и щука, и крупные сомы, лещи и китайский окунь, а это рыба редкая. В таких местах всегда надежный лов касатки-плети, а она лучшая рыба для жаренья. После чая мы с Оськой принялись готовить снасти. К нам под черемуху пришел и дед с большой кожаной сумкой красивой орочонской работы из лосиной шкуры и, пристроившись на низенькой скамеечке тут же около нас, готовится сапожничать.

— Вы што, рыбачить?

— Касаток будем ловить там на омуте.

— Рыба-то ладная, только руки берегите; не дай Бог уколоться, беречься надо! Наградил же ее Бог такими пилами, самая ехидная рыба. Уколешь руку — сразу высосать надо, кровь выдавить; не идет кровь — немного расковыряй и в воду, и дави, чтобы пошла, а как утихнет боль, заклей пенкой. Пенка-то поди у вас есть? Всегда надо пенку при себе держать . . . Крючки я вам свои дам, они хоть и страшны, но крепки. Крючков много не навязывайте — один-два, а леску берите надежную: неровен час, сом хватит. Багорчик надо с собой взять. Лодку поставьте на два якоря, чтобы не крутило вас. Улов там большой, и рыба разная, но ее ни неводом, ни снастью не возьмешь — карчей на дне много. Грузил свинцовых не привязывайте, а наберите подходящих камней в запас и камень на нитке привязывайте: возьмет хорошая рыба, начнет буянить, камень-то и оторвется, и будет легко выводить, да и риску меньше зацепить за карчи. По-хорошему снаряжайтесь!

Дед из своей сумки достал сверток кожи, шило, дратву и кусок вара, аккуратно все разложил около себя и внимательно осмотрел начатую им работу — головки для маленьких ичиг. Подвощив варом дратву, он не спеша, но споро работает шилом, ловко продергивает в проколы щетинки,

вправленные в концы дратвы, со скрипом затягивает ее и ручкой шила затирает шов, присматривается к сделанному, и снова — аккуратный стежок за стежком.

Дед работает руками, а мысли его где-то витают... Он чему-то улыбается, иногда тряхнет головой, как бы в разговоре с кем-то, а лицо его светится мягкой улыбкой.

— «Ты, говорит, дед, мне широких голенищ не шей!» Поди ж ты, какой форсистый! Вот и потрафляй, дед!... Сошью я этому шельмецу ичиги на славу: товар-то какой! Савельич, непутева голова, загубил свои дорогие сапоги и хотел кинуть, ну, я у него их и выпросил, и будут теперь тебе, Колька, не ичиги, а красота!

Колька-то осенью в школу; ну, и надо, чтоб полное обмундирование, как полагается. Бабка шаровары сшила и с моих старых лампас спорола, помыла, перевернула — и лампас хоть куда! Теперь гимнастерку, и чтоб светлые пуговицы! Китаец лавочник обещал привезти. Раньше-то мы гимнастерок не носили: татарка у нас была и медвежья папаха — красиво было, а теперь, если б не лампас, так и не поймешь, казак или солдат; все пошло под одну стать»...

Глаза деда еще больше щурятся, а лицо еще больше озаряется улыбкой, а рука еще крепче приколачивает и затирает положенный стежок!...

17

РАССКАЗ ДЕДА КОЛОТУШКИНА

— Вы что? Думаете, что дед Колотушкин всю жизнь был дед! Нет, брат, и у меня было время, и не всяк бы угнался за Колотушкиным! Был я, как и теперь, невысок, но ладен: ноги-руки на месте, как полагается. Силенка была, мог и побороться, а джигит был еще до выхода на действительную и других строевиков забивал. Поросенком поменьше вас был, а на лучших бегунцов сажали. Подрос — чуб черный, как смола, и в кольцо. Чево фыркаете? Что сейчас бел? Так погодите, и ваш черед придет, и, может быть, не дай Бог, с посошком ходить будете; вот посмотрю, как тогда фыркать будете! Спроси стариков, какой был младший урядник Колотушкин! То-то! Вот бы вам Спиридоновну, так она бы вам фыркнула! . . .

Как шли по первому-то на службу, то, как водится, шли от хутора к хутору, от станицы к станице. Везде гулянка, угощение — своих и нас провожают. Так пришли по дороге и в Константиновку. Станица немалая, народ с достатком, прием хороший — везде песня да беседа, а хозяйки, что есть — на стол: «Угощайтесь, гости дорогие! . . .» Вечером девки вечерку затеяли, зовут. Кто на вечерку, а кто остался за столом. Любил я поплясать и попеть, и мы, с годком-друж-

ком Еремеичем, — на вечерку. Еремеич-то в ту пору уже женатым и семейным был, но любил повеселиться, спеть, сплясать . . .

Гремит гармоника, скрипка да бубен, и идет стукоток от девичьих каблучков и от щегольских сапог парней. Стихнет музыка — полились песни, звенят голоса и подголоски; то парни и девки поют вместе, то порознь — перекликаются. Умели петь, да и песни-то какие — не теперешние пароходские! . .

На вечерке среди девок одна — молодая еще, просто девчонка, но рослая, статная, с тяжелой рыжей косой, лицом бела, а бровь — уголь. Плясать ли, петь ли — первая, и голос — малина! С ней казак ловкий подбористый с русым чубом — брат ее, идет с нами. Пели, плясали. Плясали и парами, плясали сколь в круг входило, а время уже полночь, и скоро вечеринке конец. Притихли отдохнуть. Скрипач ладит скрипку и вощит смычок . . . Ударили снова — и вот тут-то Еремеич вылетел на круг козырем и пошел мелко на носках, ловко и четко выделывает разные выкрутасы, и, развернувшись, щелкнул каблук о каблук и стал против рыжеволосой, и ей поклон — мол, прошу! Поднялась девчонка и зазвенела каблучками, а потом отсекла и пошла!! . . Выделывает почище Еремеича, только по-своему, по-бабьи Еремеич чешет, как бес, а она еще почище, дошла до своего места на лавке, стала и поклон: мол, благодарю за честь . . .

Еремеич ко мне: «Чего стал пнем? Вызывай!» Махнул музыкантам, а меня в спину. Прошел я напрямик через круг разными нешибкими фортелями прямо на нее и, осадив назад, стал: покажите, мол себя! Встала, пройдет полкруга, а полкруга я; она одно, а я другое. Круг прошли, прошли и второй, и откуда у ней берется? Стала, глазами смеется, и не поймешь: то ли сдалась, то ли не захотела казака срамить?

Тут и вечерке конец, и пошли по домам, а нам с ними по пути — «семь верст околицей». У ворот-то ее брат и говорит: «Завтра нам вместе выходить, а доведет Бог — и служить вместе; так завтра милости просим полдничать, хлеба-соли откушать».

В те поры Вассина семья была недавнишней на Амуре, лет пять-шесть как пришли с Кавказа, и звались они здесь по станице — Терские, а потом народ переврал, и пошло Тарские, а теперь, кажись, и в бумагах так пишутся . . .

Васса — сирота, и в доме хозяин — старший брат-большак, и он со своей хозяйкой Вассе и ее брату, что пошел с нами, были вместо отца и матери. Петровна — женщина добрая и Вассу любила, как дочь, и потакала ей, и Васса крутила всем домом; ну, уж и работница была — огонь! У большака своих парень да девка Манча, шустрая егоза. Дом не то, чтоб богат, но справен; хозяйственный и славился хорошими конями; они одно время и почту гоняли . . .

Большак был человек крепкий, не разговорчив, а сказал — отрубил! Привычек держался еще старых, своих терских, и ходил и зиму и лето в папахе на бритой голове. В правление шел в старинном чекмене, подтянутом чеканным пояском. Статный был казак, любил порядок и дом держал строго. У хозяек в доме чисто, и полы, скамьи надраны голяками с песком добела; раньше редко кто красил; где было краску-то взять?

Хозяйки постарались и нас и провожающих хорошо угостили. Посидев после стола, помолились, простились, как с родными, — и мы — по коням, а Васса с племянниками — в кошевку, нас провожать до первого хутора. На хуторе не задерживались и, побыв у знакомого казака немного, еще раз простившись, мы пошли на сборный пункт в ст. Николаевку, а оттуда уже строем, под командой подхорунжего Старицына, в город — в полк. Прощаясь со мной, Васса сунула мне теплые варежки.

Отслужили мы три года и после нового года пошли на льготу. Опять по хуторам и станицам песня да пляс крепче прежнего — строевиков чествуют, кого с благополучным возвращением, кого с заслугой, кого с чином. Как не погулять? В Константиновке я заглянул к Тарским письмо передать: Вассиного-то брата, как хорошо грамотного, куда-то послали учиться на ветеринара. Ну, там я мигнул Вассе, чтобы приходила на вечерку. Плясали польку — я ей и говорю, что, мол, пришлю сватов. Зыркнула глазами и говорит: «Попробуй!»

Поехали мои сваты, да и приехали, не солоно хлебавши. Приняли их хорошо, с почетом, угостили и девку показали — она и стол собирала; а за столом большак и говорит моим сватам: мол, спасибо за честь, но у нас и свои женихи есть, а у вас, поди, и невесты найдутся, и нечего, мол, ему по чужим дворам шататься. Каков? Ну, да не на того нарвался . . .

Стал я заглядывать в Константиновку, когда надо, когда и не надо, то за тем, то за другим, да не всегда удавалось повидать Вассу: большак-то поприжал ей хвост. Как-то раз приехал я в Константиновку, как бы у Филинова молодую породистую кобылку торговать; кручусь, лажусь Вассу повидать, да не тут-то было. Повел вечером своего коня на водопой, когда бабы да девки взялись огороды поливать и забунчали ведрами. Напоил коня — нет Вассы; давай купать да мыть коня — прибегает с ведрами и с коромыслом эта егоза, девка хоть куда! Вся в тетку! И набросилась на меня:

«Чего засел здесь и торчишь пнем? Вечером уезжай, да так, чтобы тебя видели, и жди нас за поскотиной, придем коров встречать; да не торчи там на дороге, в осиннике поджидай! Отваливай отсюда, не торчи у баб на глазах, да и мне тут с тобой разговоры разводить не время!»

Эх, девки, девки! Будь бы она постарше, так и не знал бы, которую брать!

Жду за поскотиной в осинничке, и как только солнце пошло на закат, и пастух защелкал бичом, сбивая стадо, пришли и мои заговорщики, и тут Васса торопливо сказала мне:

«Будешь тянуть и раздумывать — и выдаст братец меня, и пеняй на себя. И вот если до сенокоса ничего не сделаешь, так только меня и видел, а здесь больше не торчи!..»

Незадолго до покосов мы с Еремеичем с заводным конем под вечерок были около Константиновки. Еремеич со своим и заводным конем укрылся в логу в чаще, а я в станицу к Филиновым повез задаток за молодую кобылу, что приторговал у них, и еду мимо Тарских. На крыльце сама Петровна, увидела меня, всплеснула руками и кричит:

«Ты чего, коршун, тут крутишь? Смотри, накличете вы беду на мою голову — за вас ответ держать! Вот возьму ружье, так только сунься!..»

Сидим у Филиновых за столом — покупку вспрыскиваем, а тут прибегает Манча, как бы к подружке, а у самой глаза, как у кошки на пожаре, и меня вызывает.

Старик Флинов-то и смеется.

«Ты, — гыт, — парень, купил одну кобылу, а, видать, уведешь двух — фартит тебе; та и другая, хоть куда! Ну, дай вам Бог мир да лад, а наше дело сторона: и не видим, и не слышим, делай, что начал.

В сенях Манча на меня, сама воет, а меня ругает, просит:

«Ты чего пригнал не вовремя? Непутева твоя башка! Что нам, пропадать из-за вас? Отца дома нет — на заимке, и братец с ним, мы одни бабы. Мать тетку в баню заперла, соседей грозит поднять на ноги! Сраму-то сколь будет! Увезешь, дьявол, тетку, вся беда на нас, и отец не помилует! Завтра они к полудню домой будут, так ты обожди день-два, а там

уж при отце-то — не наш ответ. И убирайся засветло отсюда, чтоб люди видели, что уехал . . .»

Ну, что поделаешь, жалко баб; большак-то мужик крутой и под горячую руку и беды наделает. Хотел я кобылку у Филиновых оставить до осени при их табуне, а тут дело-то так повернулось, что надо людям показать — мол, за делом человек приезжал. Заседлал я своего Игреньку, кобылку заикрючили и на недоуздок; простившись с хозяевами, поехал по улице, останавливался со всяким встречным поговорить, и так от одного до другого с миром выехал из станицы и, осмотревшись толком, махнул к Еремеичу в лог.

Посудили-порядили и решили два дня обождать, а тем временем отвести кобылу на Петровский хутор к дружку, а самим переждать у фонарщика на перекате. Фонарщик — старик хороший, хотя какой-то пришлый и, наверное, беспаспортный; но живет на фонарях уже много лет, и по округе его все знают — тихий, мирный, хлеб он покупает то в Петровском, то в Константиновке — куда Бог занесет. Вот мы и снарядили его на завтра под вечерок в Константиновку за хлебом и с писулькой Вассе, чтоб знала, как ей быть. Плант-то наш таков: фонарщик зайдет хлеба купить к Тарским и узнает, что и как у них, и передаст Вассе или Манче мою писульку. В писульке же я ей пишу, чтоб она была готова на послезавтра утром и чтоб с выпуском коров под пастуха запоздала и гнала своих коров догонять стадо, гнала бы до поскотины, а мы будем справа в осиннике; мы, мол, вершны, и чтобы она захватила себе чьи шаровары.

Еще до восхода солнца мы в осиннике и ждем — кормим комаров. Стало светать, и в станице пастух запел свое «Выыыгоняяяй!» Заскрипели ворота, замычали коровы, и послышались людские голоса — бабы понукают своих коров. Вот и стадо выливается из улицы, и старик пастух с подпаском китайчонком, лениво щелкая бичами, подгоняют сонных коров. Стадо все вышло из улицы и уже недалеко

от поскотины, а Вассы с ее коровами нет . . . «Вот гонит», — шепнул Еремеич и пошел к коням осмотреть седловку и подтянуть подпруги. Васса догнала стадо и помогает старику прогнать его в ворота поскотины, а сама кругом зыркает глазами, ищет нас. Вот стадо уже ушло дальше, а Васса стоит у ворот, закрыв лицо платком, и воет. Мы с конями к ней, и Еремеич командует:

«Нечего теперь выть; успеешь еще, навоешься, а сейчас иди в кусты да натягивай штаны, и по коням! . .»

Рванули мы с места, раскололи пастуху стадо, и тот со страху рот разинул, щелкнул бичом, а смекнув, кричит вслед:

«А, ворьё! Ну, в добрый час, помогай вам Бог!»

Минули хутора, и за Димом Еремеич повернул домой, а мы в Куприяново к моей тетке на заимку. На заимке мальчишка с телятами; послали его к тетке, чтоб дала чего есть. На завтра к полудню на телеге приехала сама тетка, привезла харч, кое-что из постели и только слезла с телеги, взялась за нас. Вассу пропесочивает: «Ты, — гыт, — пучеглазая, где у тебя шары-то были? За кого пошла? Будешь весь свой век с ним маяться. Вот руки у меня болят, а то бы взяла хворостину да поучила его, вора несчастного Вот, бери тут, что есть, да ладь што; полдничать будем, из-за вас, не пивши чая, из дома уехала, чуть свет, чтобы люди-то не видели, куда меня понесло» . . .

Васса около печки возится, а тетка с нее глаз не спускает, а сели полдничать, и тут тетка запела:

«Ну, рыжеволосая, девка ты удалая и мастерица по дому, и будете вы жить, как люди; ты только ему много воли-то не давай, я его знаю, только бы и бегал с ружьем, да рыбу ловил! Ты, чумазый, пока живете здесь, так поветь для коней поправь, крышу исправь и где что надо наладь, а там через недельку и домой поедете. Со стариками-то я там все управлю, и надо покос начинать. На покосе поробите, а тем

временем, глядишь, все и уладится, а я сейчас домой. Ты, вор, накоси мне травы воз, домой увезу — оно и будет, как бы по делу ездила».

Расцеловалась тетка на прощанье с Вассой, а мне с воза погрозила хворостиной и уехала . . .

Пожурили нас мои старики, что не по-божески жить начинаем, повенчали нас, но гулять не гуляли — воровская свадьба. Вассу старики сразу полюбили и за нрав и за расторопность, и Васса вскоре завладела всем домом: чистит, моет, носится туда-сюда, только юбки шумят; на огород с песней, с людьми приветлива и поговорить умеет с кем и как надо . . .

Жили мы с небольшим достатком; у отца-то я был один, сестра старше меня давно была замужем и жила своим домом, ну, рук-то было и мало. Скота много не держали; зимой-то прокормить трудно; много и не сеяли — десятин десять пшеницы да десять-пятнадцать овса для коней; ну, немного и продать. Коней держали лишь добрых; послабей или не в нашу масть продавали молодняком.

Пришла в дом Васса, ну, и жизнь у нас как бы закипела, пошла веселей. Да не всегда Васса весела: полет на огороде траву, запоет там про маменьку родимую, да про дорогих сестриц и братцев и завоет; тут уже не подходи! А проплачется, и опять зазвенела.

На Казанскую наш престольный праздник. Гости в станице, гости и у нас: родня и нежданные гости дорогие — Петровна с Манчей! Моя Васса как вновь родилась, радости не оберешься; не знает, куда и посадить дорогих гостей, чем потчевать, только обнимается да целуется то с Манчей, то с Петровной. Все мечет на стол, что приготовила к празднику, гостям шагу не дает шагнуть — все ублажает. Попировали наши гости и на завтра решили ехать домой, да не тут-то было, Васса восстала и уговорила еще погостить денек-

другой. Петровна-то женщина добрая, мягкая, поахала, повздыхала — мол, как там-то дома ждать будут, но потом и согласилась. Васса, как останется с Петровной вдвоем, все что-то шепчется, а Петровна гладит ее по голове и в чем-то, видать, утешает. Гости-то, как приехали, всю Вассину лопатенку привезли — подушки да одеяла и все, что ее, да еще Петровна с Манчей и от себя наготовили кое-чего. Манча — эх, девка добрая! вылитая тетка; на завтра с раннего утра орудует, как дома: коров выдоила и прогнала под пастуха, печь вытопила, блинов напекла, носится по двору, везде успевает, и голосиста в тетку, да все у ней шутки да прибаутки — молодец девка!

Живем, слава Богу . . .

Наш-то Иван под Пасху родился. На праздник да на крестины съехалась родня да дружки. Разместились кто у кого по станице. Приехали и Тарские всей семьей — и «сам», и брат, мой годок; теперь он уже большой человек, ветеринарный фельдшер на весь отдел; в те поры не было у нас докторов-то.

Приехали и привезли и пригнали всё Вассино приданое, и пошла у нас гулянка из дому в дом, почитай, чуть не по всей станице: мир учиняли! На крестинах за столом выпили, и большак-то мне и говорит:

«Я бы тебе, вору, этого никогда не простил, да бабы одолели; уж, по-видимому, у нас везде так водится: дед-то наш тоже в далеких горах у дружка-кунака осетина сестру украл, и там, брат, чуть война не началась! Брат-то, дружок — ничего, да родня поднялась; вишь ты, обидно им стало, что гулянка пропала, ну и забунтовали. Осенью, как нажали вина да наварили бузы — свадьбу справили. Наелись баранины, напились, передрались и замирились накрепко. Вот оно так и идет, а теперь еще Ванюха за вас, мне податься-то и некуда» . . .

Дед собирает свои инструменты и незаконченную работу в суму и, подымаясь со скамеечки, растирает руками поясницу и вздыхает:

— Ох-хо-хо! Когда это было? Да и было ли? Вдругорядь и не все вспомнишь! .. У Ивана теперь своя семья. К дому еще половину прирубили. Мы-то со старухой да Колькой в новой, а Иван в старой половине, и уж там ему тесно, и надо что-то гоношить нам со старухой — тихий уголок. Летом-то оно ничего; Иван с женой да старшими на заимке, а зимой-то тесновато. Семья у него растет ... Со службы вернется парень — женить надо, а кого замуж выдавать; а нам — на покой ...

18

В ГОСТЯХ У ДЕДА

Вечером мы жарили касаток и после сытного ужина всей компание сидели на берегу Амура. Дед нас знакомил с географией окрестных мест.

— Сопка-то, что оборвалась в реку — Дилешешкина сопка; раньше-то тут такой орочен жил — Дилешешка; а сюда, ниже, тоже орочены жили — Бундугеркины. Бундугеркины орочены были Хованские, и большое озеро там тоже Хованское. Хован-то по-ихнему не то князь, не то какой-то большой начальник или сильный купец — их не поймешь; а они у него вроде как работники, и жили бедно и были, не в пример другим, ленивы и даже вороваты. Вон тот, дальний остров, это Бояшкин, а пониже его и поменьше Шемелинский, а этот, что против нас, большой — Изюбринный; на нем покосы хороши, и всегда козу добыть можно. Осенью по берегам этих островов хорошие тони; как начнем кету ловить, это самые лучшие места для невода: чистые, и кета этим берегом идет, тут ее и встречать надо. За Изюбринным большая протока, опять же зовем Тихая; рыбы в ней, как в бочке, максуна больно много — бери не хочу; а куда с ним? Соль дороже!

Хованское-то озеро вот так по-под сопками и тянется верст на пятнадцать-двадцать, до самой Чесноковки. По берегам озера камыш выше человека, а берега плавают, и ходить по ним — не дай Бог: попадешь в окно, ну, и пропал. С шестом надо ходить, да под ноги смотри и щупай. Озеро-то это когда-то Амур был, а потом метнулся вишь куда! Дно — галька, как и в Амуре, и вода в нем хорошая, и рыба не озерная. Весной-осенью тут что творится! Утка, гусь, лебедь, журавль — и чего только тут нет? Шум, как от парохода. Эти места я скрозь исходил и излазил и бывал с орочонами и за дальними сопками — в ихней стороне. Есть там у них речка Сун, опять там рыбы — хоть пруд пруди. Дубняки хорошие, а по сиверам кедр. Зверь там разный, и промысел добычливый. Есть такие елани — паши сотни десятин в одну полосу. Летом туда попадать тяжело: в падях топи, а хребтами круто; зимой же — и вершний, и в санях.

Ночь тихая, лунная. Где-то за поворотом слышен приглушенный шум идущего снизу парохода. Река спокойна, и лунная дорожка протянулась прямо к нам. Прохладный нежный ветерок отгоняет комара и ласкает лицо, и так приятно лежать около деда и слушать его тихую речь, и хотя у нас уже слипаются глаза, но не хочется подниматься и идти в балаган . . .

Из-за далекого кривуна как-то сразу вырвался на реку шум, и сверкнул и загорелся целый фейерверк огней, и трудно понять форму этой мерцающей и переливающейся огнями грезы. Пять . . . десять минут, и глаз начинает распутывать этот искрящийся клубок: вот красный и зеленый огни — это бортовые. Высоко один яркий белый — это на мачте. Те бледные и расплывчатые — это окна кают, иллюминаторы. Шум надвигается на нас и заполняет всю реку, лопасти колес с силой буравят воду и пенные волны разбегаются к берегам и уходят за кормой парохода и теряются в сумраке.

Мы сидим на берегу, неведомые никому, а в этом освещенном мире проходит мимо нас своя, нам не известная жизнь, а мы — какие-то маленькие, затерянные в далеких островах большой реки, и нам почему-то грустно . . .

— Ну, поднимайтесь, да спать, а завтра я вас робить заставлю!

И мы, тихие, сонные, потянулись за дедом . . .

***

Мы второй день живем у деда на заездке, и дед использовал наше у него пребывание. Мы работаем: вчера рубили и возили тальник, а сегодня дед вяжет бердо, а мы помогаем ему: Оська из кучи навезенного тальника выбирает ровный по толщине и прямой, я на чурке обрубаю его по одной мере. Дед на устроенных козлах быстро и ловко вяжет сплошной ковер. Руки его заняты, но язык свободен, и он своим говорком журчит, как ручеек, а мы бы все слушали и слушали . . .

— Мы-то с Еремеичем годки, дружили с малых лет и так прожили свой век — один около другого. Живем насупротив, через улицу, ворота в ворота, друг у друга на глазах. Дружили, спорили, ругались, но ссориться никогда не ссорились! Еремеич — парень горячий, не приведи Бог! Кипяток! Сами знаете, какой он конник и по сейчас, а смолоду конь для него — всё. Водил он породу неплохую; бегунцы у него часто встречались. Был и у нас из Вассиного приданного рыжий жеребчик по четвертому году, ладный и шустрый, и Еремеич часто на него заглядывался, пробовал торговать, да Васса ему наотрез: «Нет!» Он и отстал . . .

Как-то недели за две до масляной вёл я своего Рыжку с водопоя и в проулке встретил Еремеича, тот на своем Гнедке. Стали, закурили, то да сё, а Еремеич, как цыган, по Рыжке так и зырит глазами, и приди ему блажь. Он и говорит: «Давай прикинем, чья возьмет!»

Я не охотник до споров, да еще со своим, а он пристал — что ни встретит, или через дорогу кричит: «Что, струсил? Ну, и возите воду на своем Рыжке!» . . . И поди ж ты, заело это Вассу, и она ему: «Ладно. Готовь своего Гнедка, и на масляной приведет наш Рыжка твоего Гнедка на хвосте!» Ну, и подогрела парня, как плетью . . . Оба взялись ладить бегунцов — Еремеич своего, а Васса своего. Друг от друга прячут и дни и ночи возятся с конями.

На последний день масляной, как всегда, в станице бега. Народу наехало и с хуторов, и из крестьянских сел и деревень, навели бегунцов, и бега с раннего утра. Народ не пьет, не ест — хороводится на тракту на Дим. Парнишки не слезают с крыши Катанаевского дома — следят и докладывают и верещат, как воробьи: тот, мол, вперед вышел . . . этот обошел . . . или седок слетел, упаси Бог! — все, что твой телеграф. Народ по рукам бьет — заклады, кто за кого . . .

Пришла очередь и нашим. Седоки — мальчишки десяти-двенадцати лет; народ бьвалый, учить не надо, и азартны не хуже хозяев. Народ мелкий, легкий, но с силенкой и первые забияки и драчуны по станице. Одежонка у них по правилу — рубаха, штаны, да шерстяные чулки, и без шапок, только форсистая плетка в руках. Скачут без седел, но сидят на коне как клещи — бедовый народ! У нас седок — Власа Высоцкого сынок; чумазый, сухой, а сам как пружина — Ванька.

Бегунцов, чтоб не горячить до поры до времени, ведут среди двух конных, а седок за спиной у одного. Заезд — полторы версты. Едут и судьи пускать с меты, чтоб потом спора не было. Тракт вьется среди березовых колков, и далеко его не видно.

Еремеич криклив, говорлив, а тут его и не слышно, стоит у «сала» и как бы никого не видит и не слышит — ждет . . .

«Сели! .. равняют! .. пошли! .. — заверещали воробьи-дозорные. — Вряд идут! .. Еремеичев Гнедко вырвал, вперед пошел! .. Ванька на хвосте! .. ростань прошли! .. Ванька жмет! ... Равняются! .. Гнедко наддал ... на полконя ушел! .. Сравнялись и сейчас вылетят! ...»

Вылетели и стелются ... Седоки прилипли к холкам, дали повода и бодрят плетками ... идут ухо в ухо, а я думаю: «Ну и слава Богу; никому не обидно!» А тут Ванька дал повод и резанул Рыжку плетью и вырвал на корпус — и привел Гнедка на хвосте! ...

Еремеич — туча! Никому ни слова, взял своего Гнедка и, не вываживая, повел домой, и мы его не видели чуть не до половины Великого поста: на заимке жил. К Пасхе оттаял, и праздник отгуляли по-хорошему, но о конях ни слова ...

Так вы думаете — забыл Еремеич свою обиду? Нет! Тут как-то вскоре после праздника я вожусь во дворе — бороны ладил, а Еремеич ворота чинит; оглянулся на меня, постоял и, бросив работу, вышел на дорогу и кричит: «Твоя Васса, хочь мне и кума, а рыжая ведьма: это она наворожила, что ваш Рыжка обошел моемо Гнедка, а так бы век ему позади таскаться!» Вот же бедова голова! Кричит, а Васса слышит; вышла на крыльцо, смеется, а у нее тоже язычок — бритва.

«Ты вот мне покричи, оголтелый, так и сам будешь ползать не лучше своего Гнедка. Закрой лучше хайло, да вот вам утиральник, мойте руки да морды и идите пирог есть — тайменный пекла и сейчас из печки вынимать буду».

Разинул рот Еремеич, развел руками, плюнул и говорит:

«Ну, что ты с ней делать будешь? Опять заколдовала!»

Умылся и, входя в дом и крестясь, приговаривает:

«Ты уж, кума нас не обидь, уваж и поднеси по рюмочке своей полынной, уж больно она у тебя хороша и для здо-

ровья ладна, а меня прошлую ночь все что-то ломало; так ты там шепни чего своего — оно, может, и поможет!»

Ведь ишь какой перец!

Вот так и живем, но чтобы ссору разводить, этого не было в заведении . . .

Это Еремеич напрасно говорит, что Васса — ведьма. Какая же она ведьма? В Бога верует, в церковь ходит и на клиросе со школьниками поёт, говеет и исповедуется каждый год; напрасно он так . . .

А чудно́ бывает . . . Смолоду я был охотник и рыбак не приведи Господь какой, все лажусь то с ружьем, то со снастями на рыбу. Иной раз Васса и ничего, а иной раз поперек дороги! Соберусь это я с утра на рыбалку или охоту, и уже в полном обмундировании, и надо идти, а глядь в окно — Васса посередь двора! Ну, ладно . . . обожду, а она все там торчит, как сорока на колу; ведь знает, что мне идти, а торчит!

«Ну, что стала? Иди, куда пошла; мне ведь идти надо!»

«Ну и иди; что, не пролезешь?»

«Куда я пойду, когда ты на дороге?»

«А вот и не уйду, и ты хоть тресни. У людей мужья все робят, а его нечистый по болотам да чащам таскает! Надоели мне твои утки да рыба! Разуй шары да посмотри: у телят сараюшка разваливается, а он только бы и бегал с ружьем. Вот не уйду с дороги, и только!»

Спорить, ребята с бабой — это только воду толочь, и ничем не поможешь. Плюнешь с досады, рассупонишься, составишь все на место и идешь эту сараюшку ладить, а какая срочность? Телята не размокнут, и можно бы потом, но что поделаешь? С досады-то в час-два все оборудуешь, а тут Васса и кричит в окно:

«Иди, ешь, да вали, куда хотел!»

«Куда я теперь пойду, когда по огородам бабы да девки?»

«Иди, ешь, тебе говорят; баб я сейчас с огородов сниму, а девки тебе не помеха!»

Выйдет в свой огород и затянет какую-то огородную, а бабы подхватят — и заголосили. Попоют, а Васса им команду:

«Ну, бабоньки, бери ведра да коромысла — огороды поливать; айда на реку!»

И, как корова языком, всех слизнет . . . Ну, тут уже не зевай, а, пригнувшись за плетнями — ходу . . . И вот, дня-то уж не так много осталось, а глядишь — и набьешь и наловишь, что в другой раз и за весь день не возьмешь. А если пошел наперекор, да если она тебе еще вслед наговорит да плюнет, то лучше и не ходи: все равно толку не будет: то осечки, то порох подмочил, или рыба снасть за карчу завела и все порвешь . . . Нет, уж лучше и не ходить.

Дед снимает с козел законченный столб берда и начинает новый, размышляя вслух:

— Охо-хо! . . Ведьма не ведьма, а что-то есть: знает! Зуб может заговорить или помочь, когда ухо стреляет, бородавки свести или у скота червя заломить, а курицы у нее — все наседки . . . Атаман баба!

19

КИРИК И ИУЛИТА

Июль месяц на Амуре — почти всегда с яными, жаркими днями. Дожди в июле бывают лишь в ненастные годы, а то солнечно и тихо; подует ветерок — так верховой, суховей, и не жди дождя.

Давно нет дождей, а Амур пухнет и тихо заливает широкие галечные плёса и песчаные косы чистой холодной водой — уж такая его особенность. Начнут таять снега там далеко в горах, в верховьях больших рек, и принесет Зея и передаст Амуру широкую темную струю снеговых вод.

Но бывают годы, когда в июле подует упорный низовик с моря-океана, подымет высокую волну, и шумит Амур день и ночь, на вечерних зорях окрасится в жуткий, тревожный кроваво-лиловый тон, и на третьи сутки наплывут с востока тяжелые, плотные тучи. Хорошо, если они совьются в темные громады, повиснут длинными седыми хвостами и разразятся сильной, но короткой грозой. Все живое поспешит укрыться под поветями, сараями, хозяйки закроют и закрестят окна и печные вьюшки, зажгут перед образами четверговую свечу . . .

Яркие слепящие молнии рвут небосклон, оглушительные раскаты сотрясают землю, дикие вихри налетают, рвут и

гнут долу предречные чащи, хлещут потоками косых ливней... Пронеслась гроза, выглянуло солнце, все заискрилось, заулыбалось, и лишь шумные ручьи стекающих вод говорят о прошедшем шквале.

Но бывает и так: наползут серые, пухлые тучи, поползут медленно, лениво. Ветер упадет и замрет, а тучи ползут и ползут и закроют грязным покрывалом весь небосклон. Тихо станет на реке, но серо и скучно, и лишь одни стрижи низко чертят над ее поверхностью, спеша с кормежкой перед надвигающимся ненастьем. К вечеру найдет не то туман, не то какая-то влажная муть, а ночью зашумит частый дождик-сеногной, и если это надолго, то Амур от избытка вод выпятит свою грудь, выйдет из берегов и зальет луга, низкие острова и понесет вывороченные деревья, бревна разбитых плотов, копны и стожки сена. Угрюм и неприятен он тогда...

В это лето июль без дождей, тих и ясен. Широкая спокойная гладь реки, как расплавленная жаркими лучами солнца, блещет нестерпимо глазу и мерцает в тихом мареве. Воздух чист, и звуки как-то чудно ясны. Где-то далеко плывет лодка, ее еще не видно, а ясно доносится стук и скрип весел, непонятный говор — не то русские, не то маньчжуры.

С дальнего берега большого острова иногда доносится звенящий колокольчик — ржание жеребенка сосунка, да шум сотен ног идущего по гальке к реке табуна. Жар и злой овод гонит табуны к реке; спасение только в воде, стоя по самую холку в прохладных струях. Отфыркивается, отмахивается табун от наседающего на него овода — бича наших мест.

Табуны по плёсу стоят плотными темными квадратами, как полки на плацу, и здесь не меньшая дисциплина и порядок. Одуревшие от воли и ревности жеребцы — худые, изъеденные оводом, в ранах от поединков — не знают покоя на этом сборище. С прижатыми ушами и распустив трубой

хвост, низко неся над землей голову, они мечутся около своих гаремов, как змеи-горынычи, охраняя их от побега и вторжения соперников, и горе всякому, кто сейчас рискнет подойти к их косякам. Ни волк, ни собака, ни пеший человек не устрашат жеребца, и лишь конный смельчак, вооруженный длинной крепкой палкой, как пикой, может привести его в повиновение.

Холостые, жеребые матки стоят глубоко в воде, матери с малышами, забившимися им под брюхо, ближе к берегу и работают хвостами, как веерами, спасая себя и малышей от жестоких укусов ненасытных полчищ жадных кровопийц.

Молодежь — двухлетки и трехлетки — держатся своей веселой, сытой и красивой компанией, не знавшей еще узды. Там, дальше, в стороне, мирным обществом, забравшись всех дальше и всех глубже, отдыхают и набираются сил, нагуливают тело к предстоящей страде и к долгой холодной зиме работяги-мерины.

Табуны стали в воде с первых жарких часов дня и будут стоять до времени, когда солнце скатится далеко на запад, и пахнет первый освежающий ветерок; тогда они, как по команде, потянутся за своими вожаками на широкие пастбища.

На время покоса и до страды — уборки хлебов — наша станица всех свободных лошадей и молодняк переправляет на большой остров, где они вольно и без присмотра пасутся все лето.

Каждую весну, как только сойдут снега, как по покосным местам, так и на острове вся прошлогодняя трава — ветошь — тщательно выжигается, а остров, к тому же, так прочесываются, что ни один хищник, ни волк ни лиса, забравшиес сюда зимой, не останутся.

Пройдут дымные тучи днем и багровые зарева ночью степных пожаров-палов, и после первого теплого весен-

него дождика заклубятся предречные урёмы зеленой пеной чащ, а берега острова — снегом цветущих диких яблонь. На выжженных лугах пробьется и подымется свежая нежная травка, и вот тогда начнется веселая для нас, ребят, работа.

Пригонит хозяин-станичник на берег своих свободных лошадей. Придут соседи помочь, а мы уж тут как тут, без нас не обойтись. Караулим от побега сивок-бурок, пока старшие мягкими кушаками вяжут ноги перепуганным сосункам и укладывают их в лодки, и тогда нам новая работа — держать этих шельмецов. Мы — народ опытный, и нас учить не надо: крепко держим одной рукой выпучившего глаза будущего скакуна или работника, а другой гладим и щекочем ему голову, предупреждая все его попытки вскочить. Одну-двух старых кобылиц «вожжанок» берут на обрутки и держать повода дают тому из нас, кто посильнее. Это уж работа — так работа: ты уж как бы большой. С гиком, свистом, шлепками плетей и хворостин гонят остальных лошадей в воду. Вожжанки на поводах идут за лодками, а за ними уже бывалые спокойно и дружно, а растерявшаяся и перепуганная молодежь мечется, сбивается в кучу, толкая и еще более пугая друг друга, ошалело пускается за старшими; за ними еще лодка-две на случай: не всяк пловец осилит ширь реки, и здесь не зевай помочь: быстро подплыть, умело схватить за гриву и ухо, поддержать, чтобы пловец передохнул, оправился и пришел в себя, а то и надернуть обрутку, поднять голову ослабевшего на борт лодки и волочить его — всяко бывает.

Быстрое течение широко размечет пловцов, бывалые хитрят и плывут чуть по течению, перебивая реку наискось; глупый бьется против струй, и надо ему помочь — направить на более легкий путь. Храп, фырканье, тяжелые вздохи, веселые ободряющие возгласы, свист и понукания несутся по реке . . . Но вот пловцы все взяли одно направление и пошли бодрей, и у них не заметно былого страха; уви-

дели землю . . . Хватили дна, опнулись и усталой, неуверенной походкой идут на берег; ноги вялые дрожат, и мокрые лоснящиеся бока усиленно работают. Усталые, покорные озираются, и облегченный вздох вырывается у многих. Матери получают своих детей и, напутствуемые добрыми пожеланиями, идут на вольную жизнь.

Многочисленные озера, протоки и лога с чистой холодной водой, тучные луга, тенистые рощи ширококронных вязов и тополей поят, кормят и укрывают от непогоды отдыхающие табуны, а широкие плёсы реки спасают от всякого гнуса. Конокрады сюда не сунутся — своя голова дороже, а наши соседи, маньчжуры и орочены, — народ мирный, честный, и мы с ними живем в дружбе; нам делить нечего, всем всего достаточно, и на чужое посягать некому.

***

Завтра большой праздник нашей станицы: день памяти святых мучеников Кирика и Иулиты (15 июля ст. ст.), и сегодня с утра по станичным огородам курятся бани. Время только еще за полдень, а уже то там, то тут протарахтит телега, запряженная парой небольших, но статных, амурских лошадок. На невысоких возах душистого свежего сена сидят покосчики, темные от загара и дорожной пыли. Скрипят ворота, и по дворам говор и оживление.

На берегу реки, у пологого взвоза, что против широкой улицы, в конце которой на площади церковь, согнан целый флот: два большие министерские баркаса, лодки разных типов и даже неуклюжие баты наших стариков — любителей охоты с острогой. Около лодок группа казаков, слышен стук топоров, деревянных колотушек — ладят и конопатят рассохшиеся на солнце лодки. Дымят костры, и запах кипящей смолы плывет по берегу . . .

Завтра праздник, и станица, подняв святые иконы, с хоругвями, двинется крестным ходом на остров к своим табунам.

Праздник завтра лишь наш, станичный, как бы семейный, и лишь для нас он имеет большое значение. Гостей к нему не ждут: время-то какое — покосы! Да здесь и не гулянка, а торжественное моление.

Все чаще и чаще тарахтят телеги, все чаще скрипят ворота, а вон подростки-казачата уводят на пастбище еще потных лошадей. Из труб тянутся высокие в тихом воздухе столбы дыма. По улице носятся вкусные запахи разного жареного и пареного, пахнет свежеиспеченным хлебом, и везде какая-то спешка и суета. Девчонки на огородах собирают огурцы, подкапывают молодую картошку и, сгибаясь под тяжестью, на коромыслах тащат мыть ее на реку, успевая посудачить и выведать, у кого что готовят к празднику. Где-то глухо, тревожно пискнул поросенок; перепуганный курятник с криком и хлопаньем крыльев спасается от своих преследователей, по переулку от реки два старика на весле тащат вязанку рыбы.

У вдовушки Гладчихи веселый стукоток скалок да мутовок, шипит и шкварчит на плите всякая снедь, бойкий говор вылетает в открытые окна: это здесь молодухи и девахи по наряду хуторского готовят общественный стол. Здесь мимо не ходи и не езди; каждому будет веселая и острая наклейка-присказка, а хуторской давно махнул рукой и ушел домой: им слово, а они десять . . .

Если наши деды, отцы и матери так ревностно готовились к празднику, то и мы, подростки, не были безучастны и ждали праздника еще с большим нетерпением, а поручений и приказов нам сыпалось без конца: беги туда, неси то, а у нас и своих дел немало: у нас тоже лодка, только она не у взвоза, а спрятана. Мы ее спрятали в тальник — там, у устья Завитой; не спрячь, так еще и останешься на бере-

гу: когда надо, так беги туда, беги сюда, а как ехать, так «куда лезете?»

Вечером после бани и ужина к лодкам пришла группа молодых казаков; пришли с уздечками через плечо и грузятся в лодки, и нам ехать с ними: надо пригнать лодки обратно. С ними ехать — почему не ехать? Мы были бы рады ночевать на острове, как и они, с тем, чтобы завтра на зорьке, поймав первую попавшуюся лошадь, начать собирать табуны и подгонять их в район часовни, но они нас не берут; ладно уж и то, что мы проедемся в их компании. Нелегкая работа предстоит этим удальцам: согнать табуны еще не штука, а вот попробуй их держать на месте, каждый отдельно, чтобы не заварилась драка, и жеребцы не покалечили друг друга. А ждать и держать надо не мало времени — до полудня.

Праздник этот повелся у нас со времен первых тяжелых лет заселения Амура. С первых лет облюбовали казаки остров, как хорошее пстбище для тогда еще небольшого своего табуна. Пасутся лошади на острове, и не надо городить поскотины и охранять свои еще малые посевы вблизи станицы. Вольно коням на обширных пастбищах, и начали множиться табуны, но в труде да в погоне за избытками прогневили люди Бога, и пришла беда — мор. В те поры по станицам ни ветеринаров, ни фельдшеров не было, свои коновалы да знахари оказались бессильными. В горе, в тоске вспомнил народ свою Заступницу и поднял свои старинные, привезенные со старых мест иконы и пошел крестным ходом на злополучный остров. Небогаты иконы убранством, ни серебра ни золота на них, писаны они на простых липовых досках, темны ликами, истерты вьючными ремнями, но получены в благословение от отцов и дедов, вывезших их из Албазина и чтущих их чудотворную силу.

Вняла Заступница мольбам, и прекратился мор. По обету воздвигла станица на острове часовню и водрузила в ней

святую икону мучеников Кирика и Иулиты, и с тех пор из года в год чтит этот день и совершает крестные ходы на остров, и Бог милует.

Тихий, ясный летний день. Солнце уже высоко и изрядно припекает. Снега в верховьях далекой Зеи дали много воды, и Амур залил часть плёсов и сейчас широк, быстр и под яркими лучами ослепительно светел. На небе ни тучки, ни облачка, и река без тени, без отражений.

У баркасов и согнанных к ним лодок кучка народа — это гребцы и кормчие на баркасы. Среди них хуторской атаман — еще молодой казак. Хуторской по случаю торжественного дня подтянут и одет щегольски: его форменная с желтым околышем фуражка сидит на голове лихо, заломленная на правое ухо, а к левому пушится русый чуб; темно-синяя гимнастерка по узкой талии схвачена тонким чеканным пояском; широкие шаровары с лампасом заправлены в начищенные до глянца сапоги. Он озабочен и дает последние распоряжения и наставления командам баркасов.

— Ты, Николай, на главный, первый баркас, да смотри, заводи повыше, а то снесет, Бог знает куда. А вы, ребята, на веслах садись по два, чтоб была смена. Николай, на первом-то крестный ход, певчие. На второй — ну, стариков, да у кого своей лодки нет; да смотрите, не перегружайте, и чтоб порядок. Гребцам, тебе и всей команде, — угощение, как полагается. Постарайтесь, станичники! Человека по три на баркас взять запасных, ежели кто стомится. А ты, Филька, коли слаб, то и не берись за весло: иди, вон, к рулевому — когда надо, поможешь. Подбирайтесь, ребята, по силам, зря не лезь; ишь, как Амур-то раздуло! Садись по местам: скоро звон — службе конец . . .

Звонко, переливисто запели колокола. Стаи голубей взвились и закружились над синими куполами. Все, кто был на берегу, обнажили головы. Хуторской еще раз предупреж-

дает рулевых и гребцов и просит постараться ради праздничка и получает в ответ:

— Ладно! Знаем, не в первый раз плавим!

Издалека и пока тихо доносится пение: то уже крестный ход тронулся к лодкам. Нас, как стаю воробьев, срывает с места, и в один дух мы взлетаем на высокий яр . . .

Фельдшер Макаров впереди всех с фонарем, за ним дядя Филипп с крестом; там хоругви блещут на солнце медной резьбой; по одной и по две пожилые казачки несут иконы. За ними большой образ, убранный полевыми цветами; его на белых полотенцах несут: станичный атаман и уважаемый всеми в станице начальник водной дистанции, бывший флотский офицер и полярник Шанкрейц. Дальше — батюшка, а за ним учитель с хором из наших ребят, девах, да двух-трех казаков. Учитель машет руками, как будто собирается лететь, хор поет, временами поет и народ. Народ не блещет нарядами: казачки в темном, и лишь на девахах пестреют кофточки, платочки и шарфики; день не тот, чтобы наряжаться, но под ясным небом, под яркими лучами солнца — все торжественно и красиво.

Мы не можем уделять много времени созерцанию крестного хода; нам надо спешить к своей далеко оставленной лодке, и мы уже несемся со всех ног. Нам везде нужно быть первыми, и первыми нужно быть на острове.

Усталые, потные, мы, перебив реку, приткнулись к берегу и, сполоснув лицо, тихие, сидим, отдыхаем и следим за крестным ходом.

Тяжелые большие баркасы идут медленно, десятка два-три лодок густой стайкой тянутся за ними. Река, воздух, небосклон расплавлены и налиты ярким светом. Глазам больно смотреть на это сплошное сияние, и нам порой кажется, что баркасы и лодки плывут то по реке, то в воздухе; то они какие-то особенно четкие и близкие, то неясные, мерцающие и далекие. Далекое, пока еще тихое пение до-

носится до нас, но вот оно все ближе и ближе . . . Уже видно и можно различить хоругви, видно стоящих с иконами, уже ясно слышно, что поет и хор и народ на баркасе, поют и на лодках. Поют так нам знакомое, торжественное и волнующее — плывет по реке, берегам и острову моление народа: «Пресвятая Богородице, спаси нас!» . . .

Часовня новая; старая сгорела от неосторожно пущеного пала. Новая построена уже с расчетом и обдуманно: она поставлена высоко на толстых лиственичных сваях, пол ее на уровне плеч человека среднего роста, двери и единственное окно широки, балкон-терраса занял две ее стороны углом — при входе и против окна. Двери и окно сейчас открыты, и народу, стоящему перед часовней, видна вся служба.

Перед образами теплятся зажженые свечи. Кадильный дым тонкой струйкой вьется в ярком луче солнца и по нему уходит в окно. Чуть уловимый запах ладана плывет в неподвижном воздухе.

На террасе против окна поставлен столик, накрытый белой салфеткой, пол застлан свежей травой; хор теснится дальше за столиком. Идет служба, и чтение дьячка и возгласы священника неясно доходят до толпы молящихся. Учитель взмахивает руками, хор поет, и молебен близится к концу.

Крепкая изгородь из толстых жердей двумя крылами образовала широкую воронку в сторону пастбищ и узкой горловиной-проулком прошла перед террасой со столиком и хором. На столике большая чаша с крещенской святой водой, рядом стоит наш батюшка с крестом и кропилом. В воронке загона уже кружит, перебегая с места на место, взволнованный табун, временами пытаясь прорваться назад сквозь нажимающую на него цепь конных, сбивается в плотную кучу, и подняв головы и навострив уши, не решается двинуться в открытый проулок, за изгородью которого плотной сте-

ной стоит пугающий его народ . . . А конные нажимают и нажимают, ободряя гиком и молодецким свистом . . . Вот более разумная и бывалая матка-вожжанка и здесь берет инициативу на себя и мелкой рысцой, со жмущимся к ней сосунком, пускается в открытый проход. Табун замер, следит за ней и вдруг весь бросатся вслед, наседая и давя друг друга; но три-четыре опытных казака с длинными легкими жердями в руках умело регулируют его порыв.

Табун за табуном вгоняется в загон-воронку и проходит по переулку перед террасой, батюшка кропит их святой водой и осеняет святым крестом, а народ любуется своими сытыми, лоснящимися питомцами, молодняком, новым приплодом и радуется своему благополучию.

Прошли табуны и, взволнованные необычностью пережитого, взлягивая и храпя, унеслись на пастбища. Закончилась служба. Батюшка снял облачение. Хор покинул свое место, чашу со святой водой убрали в часовню, и все двинулись к столам, уже накрытым радушными и расторопными хозяйками.

В тени часовни разостлан брезент, и выставлены разные яства, за столом вся станичная «знать»: станичный и хуторской атаманы, Шанкрейц, начальник почтово-телеграфной конторы, батюшка, учителя и почетные старики. Под тополями, под яблонями — чистые мешки, рогожки и скамейки с лодок, и вокруг них семьи, компании и соседи. Столы полны пирогами, курятиной да поросятиной, красуются первые молодые зеленые душистые огурчики; маковые пироги да пухлые шаньги — и не знаешь, с чего начать.

Бутылок на столах не видно, а степенные хозяйственные разговоры о хорошей, посланной Богом, погоде, о хороших зеленых сенах, о необходимости поспешать с уборкой кошенины, а там уже готовиться к страде, уборке хлебов, становятся все оживленнее и громче, где-то пытается прорваться песня . . . Шумит остров людской речью, пискнула где-то

гармоника... Отец Петр встает из-за стола, встают и все участники крестного хода, собирается хор и народ и идут провожать уезжающих до баркасов.

Обратно плыть — вниз по реке, и старики справятся сами; хор и кто помоложе остаются догуливать праздник и справить именины Кирика Петровича, а у нас еще столько разных дел! Надо везде побывать, все повидать, срезать дудки и трубить на всю округу.

Солнце катится все ниже и ниже, и от острова отходят то лодка, то две с отгулявшими и озабоченными своими домашними делами станичниками...

Летние ночи коротки. Едва запели первые петухи — заскрипели вновь ворота, вновь затарахтели телеги по сонным улицам: то покосчики спешат по холодку к оставленным покосам, спешат не потерять дня. Погода-то какая! Не жалей рук, хозяин, успевай: упустишь день — годом не наверстаешь!

20

ШКОЛА

> Но, увы, нет дорог к невозвратному!
> Никогда не взойдет солцне с запада!
>
> А. В. Кольцов

Пасха этого года поздняя. После праздников начнутся экзамены, а сейчас мы заканчиваем последнюю четверть.

На душе и радость скорого праздника, радость первых признаков наступающей весны, радость скорого возвращения домой, но и тревога предстоящих испытаний, и праздник будет не совсем в праздник: не будет беззаботного веселья, не будешь целые дни мотаться на качелях, взлетать и носиться на «исполинах», щеголять ловкостью и силой удара в лапте, до боли в плечах метать тяжелые палицы в игре в «городки»; кипятком всплывает мысль об экзаменах, и ты волей-неволей бросаешь игру и бредешь зубрить.

Ты с книгой, а в окно светит яркое весеннее солнце. В открытую форточку вливается свежий весенний воздух. На оконном наличнике о чем-то разговорились голуби. В ветвях еще голой черемухи воробьи подняли спор. За забором соседские мальчишки играют в чижа и тоже, как воробьи, то и дело ссорятся и спорят. А ты сиди . . .

Наше училище молодое, ему всего три года, а я в нем первый год, и старший класс у нас сейчас — четвертый. Училище частное, и средства его скудные, но зато все преподаватели молодые, энтузиасты, полны энергии, и хотя некоторые из них административно высланы из столиц, все они — патриоты, что и доказали позже, в первую мировую войну.

У нас многое не так, как у других: у нас нет ни классных наставников, ни надзирателей, ни воспитателей; все мы — участники в жизни училища, во всех его нуждах и ходатаи за него перед своими родителями: всяк помогает чем может. У нас свои порядки: мы можем с урока выходить из класса, не спрашивая на то разрешения, но мы этим не злоупотребляем: мы — «взрослые люди», мы «культурные», и «стыдно быть мальчишками!»

У нас каждый класс «шефствует» над младшим, а потому порядок и дисциплина отменные. Попробуй в перемену свистеть или бегать по коридорам, а еще хуже — скатываться по перилам главной лестницы: так тебя дернут резинкой против волос, что другой раз не покатишься! И надзирателям здесь делать нечего, да они нам и не по карману.

Мы со своим директором и учителями дружны, но никакого панибратства нет; здесь старшие и младшие. Зимой на катке иногда гоняем вместе, весной, в хороший ясный теплый день, весело шагаем за город, или нас ведут на фабрику, завод или мельницу — ново и интересно. Мы шагаем, а за нами в телеге едет наш добровольный воспитатель, сторож «Марала». Марала едет с нашими завтраками, с нашими шинелями и с училищным большим, до блеска начищенным, медным самоваром.

Четвертоклассники могут курить, но лишь в «курилке», а она — продолжение учительской и ничем от последней не отгорожена, не всяк пойдет туда курить. За курение в уборной — от некурящих десять щелчков, дороговато! Курящих у нас немного — лишь заядлые.

Ни ябедников, ни подсказчиков директор и учителя не терпять, и потому у нас их нет. Мы — спартанцы, мушкетеры и рыцари без страха и упрека . . .

Мы, реалисты — «желтая говядина», а гимназисты — «крохали», и у нас в первые годы бывали войны, но когда кому-то расшибли нос, то нам разъяснили, что война никогда не приносила пользы человечеству и недостойна культурного человека, и нам пришлось отказаться от войн; и мы теперь приглашаем друг друга и бываем одни у других на вечерах. И верно, что нам драться? Гимназисты такие же люди, и там остались и учатся мои двоюродные братишки, приятели учатся. Мы теперь даже с «баронкорфовцами» не деремся, а ведь это самая драчливая школа, и мимо них одному лучше не ходить . . .

В большую перемену у нас завтрак, но завтракают не все, а лишь маменькины сынки. Они покупают у Маралы пирожки, «тещины языки» и превкусные, осыпанные маком и солью, рога, а есть у нас еще и такие, которые приносят из дома пакетики, мешочки — ну, просто, как девчонки! А мы не завтракаем, нам нельзя: мы — спартанцы, и нам завтракать так же стыдно, как носить книжки в ранце.

А вот Колька Ланкин завтракает, и это ему сходит с рук, а почему? Да просто потому, что Колька всех сильней, да еще потому, что он живет где-то далеко и приходит домой поздно, зимой — так уж станет темно (наверное, Колька еще где-то бродит); утром, чтобы не опоздать на уроки, Колька уходит из дома рано — тоже еще темно. Когда Колька ест свой завтрак, так лучше не смотреть: всю душу вымотает. Колькин завтрак всегда один и тот же, и не ахти какой, но он его ест так . . . нет, лучше не смотреть! Все равно, не даст ни кусочка. Колька у нас один ничего не признает — он даже книжки и свой завтрак носит в здоровенной кожаной сумке на ремне через плечо, как почтальон, а

что ты ему укажешь? Сунься, так он так намнет шею, что до новых веников не забудешь!

Звонок на большую перемену, и, лишь учитель из класса, мы — кто куда! Если тепло — на улицу, во двор; холодно — по коридорам: кто за столики с пешками да шахматами, кто «продает слонов», шатаясь из угла в угол, а те, что остались в классе, не зная чем заняться, смотрят на Кольку, как он будет завтракать. Маменькины сынки ушли со своими мешочками и свертками в чайную, а Будзиловичу привозит кучер, или приносит горничная кастрюльки с горячим — ну, и шут с ним! . . Будзилович ест, ест, а сам как комар, и если его щелкнуть, как следует, то визжит, как поросенок. А так он парнишка ничего — не ябеда. Будзилович любит читать и все читает «Мир приключений», а у самого очки уже толстые; читает и ползает по карте и куда-то собирается ехать. Марки собирает, у него сберегательная книжка — деньги копит.

Колька сидит на задней парте в углу около печки. Вы, наверное, подумаете, что он плохо учится — нет, не хуже других, а ему там удобно, и в щели за печкой у него целое хозяйство.

Вытащит Колька из-за печки свою сумку, и начинается пытка . . . Колька знает, что на него смотрят — на его завтрак, — и еще нарочно медленно, медленно лезет в сумку, достает объемистый газетный сверток, и начинает разматывать . . . газету за газетой . . . и вот! На последней, пропитаной блестящим жиром, лежит немаленький, толстый пласт сочной, розовой, душистой соленой кеты, всеми нами любимой «амурской свинины», [27] а рядом большая очищенная луковица, в отдельной газете — краюха черного солдатского хлеба . . . Большим ножом-складнем с черной ручкой, острым как бритва, Колька режет хлеб на толстые вкусные

[27] Кета — амурский лосось; за свое широкое распространение и вкус получила меткое название «амурская свинина».

ломти, потом . . . режет луковицу, потом . . . режет на ровные квадратики и лишь только до кожи кету. Нарезал и сидит . . . на что-то смотрит в окно . . . а ты смотри . . . Взял свою большую кружку и пошел за чаем, а всю роскошь своего завтрака оставил без присмотра . . . попробуй, возьми!

Колька ест медленно, ни на кого не глядя, хрустит сочной луковицей, откусывает сразу большие куски хлеба и снимает со шкурки кубик за кубиком вкусную рыбу . . . и ест, и ест, а ты смотри. Чтоб ты лопнул!

Каждый из нас мог бы приносить такой завтрак; его ест весь Приамурский и Приморский край: всем доступна и здоровая пища, но . . . Но мы — спартанцы и не маменькины сынки!

Колька не любит много разговаривать, но и никогда не сердится, даже тогда, когда мы его обзываем «молоканская лапша». Он редко участвует в наших играх, но, когда во дворе нас начинают теснить четвертоклассники, и раздаются вопли о помощи, он немедленно является, и тогда «интеллигенты» поправляют свои воротнички и пояса и под наш торжествующий крик и свист уходят с поля брани.

Когда у нас в классе бывает свободный час — не пришел учитель, — и мы одни, ударимся, бывало, в пение и дойдем до непозволительных «высот»; тогда появляется единственный и добровольный наш наставник — сторож «Марала».

— Вы што? С ума посходили? Тебе, Колька, директор приказал, чтобы было тихо! Вот я бы вас марал, так знали бы!

Один-два щелчка по особо буйным головушкам, и наступала требуемая тишина. Как-то наш «Мамай» — татарин Саит Галиев — вздумал не подчиниться Кольке, и произошло «мамаево побоище», «орда» была посрамлена, и Колькин престиж не пострадал, а «Мамай»-то тоже паренек здоровый!

У нас в классе и училище кого только нет: русские, татары, евреи, поляки, полунемцы и полуфранцузы, а в четвертом классе китаец Кеша Николаев; он крещен и носит фамилию своего крестного отца, у него и живет и им воспитывается. Кеша — хорошенький мальчик, веселый и любит танцы. Как-то в перемену мы около учительской встретили Кешиного отца, китайца — мелкого торговца из соседнего пограничного города Сахаляна, г-на Ли-Пу-Шу, весьма озабоченного и чем-то удрученного. На наш вопрос, что его привело в училище, г-н Ли-Пу-Шу с сокрушением поведал нам:

— Капитана письмо пиши — говори нада. Айя! Кешика, Кешика! Капитана говори: «Какой такой Кешика? Танцуй, танцуй, учиса не хочу!»

Стал наш Кеша «Кешика Танцуй». Кешика Танцуй — поручик артиллерии Первой Мировой войны, отмеченный боевыми наградами, а в нашей памяти добрыми воспоминаниями.

21

ТАРАКАН

Сегодня пятый урок у нас география, а учителя нет, заболел, и казалось бы, что мы имеем полное основание идти по домам, но Марала сказал: «Сидите», и Кольке приказ — «Чтоб было тихо».

Странный сегодня день; все как будто чего-то ждут. Звонок на урок был давно, но ни в одном классе нет учителей. Почему-то все задержались в учительской. Марала какой-то таинственный, и от него ничего не добьешься, у него лишь одно: «Сидите, вам сказано!» . . . Мы томимся в классе, дежурный с журналом под мышкой торчит у дверей и следит за коридором . . .

На улице яркое солнце, и по-весеннему тепло. Густой, чем-то напитанный воздух потоками льется в открытые большие форточки окон нашего класса. Все звуки улицы ясные и по-весеннему радостные. Тяжелые телеги, груженые полосами железа, звенят и скрежещут; от крупных ломовых лошадей идет легкий пар; железные полосы тянутся за телегами и концами вздымают пыль, и она тоже какая-то весенняя, а над городом — купол ясного голубого неба с одним небольшим белым облачком, тоже весенним. Вес-

на и нас тянет на улицы, и по классу сговариваются группы после уроков бежать на реку: как там весна? Там уже давно кипит суетливая жизнь. Наши мечты о предстоящей весне и свободных летних месяцах сейчас неясны; их временами туманит мысль о предстоящих еще экзаменах и заслоняет это счастливое, но пока далекое время.

— Садись! По местам! Таракан идет! — окрик дежурного, и его мордашка озадачена, с выражением: «Благодарю, не ожидал!»

Мы не менее дежурного удивлены и не можем понять — почему Таракан? Ведь урок не его. Надежда пораньше уйти из класса теперь потеряна: Таракан не отпустит, он не таковский, у него поблажек не жди.

Таракан — человек положительный, он у нас преподает естественную историю, но у нас всё не так, как у других; у нас этот курс разбит, как теперь принято говорить, на отдельные дисциплины: ботаника, зоология, минералогия и прочее. У нас учебники — красивые небольшие книжки с рисунками, таблицами в красках. Таракан — областной лесничий, и по возрасту и по чину он всех старше, даже старше нашего директора, и Марала всегда ему первому подает шубу и калоши. Таракан сух, высок, но не спичка; он, наверное, тоже был сильным; а теперь у него длинные рыжие усы — настоящий таракан. У Таракана нет ни первых, ни последних учеников; все идут ровно, и пятерки он ставит лишь на экзаменах, а так и не жди: четыре — и баста. Он нам не урок преподает, а говорит, как бы делится тем, что знает, и ты как будто ему ровня, и можно ему рассказать, что ты видел и знаешь, лишь не ври, и он будет тебе объяснять и еще что-нибудь расскажет, но дрынькать перышками у него не подрынькаешь! Мы его не то что любили или боялись, а просто, возможно, уважали; двоек он не ставил, а взгреет немного и велит к следующему разу подготовить-

ся, и ты все равно не увильнешь. Таракан то ли литвин, то ли поляк, но для нас это все равно: Амур — вольная страна.

— Встать!

Эта команда смущала многих наших учителей, но нас муштрует наш кумир — поручик 35-го Сибирского стрелкового полка, начальник учебной команды, красавец, прекрасный гимнаст, спортсмен Женя Попов, а он что сказал или показал — это уже свято. Всегда веселый и подкупающий, с какой охотой и подъемом он занимается с нами или со своей командой, куда мы — группа любителей аппаратной гимнастики — ходим по воскресным дням или забегаем в неурочное время посмотреть, как работают солдатики. С наступлением теплых дней мы бывали зрителями состязаний в футбол или баскетбол, и везде коноводом был поручик, а мы не жалели рук на аплодисменты!

Таракан, по-видимому машинально, полистал журнал, посмотрел на нас и отошел к окну в сад, и не поймешь — смотрит он или думает . . .

Наш небольшой сад с десятком тополей и каких-то кустов сейчас гол и неуютен. Снег грязный, занесенный пылью, осел, местами протаял до земли и образовал лужицы; валяется откуда-то нанесенная бумага и прошлогодний лист. Созданная нашими скульпторами снежная, когда-то важная дама — не баба, а дама с муфтой и пуделем на веревочке, сейчас состарилась, сгорбилась, осела, вся обветшала, а пудель, по-видимому, подох и лежит на боку в луже воды. В саду нет сейчас ничего привлекательного, и он, около трех часов попав в тень, уже выглядит холодно, а Таракан смотрит . . . Подошел к столу и на нас смотрит . . . Пожалуй, еще начнет спрашивать . . .

— В нашей небольшой библиотеке я знакомился по карточкам с тем, что вы читаете. Судя по одной карточке и по зачитанности страниц, вы увлекались приключенческой повестью в журнале «Природа и люди» — «Охотники за ор-

хидеями». Я хочу предложить вам, вместо того, чтобы целое лето бить баклуши, заняться интересным и полезным делом. Все мы здесь живем в новом, интересном и богатом крае. Что человек знает о нем? Немного и поверхностно. Работают люди науки, работают и их помощники. Почему бы вам не включиться в число этих помощников? Вот вы на каникулы разъедетесь по домам, вы живете не только в городе, разъедетесь и по всему Амуру и по его многочисленным притокам, и, таким образом, охватите огромный район страны. Это уже не секрет, и я вам скажу, в надежде что вы поведете себя достойно: в этом году экзаменов не будет; пришло распоряжение из округа. Вскоре после Пасхи вас распустят, и вот, если вы согласны, то последние свои часы я посвящу для введения вас в намечаемую работу. Подумайте и дайте ответ.

Думали недолго. Сразу раздалось дружное раскатистое «ура!» и возгласы: «Согласны! Согласны!»

22

ЧЕЛОВЕК БЕЗ МУНДИРА

Все последующие уроки естественной истории прошли в дружных и занимательных беседах, показе техники работы по оформлению коллекций и заготовке нужного инвентаря. И вот наш сухой Таракан превратился в доступного, симпатичного и все умеющего Сигизмунда Станиславовича, но во что превратился наш класс?! Бедный «Марала»! Подойдет старик к дверям и с недоумением смотрит на то, что творится . . . и не может понять . . .

«Как это так? Строгий, требовательный учитель, уважаемый господин немалого чина и лет, а теперь заодно с этими сорванцами, а они забыли всякую дисциплину и чуть не хватают его за рукава, и то один, то другой лезет: 'Сигизмунд Станиславович, у меня так?' — 'Посмотрите, как я загнул'. — 'Покажите мне, как!' — 'Мне-е-е покажите!' . . . Это што же? Ну, не моя власть, а то бы я показал вам! Натащили стружек, палок, везде несет столярным клеем, и Сигизмунд Станиславович тоже хорош: снял мундир, повесил на грязную доску, и сам в одной сорочке и подтяжках! Какое же это начальство? Тут, конечно, всякий разбойник полезет к тебе, да еще, чего доброго, и «тыкать» начнет. Не-ет, от этого добра не жди; вот так-то оно всё и идет, всякий ху-

лиганом становится, раз порядка нет...» — и бедный старик, расстроенный «крушением устоев», идет в свой тихий уголок за вешалками.

Мы прослушали три-четыре лекции. В нашем классе три ряда парт, каждая парта на два человека, и класс разбит на три специальные группы.

Первая группа — ЗООЛОГИ. Их задание: насекомые, мелкие пресмыкающиеся, земноводные. Показан ряд небольших коллекций — бабочек, жуков, стрекоз, показаны банки с заспиртованными и в формалине небольшими змеями, ящерицами, тритонами. Объяснен порядок обработки, нумерования и хранения. Дан список необходимых материалов и инструментов.

Вторав группа — БОТАНИКИ. Также ведется показ и объяснение как сбора растений, так и их обработки и размещения на листах.

Третья группа — МИНЕРАЛОГИ, АРХЕОЛОГИ, ГЕОЛОГИ — также получила все необходимые указания и знакомство с образцами.

Наш лучший каллиграф, татарин Вергазов, чертит на доске мелом таблицы из какого-то руководства, надписывает графы, а мы торопливо и старательно заносим всё в свои тетради. Тут надо всё: год, месяц, число, где, какая почва, и примечание — получается что-то вроде учебника, и сам начинаешь проникаться уважением к своей предстоящей работе и к себе, научному сотруднику!

Я — ботаник, и наша группа уже получила прозвище «Травоядные». В большом универсальном магазине города «И. Я. Чурин и Ко.», где можно купить «всё», я нашел в книжном отделении прекрасное руководство по сбору многих видов коллекций, их обработке и оформлению. Это довольно толстая книга, на прекрасной глянцевитой бумаге, со многими чертежами, рисунками и таблицами, и к ней прекрасный атлас — определитель. Руководство стоит рубль

пятьдесят, и атлас — три пятьдесят, итого пять рублей. Пять рублей! Ведь это такая сумма! Но руководство нужное и для меня ценное. Где достать такие деньги? Я чувствую, что только уйди я, и явятся наши ребята, и кто-то купит; у многих родители здесь, и есть такие тузы, что им пять рублей — что чихнуть! У меня есть пятьдесят копеек, но где достать остальные. Правда, я могу уговорить и выкрутить у зятя — мужа моей старшей сестры, у которых я и живу, и он даст: сам любит книгу и садовод-любитель, но когда это будет, и как уйти?

Но что-то надо предпринять. Э! Эврика! У меня здесь друг-приятель! Заведующий сельскохозяйственным отделом г-н Переверзев — старый знакомый: он, под видом ознакомления с работой машин, приобретенных через их фирму, почти каждую осень приезжает к нам, и я его вожу на охоту, мы вместе охотимся или рыбачим, живем в старых пустующих балаганах покосчиков, а то и под открытым небом у костра, варим чай, печем в золе картошку и долго вслушиваемся в звуки осенней ночи. Любуемся ярким мерцанием далеких звезд . . . Где-то высоко тянут кулики и тихо и осторожно переговариваются слабенькими голосами. Прошумела стая каких-то быстрых уток . . . тишина . . . и вдруг сильный одинокий серебристый клик лебедя, и снова все тихо: ночи уже холодные, и ни стрекотания кузнечиков, ни назойливого писка комаров . . . плеснула рыба . . . в болоте промычала выпь . . . Где-то далеко в сопках завыл волк . . . И после всего этого мы не можем считаться приятелями? Иду, и попрошу у него четыре с полтиной!

Контора скобяных складов при больших, высоких пакгаузах. Здесь всегда как-то сумрачно, прохладно, и какой-то свой особенный запах. Я у дверей конторы и вижу через большое, без переплетов, окно сидящего за столом моего спарщика по охоте, но почему-то робею и полон сомнений: «А вдруг он меня не узнает! А если не даст? И вот эти, дру-

гие служащие, что сидят за своими столами, поднимут меня на смех. Но уйти — значит отказаться от книги и атласа!»

— Ко мне? Прошу, молодой человек. Как дела, и чем вызван ваш визит? Скоро домой и на охоту? Завидую, брат, тебе!

Я не отвечаю на вопросы, а путанно и бестолково начинаю говорить о книге, и что мне надо собирать гербарий, а у меня не хватает денег, и прошу рубль! . .

— Ну,ну! Постой, садись и говори толком; в чем дело, куда тебе рубль?

Вижу, что дело клюнуло, но надо же было брякнуть «рубль»! Просить теперь больше? Нет, неловко . . . И я с сожалением в душе и злясь на свою робость, повторяю и объясняю, что мне надо купить книгу, которая лишь одна, и ее сейчас могут купить другие ребята, а у меня не хватает денег. «Эх, язык мой — враг мой! Дернуло же его: рубль!»

Вручая мне этот несчастный рубль, Переверзев говорит:

— Получай! С отдачей не торопись: увидимся и сочтемся. Осенью опять приеду к тебе и привезу, брат, тебе щенка; будешь растить и воспитывать собаку, а щенки должны быть добрые. Ну, беги, а то ухватят у тебя из-под носа!

Книга — в руках, и атлас не продан, и я лечу домой в надежде достать там эти три с полтиной. Бегу . . . а эти восемь-десять кварталов вытянулись, как никогда.

Это всегда так: когда что нужно до зареза, то обязательно все получится не так, как надо! Зять обычно приходит со службы около пяти, и можно еще успеть купить атлас сегодня; так нет, как на зло, его куда-то занесло, или задержался на службе. На мои приставания к сестре — «дай три с полтиной» — и все доводы, одно: «Жди, когда придет Алексей Михайлович» — «Да ведь опоздаю!» — «Не опоздаешь, а и опоздаешь, так тоже не велика важность». Вот тут и поговори! . . Алексей Михайлович вернулся домой около восьми, и мое дело провалилось: атлас купил Ванюшка Ту-

зов. Этот парень всегда с деньгой: у них свои пароходы, и отец всегда в городе, дома. Ванюшка торгует у меня книгу и дает полтинник лишний, а я уговариваю его уступить мне атлас, но дело не выгорело — не сошлись. Я, собственно не знаю, так ли мне необходим атлас, но он такой красивый, и всё бы вместе было бы хорошо, но и на том спасибо. На заем у зятя накупил бумаги — и «царской» и особой мягкой, фильтровальной, сухого гуммиарабика и прочего.

На последнем нашем собрании — это не был ни урок, ни лекция — наши горожане обратились к Сигизмунду Станиславовичу с тревожным вопросом: что они смогут сделать в условиях города, какое у них поле деятельности? Тот успокоил их тем, что и в городе и в его окрестностях можно при старании выполнить свою работу, и на субботу этой недели назначил для всех экскурсию — учебный поход.

Солнце не так уж высоко поднялось над горизонтом, как все участники похода собрались на сборном пункте за городом на берегу Амура, около артиллерийских лагерей. Каждый участник экспедиции снарядился, как мог и как считал нужным, и при всем своем «вооружении» для работы по своей специальности: сачки для ловли насекомых, коробочки, лопаточки, сумки и многое такое, чего и не нужно, но всех сразил Колька! Высокие болотные сапоги, пусть старые, латанные, но с ремешками! За спиной старый солдатский ранец; при поясе небольшая лопата; брезентовый плащ скатан в тугую скатку и пристегнут ремешками к ранцу, и еще медный начищенный котелок, но это еще не все! А главно то, что Колька немногим сообщил по секрету и пригрозил кулаком, в ранце у Кольки пистолет! Пистолет он купил на барахолке, где и ранец.

В таких вопросах поверить на слово трудно, и мы идем за веранду лагерного офицерского собрания и там, выставив дозорных, рассматриваем это орудие — большой старинный Смит-и-Вессон. Пистолет подвергся уже основательной чи-

стке кирпичом и смазан маслом. Вещь внушительная, и, пожалуй, не бесполезная, так как Колька будет работать в районе города, но Колька озабочен: где достать патроны?

Пришел и Сигизмунд Станиславович. Он тоже в высоких сапогах, в желтой бобриковой курточке, обшитой по воротнику и карманам зеленым кантом. На курточке два ряда медных пуговиц — кабаньих голов; на небольшой фетровой шляпе — тетеревиное перо; он охотник. Но Колька-то, Колька! . .

Сегодня наша экскурсия не продолжительная и не добычливая. Солнечное теплое утро скоро сменилось пасмур ным днем. Набежали серые тучи, подул холодный ветер, и стало все серо и не интересно. Потемнели горы на китайской стороне. Посинел лед, еще крепко сковывающий реку. Посерели прошлогодние травы у нас под ногами. Посинели и наши лица от холода . . . Скучно! Вскоре мы повернули домой . . .

23

РЕЧНОЙ ПОРТ

Нас распустили по домам уже несколько дней тому назад, и те, кому ехать (а путь один — реки), томятся и ждут вскрытия Амура и его многочисленных притоков.

Всё обошлось — слава Богу! На осень «никаких испанцев! Кончил дело — гуляй смело». Правда, «немец» рекомендовал за лето подтянуться по грамматике и подзубрить слова, но как бы не так! Есть дела и поважнее, и книг с собой я брать не буду! .. Целое лето впереди! Как легко на душе! И вообще легко! Ноги не ходят, а носят, и ты как бы летаешь, и в тебе что-то поет ... Что сотворить? Стать на голову? .. Пройтись колесом на руках? ... Нет! Лучше еще раз слетаю на берег! ..

Амур подо льдом, и какой-то он сейчас неприглядный, неряшливый и грязный — между двух берегов, между двух городов, с вереницами по одной стороне мачт китайских джонок, по другой — труб пароходов. Куда ни взглянешь — кучи мусора, черные полосы подтаявших дорог. Стаи ворон с криком переносятся с места на место, бродят собаки ... Но река живет!

Берега полны звуков, запахов, и везде гуляет весенний ветерок. На том и другом берегу непонятные голоса, зву-

ки . . . стук молотков, лязг железа. Запахи: наносит дымком, горьким запахом кипящего масла, смолы, свежих красок, и все это слилось в кипучий муравейник жизни речного порта . . .

До навигации еще далеко. Мне, неизменному пассажиру одной, и самой крупной, пароходной компании, не нужно ходить и искать стоянки парохода; у меня всё постоянно, определенно и солидно — всё всегда на своем месте. О! Пароходы «Амурского Общества пароходства и торговли» — самые лучшие почтово-пассажирские, с точным расписанием и всегда одной, приятной, установленной окраски, все «Бельгийцы»; но я толкусь вместе с ребятами во всей этой сутолоке на берегу в атмосфере общего ожидания — ожидания каких-то перемен и чего-то нового, радостного.

Мы стайкой бродим между штабелей груза: бочек, ящиков и кип, среди дымящих и звенящих наковалнями передвижных кузниц, среди еще не убранных верстаков, среди телег ломовых извозчиков, бродим в дыму и пыли и разнообразном шуме и грохоте работ и сваливаемого груза, увертываясь от громадных тюков и ящиков на спинах грузчиков, и нас никто не гонит и не кричит на нас, все почему-то веселые и радостные — пыльные, потные и все какие-то свои. Веселые шутки, меткие словечки . . .

— Что, стрикулисты, домой надо? Скоро, скоро, как взломает, так и покатите за льдом! Дома-то мамка лепешек напечет; за зиму-то у хозяек на картошке, небось, отощали?

Здесь пристроился и ряд всевозможных «предприятий» обжорного ряда. Ароматы . . . слюнки текут! . . Пироги, пирожки — с рыбой, с мясом, с капустой, с картошкой; есть и поосновательней стол: щи с мясом и салат — соленые огурцы и, если желает, красный перец. Продают чай, бублики, калачи, да и вообще, что ты хочешь! . . Мы больше любим мясные пирожки с «осердием» (рубленое легкое, сердце и печенка): пятак пара, и такие большие, жирные и

горячие, что «любо-дорого», только ешь скорее, а то на ветру жир скоро стынет и пропадает зря. Хотя Пасха прошла, но весна, и у нас на душе все еще праздник.

Идем на мол, за которым трусливо укрылись от весеннего ледохода пароходы, сбившись в тесную стайку. Пароходы все уже одолблены — освобождены от льда — и стоят на «городках», толстых коротких бревнах, сложенных клеткой, и ждут воды, чтобы всплыть. Трубы пароходов не дымят и котлы еще холодные, и надо ждать . . .

24

ЛЕДОХОД

Стук ставень моего окна и шум деревьев в саду разбудили меня. Сильные порывы ветра метались за окном... «Амур пошел!» Бомбой вылетаю из-под теплого одеяла и, торопливо одевшись, чтобы никого не будить, тихо выхожу по черному ходу в сад. Восток только что начал алеть. Город спит. Ворота и калитка на замке, но это не преграда; перекладины высокого забора, за которым улица — прекрасная лестница, и я уже на вершине его. Перекинувшись на другую сторону и повиснув на руках, спрыгиваю на землю и бегу. Бегу я не один: то там, то тут хлопают калитки, и закутанные в теплое пальто фигуры спешат к реке.

Через четыре дома от нас живет у своей бабушки зимним постояльцем мой двоюродный братишка, гимназист моего возраста, Петюшка. Не успел я подбежать к их воротам, как из калитки выскакивает Петух и его дядя — здоровый парень Иван. Иван — ученик ремесленного училища, мастер на все руки, заядлый рыбак, смирный, покладистый и носит у нас прозвище «Тихоня». Петька, увидев меня, кричит:

— Эй, ты, желтая говядина, Амур пошел!

— Без тебя знаю, крохаль!

— «Знаю!» Много ты знаешь, травоядный! Ну, дуем скорей!

И мы летим со всех ног, как бы боясь опоздать. На бегу Петр, задыхаясь, сообщает мне последние свои новости:

— Тихоня, не отставай! Вчера от батьки письмо . . . дробь чтобы купил . . . деньги прислал . . . Пуд надо . . . у Кунста купил . . . нолевку, третий и бекасинник . . . Заведующий старик-немец посоветовал . . . отец-то не написал. Мама пишет — у Астры щенята . . . четыре . . . Если ты дашь мне руководство, чучела буду набивать . . . дам тебе щенка.

— Ладно . . . только кобелька, а сучонки не надо . . . Тихоня, не отставай!

Мы не первые. На молу и по берегу, укрываясь от ветра, там и тут группы людей. Это большей частью рыбаки, охотники и любители реки и природы. Около пароходов еще не начиналась жизнь, и, кроме сонных фигур ночных сторожей, никого не видно.

Мы — на мол. Здесь гуляют порывы ветра и чуть не сбивают с ног; здесь весело, и всё видно . . .

Какие-то два господина в одинаковых серых легких пальто, с теплыми красными шарфами на шеях, жмутся к толстым перилам мола и стараются найти какую-то защиту от ветра . . . Они мерзнут и держат руками свои фетровые шляпы, часто поворачиваются, подставляя ветру то спину, то грудь, и становятся смешными: то толстыми-толстыми, то тонкими-тонкими, и полы их пальто треплет ветер. Это не наши горожане, это — или немцы, или американцы, которых немало наезжает в наш край.

За пожарной водокачкой уже толпа хорошо укрылась от ветра. Вот в теплой шапке, с поднятым воротником наш учитель рисования «Голубь» — художник Панов, маленький, едкий, но уже «известность»: о нем мы читали в «Ниве», а потом любовались его полотнами картин Амура. Но нам все они здесь не компания, и мы пробираемся на самый

конец мола. Здесь порывы ветра еще сильней, но толстый бетонный причальный столб дал нам небольшую защиту, и мы, прижавшись друг к другу, сидим . . .

Солнце только что подымается над горизонтом. Оно еще не греет: Амур скован и стоит, была лишь небольшая передвижка, но надо ждать: его может взломать сейчас, или через день-два, и ждут, чтобы не пропустить этого зрелища.

Солнце уже высоко, и жизнь около пароходов кипит — еще больше шума, стука, лязга и человеческих голосов. Зрители на молу и набережной сменяются; одни, махнув рукой, пошли по домам, подходят новые. Мы и Голубь, как прикованные, ждем и будем ждать . . . Уже не холодно, и ветер стихает, и его теперь слабые порывы уже приятны . . . Хочется есть, но как уйти? Тянем жребий, кому бежать домой за хлебом . . . — Петуху! . . .

Петух явился быстро с краюхой хлеба и ломтем соленого сала, и у нас пир горой — вкусно, тепло, и все видно, как на ладони. Вот у самых наших ног, уткнувшись носом в мол, стоит, блестя свежей покраской, «Кочубей»; за ним, ближе к берегу, «Нигидалец», а там еще пароходы, баржи. На переднем балконе второй палубы «Кочубея» расположился в тиши на солнышке матрос; он без рубахи, по-летнему в одной полосатой тельняшке. Он занят делом: четко и сочно пишет на спасательных кругах «Кочубей» и, по-видимому, доволен и увлечен этой работой: полюбуется, подправит и берется за новый круг. Его старая бескозырка, как палитра замазанная разными красками, сдвинута на затылок, он что-то насвистывает или тихо напевает — он живет хорошим радостным весенним днем . . .

Матрос кричит в нашу сторону:

— Зея поднаперла! Это она рванула! Вы, ребята, дуйте на Усть-Зею; там, брат, теперь война — столпотворение вавилонское!

Нам ног не занимать и легких хватит, и мы несемся по набережной через весь город, Не пробежали мы и половины расстояния, как нас обогнал на извозчике Голубь. Широкая песчаная коса, поросшая лозняком, далеко уходит, отделяя два течения могучих рек. Здесь пустынно, нет человеческого жилья, и лишь один низкий, темный, старый рыбацкий барак, на плоской крыше которого навалены какие-то доски, весла и багры. В стороне и ближе к воде две-три лодки, перевернутые вверх дном, и их сейчас два бородатых мужика смолят горячей смолой. Ветер здесь гуляет на просторе, метет мелкий песок, треплет лозняк, а лед наползает на отлогий берег, громоздится в высокие валы, мокрый, грязный.

А там, далеко, где встретились две реки, действительно идет бой: зейские льды, напирая на льды Амура, жмут их и громоздят на китайский берег, но Амур готов постоять за себя и в свою очередь выметывает толстые большие льды Зеи на русский берег. А на сшибе двух течений идет рукопашный бой: льды сталкиваются, опрокидываются и, пораженные, рассыпаются со звоном и шумом или с каким-то тяжелым стоном оседают и уходят в пучину всплесков мутных весенних вод. Побежденные, побитые льды уносятся сплошным потоком, а новые все наползают, и, кажется, этой борьбе не будет конца. Все пространство, что охватывает глаз на слиянии двух рек, покрыто движущимися льдами, и нет зеркальца свободной воды. Стайка каких-то мелких уточек мечется над этим морем льда, по-видимому отыскивая свободную воду, но ее нет, и стайка то взовьется мечущимся клубком в лазурную высь, то тонкой бисерной ниткой быстро падает к мелькнувшей воде, но уже поздно: льды замкнули воды, и стайка, бедная, снова тянется над самыми льдами или взмывает ввысь.

Здесь на просторе ветер — не тетка, и нас начинает пробирать дрожь. Голубь, сидевший за бараком, давно уехал

на своем извозчике, пора и нам, голодным холодным и уставшим, шагать до дома . . .

Три-четыре томительных дня ожидания первых рейсов пароходов. Каждое утро, правда, теперь спешить не надо; картина ледохода все та же и нам наскучила, мы толчемся среди портовой сутолоки. Пароходы уже на воде, на плаву, городки убраны и сложены в штабеля на берегу, трубы дымят — душа судов уже живет и бьется ритмичным пульсом. Колеса оснащаются широкими, большими и тяжелыми гребками — плицами. По сходням, трапам вереницы грузчиков, пригибаясь под тяжестью, какой-то танцующей, торопливой походкой, с веселыми прибаутками переносят грузы и заполняют ими глубокие трюмы пароходов и барж. Шумно, весело сейчас в порту; все ожило от долгой зимней спячки: река, люди, еще голые деревья бульваров, стайки голубей, торговки со своими самоварами, калачами, жареной печонкой, пирогами и многими другими аппетитными, соблазнительными прелестями.

Внизу у мола, на последних площадках узких трапов уже сидят неподвижные, угрюмые, закутанные в шарфы фигуры заядлых рыбаков. По молу расхаживает наш старый знакомый — немой Федя. Он и в эту весну, как и всегда, возобновил свое предприятие — продажу рыболовных снастей. Весь товар его магазина размещен на продавце: толстый пук березовых, таловых удилищ на плече; в сумках крючки, грузила, наплавы; к ремню, надетому через плечо, навешены мотки разной длины, толщины и сорта лесок. Цены без запроса, качество товара всем известно и не вызывает никаких сомнений; Федю здесь знает каждый рыбак, «фирма» известна, солидна, и начинающий рыбак может рассчитывать на недолгосрочный кредит.

День ото дня льды на реке редеют, чаще видны большие площади открытых вод. Льды идут большими полями, но

идут не задерживаясь, не налезая на берега, как бы спешат закончить начатое дело: «Сроки не ждут».

Там, за молом, идет жизнь, и всё готовится к первому далекому пути, а на месте нашей пристани, от которой во все концы побегут красивые, солидные, однообразно крашеные пароходы, тихо и пусто.

Когда же, наконец? . .

Красивая, свежая, горящая большими окнами, пахнущая краской пристань стоит на своем обычном месте. Появилась она, как в сказке: по-видимому в прошедшую ночь привели ее из Игнашинского затона, где зимует весь флот Общества, где у него обширные мастерские, склады и всё необходимое в корабельном деле оборудование.

Пристань пришла — ну, теперь уже скоро; если не завтра, то послезавтра. И мы с братишкой Петром робко шагаем по широким трапам к знакомому окошечку кассы. Но окошечко закрыто, и за ним не видно тоже знакомого кассира.

25

ВСЛЕД ЗА ЛЬДОМ

Пристань пришла, и уж теперь скоро . . . Надо сейчас же озаботиться о билетах, и мы с Петухом опять шагаем по широкому трапу пристани. Трап застлан толстым ковром-матом, который вы можете встретить лишь на пароходах, и который уже создает у вас настроение и нетерпеливое ожидание предстоящего плавания . . .

Направо, занимая чуть не треть пристани, — контора, но там сейчас никого нет, и лишь за широкими чистыми окнами видны ряды письменных столов, да молодая особа в синем, в белом передничке и с белой наколкой на голове бойко переходит от стола к столу и метелкой из петушиных перьев наводит какой-то еще порядок. Мы — к отделению кассы и приемки багажа, но и здесь нет никого, и за стеклом окошечка кассы мы не видим постоянного нашего «супротивника» — ворчливого старикана кассира. И чего они тянут?

Матрос с громадной сырой шваброй на плече тоже где-то намеревается наводить лоск. Мы к нему:

— Когда вниз пойдет?

— Когда вниз? А вот — как пойдет, то и пойдет.

— Да когда? Когда билеты продавать будут?

— Когда да когда! А вот когда будут, то и будут. Что домой торопитесь? Блины со сметаной есть? .. Успеете .. Надо полагать, что не завтра, так послезавтра, а вы вечерком наведайтесь; может, объявят. Вон льду-то почти и нет, а как придет с верховья телеграмма, так сразу будет видно, когда идти; нам-то тоже тянуть не рука. Я тоже пойду. На пристань меня зачислили на эту навигацию, да как бы не так! Буду я тут киснуть! Заявление подал, а нет — так другого ищите, а я слуга покорный, цыплят выводить не буду!

— А какой пойдет первый?

— Ну, это в конторе спрашивайте, а пока это нашему брату неизвестно; но пойдет из больших: и грузу скопилось, и пассажиров немало — всему место надо, да и первый рейс. Знай наших!

Завтра! Когда это еще будет — завтра! Вы думаете, уехать, уехать с комфортом, как мы мечтаем, легко? Сколько тут нужно изворотливости и математики!

Билет 2-го класса — рубль пятьдесят; нам, ученикам, 50 процентов скидки, значит, экономия семьдесят пять копеек. Теперь на носильщика — полтинник, но нам поможет «Тихоня», и платить не надо: значит, еще пятьдесят копеек, и это уже все вместе рубль двадцать пять, что и требуется на завтрак и обед в кают-компании 2-го класса. Вы обедали на пароходе? Где так всё вкусно? Есть из-за чего добиться билета второго класса! Нам, едущим на короткое расстояние, мест в каютах не дают, но есть билеты второго класса палубные (когда большой наплыв пассажиров); но вредный старикан-кассир и их нам без боя не дает, ворчит, как барсук в норе:

— Нечего отцовские деньги мотать, не великие господа, и в третьем доедете! Давайте по шестьдесят копеек с носа и не разговаривайте!

Ну, да не на тех нарвался: все равно вынудим, не в первый раз едем.

Билеты в кармане, и с плеч свалилась гора! Завтра идет «Цесаревич»! Лафа!

У нас все в полной готовности: багаж давно увязан и стаскан к дверям, на него все натыкаются, ворчат и не дождутся, когда я уеду.

«Ну, и уеду! Пожалуйста! Еще вспомните! Мне тоже с вами не ребят крестить!»

Наш план — вместо «подорожников», разных там плюшек и завертушек, вкрутую вареных яиц — получить наличными, сорвался. Ну, что ж: подорожники тоже ничего: уж наверное там будет что-то сладкое и вкусное, а это между делом пожевать тоже неплохо.

. . . Ведь вот, и весенняя ночь, а какая долгая, конца-края нет, и сна нет; тревога — как бы не проспать: пароход отходит в восемь утра.

Задолго до семи поднял весь дом. Хочешь тихо, а получается шумно: то наткнешься на стул, то дверь никогда не скрипела, а тут пищит, как кошка. В общем, «с музыкой» выехали, чьи-то услужливые руки вытолкали весь мой багаж за дверь.

Извозчик заказан с вечера, и мы в начале восьмого уже на пароходе, и при содействии «Тихони» весь багаж перенесен и уложен в укромном уголке второй палубы; у нас билеты второго класса, и вахтенный матрос, внимательно посмотрел на них, вернул нам и ничего не сказал: имеем полное право!

«Цесаревич» — как только что из бани: чистый, блестящий, и к запаху свежей краски еще примешивается знакомый нам запах отработанных паров машинного отделения. Пассажиров еще мало. Мы уже раза три обошли по своей палубе вокруг всего парохода. Идем, смотрим за борт, смотрим в каждое окно кают, но некоторые окна кают, где уже вселились пассажиры, довольно нелюбезно задергиваются шторами перед самыми нашими носами. Да тут и без них

есть на что посмотреть: вот на корме на нижней палубе большой курятник, и там полно кур, уток и гусей — это все для господ пассажиров; за курятником в тесном стойле два бычка: путь-то до Николаевска не близкий. Внизу под нами грохочет и гремит железная палуба: идет погрузка багажа и и груза. По особому «черному» трапу — вереница носильщиков с мешками, ящиками, тяжелыми свертками на спинах . . .

Время идет, пассажиры уже довольно густым ручейком текут на пароход, а те, кто уже устроился по своим местам, стоят группами. Все какие-то радостные и оживленные, и не поймешь, кто едет, кто провожает . . .

Густой, мощный с подголосками гудок ударил по ушам и, кажется, потряс всю вселенную. Многие ладонями закрыли уши и после гудка плохо слышат и, говоря, кричат . . . На палубе в сторону пристани уже тесно, и какая-то неразбериха . . . Второй гудок, и все что-то волнуются, по десять раз прощаются, враз говорят, а кто и слезу пустил; ищут карандаши и начинают писать друг другу адреса, как будто раньше не имели времени — смехота! . . Смехота-то смехота, а вот нам прощаться лишь с «Тихоней», но мы тоже волнуемся и тоже уж не раз жали ему руку и приглашали приехать к нам.

Молодой щеголь, расшитый галунами, в фуражке с белым верхом и затейливой кокардой, любезно, но часто повторяет:

— Господ провожающих прошу сойти на пристань; пароход отчаливает через две минуты; покорнейше прошу!

И идет по всей палубе со своей песенкой: «Господ провожающих» . . .

Уцепились друг за друга — и никто ни с места . . .

Третий гудок настойчиво и продолжительно оповещает об отходе, и все поровожающие, чуть не наступая друг другу на пятки, ринулись вниз, а отъезжающие лезут в карма-

ны и сумки за платками для последнего прощального салюта.

С капитанского мостика какие-то команды. Внизу — быстрый бег ног матросов. Звонки сигнального телеграфа в машинном отделении. Тяжелые вздохи и шлепки скрытых от глаз колес. Пристань поехала куда-то за корму и уходит все дальше и дальше от нас, мельчая и пестрея теперь уже неузнаваемыми лицами и линией белых платочков.

Пароход описывает широкую дугу и, дав три коротких прощальных гудка, направляется вниз по Амуру в свой первый рейс в этом году.

Пассажиры — те, кто по-видимому не были связаны с городом, а лишь имели временное пребывание в ожидании пароходных рейсов, разошлись по каютам, а кто уже сидит в салоне первого класса, и лишь мы и еще несколько человек не можем расстаться со знакомыми местами . . .

Пожилая дама с седеющими волосами, с влажным платочком, которым она то вытирает глаза, то кому-то машет . . . По набережной, состязаясь с пароходом, крупный белый рысак, широко и далеко выбрасывая ноги, несет пролетку, и там мелькает чей-то белый платочек . . . Но вот «Сад Туристов», и дальше рысаку нет ходу, и дама, постояв еще минуту, ушла в каюту, а перед нами плывут все еще знакомые места: вот казармы и строения мастерских водного министерства, а за ними видны высокие мачты канонерок амурской военной флотилии, потом тянутся лозняки, что на большом песчаном плёсе, где стоит рыбацкое зимовье. Лодка, которую во время первого дня ледохода смолили мужики, сейчас болтается далеко на тихой зыби реки — заводят невод. На косе — нагромождение больших, грязных ледяных глыб, а за ними уже видна Зея. Мы ждем момента, когда Зея развернется перед нами всей своей ширью, когда две струи могучих рек встретятся и пойдут рядом, долго не теряя каждая своего обычного цвета вод.

Мы на излюбленной позиции — переднем, носовом балконе палубы. Холодный, резкий ветерок, усиленный ходом парохода, заставляет застегнуть наши шинели на все пуговицы. Мерзнут руки, но мы стойко переносим и ветер, и холод, не желая упустить картины весенней жизни реки. Берега здесь равнинные и с той и с другой стороны, и нет ничего интересного, кроме завалов вытесненного на плёса грязного льда, но сама река полна жизни: куда ни взглянешь, сидят стаи разнообразных уток, подымаются на крыло, кружат и перелетают, уступая дорогу нам. Стаи гусей сидят на прибитых к берегу больших льдинах, полощутся в воде; черные бакланы точками разбросаны по гладкой поверхности и то исчезают, ныряя в глубины мутных весенних вод, то вновь появляются в стороне от парохода.

Все это население временное, на отдыхе после тяжелого и длительного перелета через горную страну — Малый Хинган. День, два, три — и, подкрепив силы и промыв и приведя в порядок перо, соберутся в дальнейший путь, и каждый потянет своим характерным строем. Утка, сейчас разбившаяся для кормежки на небольшие стаи, вновь соберется на реке и в одно прекрасное утро вдруг, как по команде, подымется беспорядочной многотысячной стаей, с шумом сделает два-три виража, взмоет в высоту, разберется по породам, каждая из которых построит свой походный порядок, и на разных высотах вновь пойдет через леса и горы к своей заветной цели — далекой тундре. Самые шумные и многочисленные стаи нашей дальневосточной, небольшой, но удивительно складной и по-своему красивой утки — «клоктун», — совьются не в стаи, а в тучи, с грохочущим шумом взмоют густым черным клубом высоко в ясную лазурь, камнем упадут вновь почти до воды, опять взмоют и там, в высоте, развернув кружевной фронт от горизонта до горизонта, отправятся в дальнейший путь. «Счастливого пути!»

Гуси — народ содидный, степенный, и у них свой распорядок. Возможно что не утерпят и пустятся вслед за отбывающими стаями уток, но без шума, гама и сутолоки. Вдруг, сидевшая на кромке длинной песчаной косы стая, по какому-то сигналу подымется и всем фронтом низко потянет над водой к противоположному берегу, но, не долетая до него, перестроится «справа по одному» и начнет набирать высоту . . . Новая команда вожака — и четко и неторопливо построена походная колонна, всем известный гусиный треугольник; четко, деловито и медленно, но уверенно и сильно, работают крылья. «И вам счастливый пут!»

Остальная братия — бакланы, гагары, чайки, кулички разные и другая мелоч; когда и как они появляются, как и когда уходят дальше — мы не знаем: не приходилось за нашу жизнь видеть.

Пароход не развивает полной своей скорости, идет осторожно, и на командном мостике внимательные и зоркие глаза следят за поверхностью воды, опасаясь предательских льдин. Льдины уже обтаяли и омыты водами, потеряли свой, так хорошо видимый, снежный покров и сейчас, блестящие, прозрачные как воды, трудно отличимы и несут немалую опасность судам; их подводные части иногда глубоко скрыты, и их площадь и мощь нелегко определить. Вот почему почти весь командный состав парохода сейчас на ходовом мостике. Сейчас эти щеголи выглядят сумрачно и неуклюже; они в теплых сапогах из шкуры нерпы, в таких же толстых куртках, и лишь синие, без белого верха фуражки с кокардами говорят об их положении на корабле. Вот, повидимому старший, вращает рычаг телеграфа в машинное отделение и что-то командует в сторону рулевых, и пароход послушно замедляет ход, меняет немного направление, и мы видим, как вдоль борта уходит и остается позади нас громадная, блестящая как стекло, коварная чудовище-льдина . . .

Осторожный ход парохода начинает нас беспокоить, так как он нарушает все наши рассчеты. Нормально мы должны были прибыть домой в восемь вечера, но теперь по ходу мы видим, что значительно запоздаем, и нас берет беспокойство: «Придет ли кто встретить нас и помочь нам с багажом?» О нашем приезде в этот день не уведомлены, телеграммы мы не давали: «Не велики господа, и так доедете!»

Вот на левом, русском, берегу какие-то постройки и казарма военного поста — пост Марии Магдалины, возникший со дней боксерского восстания. Пароход замедляет, а потом стопорит ход, и с левого борта скрипят тали — быстро и ловко спускается большая шлюпка с гребцами и летит к берегу, широко разбрасывая две пары длинных весел: доставляет почту. Матросы гребут лихо, с вывертом, по-морскому, чувствуя, что ими любуются пассажиры с парохода. Шлюпка вернулась, поднята на место, и снова равномерный шум колес . . .

Звонок! Призыв на завтрак. Китайчонок-бой, в накрахмаленной белой курточке, с блестящим звноком-колоколом обходит палубу, объявляя о времени завтрака.

Мы спешим, боясь опоздать и не получить место за столом; бежим и сбрасываем шинели на наш багаж, оправляем в аккуратные складки на спине свои форменные рубашки, подтягиваем пояса с блестящими пряжками и, пятерней пригладив головы, стриженные «под польку', степенно шествуем в кают-компанию. Коридор в расположении кают выстлан мягким ковром, медь дверных ручек и табличек номеров — все горит и блещет, какой-то особый свой запах помещения, уже не раз знакомый нам, волнует нас. Большой общий стол и несколько отдельных малых со своими стульями и креслами заполняют просторное помещение, большие чистые окна льют яркий свет весеннего солнца. Столы накрыты белыми туго накрахмаленными скатертями

и сверкают приборами — тарелками, тарелочками, ножами, вилками и хрустальными судками . . .

Наши опасения были не напрасны, и за общим столом мы заняли последние два стула в одном конце стола по правую и левую руку случайной нашей соседки — пожилой солидной дамы, и как-то сразу попали под ее покровительство, о чем нам не пришлось жалеть. Вкусные блюда внимательно и щедро подкладываются на наши тарелки любезной соседкой, с приветливым приглашением: «Кушайте, мальчики! Кушайте, как следует, не стесняйтесь!» И мальчики кушают и не стесняются, благо что ни за чем тянуться самим не нужно, и можно показать всю свою скромность, а аппетит? — аппетит взлелеян еще давнишней мечтой!

Отдельные столики тоже заняты: там разместились семьи, а один столик занят двумя солидными, с подстриженными бородами, господами. Эти два нам уже примелькались: как только пароход отошел от пристани, они все время вместе. Шагают по палубе, держа друг друга под руку, или, остановившись, разводят руками, меняя поминутно выражения своих лиц, то удивленных, то каких-то вопросительных, и снова под руку, и снова шагают, и говорят, и говорят . . . Если им не уступить дорогу, то они отдавят вам ногу и не заметят. Они, как нам кажется, не видят ни берегов, ни реки, ни утиных стай и не знают, где мы плывем. Они смешат нас с Петухом и у публики вызывают улыбки.

Сейчас они в широких креслах за отдельным столиком и, по-видимому прийдя в себя, взглянули на сервировку стола, поманили пальцем прислуживающего боя, что-то ему шепнули, и тот вскоре подал им небольшой поднос с какими-то закусками и графинчиком водки, и они снова заговорили, как токующие глухари.

Передо мной почти во всю стену окно. Окно выходит на кормовую часть парохода, и в нем течет беспрерывно сменяющаяся картина: две вспененные колесами парохода

струи сливаются в одну, быстро уходят вдаль, превращаясь в волны, которые как бы спешат нагнать пароход, но не могут; возникают все новые и новые, а отставшие смиряются и расходятся в стороны, к берегам. Берега тоже куда-то спешат, и там, далеко, кажется, сходятся. Иногда один берег спешит исчезнуть, а другой закрыть позади нас реку, и создается какое-то странное ощущение, но, сообразив, понимаешь, что это пароход меняет направление.

Уф! Хорошо позавтракали . . . Все вкусно, и ешь — не хочу!

Вставая из-за стола, наша соседка и покровительница спрашивает нас:

— Вы, мальчики, будете обедать?

— Будем!

— Так эти места будут за вами.

На реке та же картина. Равнинные берега. Местами небольшие рощи тополей или полосы прибрежных тальников. Горы китайской стороны отошли далеко и чуть синеют в какой-то дымке. Русский берег — сплошная равнина Зазейского района, занявшего колоссальный клин, ушедший по Амуру на многие сотни верст. Ни хуторов, ни сел, ни деревень с парохода не видно; они отступили здесь подальше от реки на места более возвышенные, но мы по своим зимним поездкам домой прекрасно знаем, как эта плодородная часть страны населена, разработана и живет благополучной жизнью.

Прошли китайский город, вошедший в историю края заключением Айгунского договора. Город не город, деревня не деревня, плоский низкий и глинисто-серый со своими типичными стройками китайских фанз; но это административный центр целого обширного края. Сейчас здесь на берегу тоже жизнь: стоят уже спущенные на воду и готовые к отплытию большие джонки. Около них видна какая-то суета, по-видимому грузятся. Стайки ребятишек, уже наполовину

голых, толкутся около воды, что-то кричат и машут пароходу, приветствуя с ним весну и начало жизни на реке . . . Айгун — это мы прошли лишь сорок пять верст! Когда же будем дома? На наш вопрос к вахтенному матросу, что стоит у трапа на нижней палубе, когда мы будем в Поярково, получаем нелюбезный ответ:

— Сегодня.

Дурак! Без него знаем, что сегодня, но когда?

Гуси, утки, однообразные берега нам уже наскучили, но на пароходе тоже немало интересного, и мы идем на нижнюю палубу. Третий класс . . .

Здесь жизнь оживленней и интересней. Народу — хоть отбавляй, и местами среди сидящих, лежащих, узлов, мешков еле пробираешься. Вкусно пахнет матросскими щами, что вы тоже можете получить за небольшую плату, придя к повару со своей посудой. Вот артель человек пять, здоровых, бородатых, в широких плисовых шароварах и тяжелых подкованных сапогах, рубахах-косоворотках, сидит прямо на палубе и из большого матросского бачка истово и степенно ест щи; от них попахивает спиртом, но выпито, повидимому, в меру. На пароходе у всех хороший аппетит. Все что-то жуют или, уже напитавшись, «балуются» чайком, в дороге — с сахаром, и лишь китайцы молча, неподвижно, как темные непонятные птицы, сидят в сторонке и дымят своими трубками. Вот японская семья — отец, мать и куча ребят, закутанных в кургузые ватные курмы; эти, по-видимому, направляются навестить свою теплую родину. Корейцы — белые лебеди — необщительный, замкнутый и малосимпатичный народ.

Третий класс — как Ноев ковчег: на корме, кроме двух бычков, кур, поросят, еще в ящике чья-то охотничья собака. Скулит, бедная; боится, что потеряла хозяина. Надо потом ей что-нибудь принести вкусное. Пристроившись к какой-то теплой стенке над котельным отделением, сидят три-четыре

бабы и тоже жуют. Жуют вареные вкрутую яйца, жуют не торопясь, чинно и о чем-то шепчутся. За их спинами сладко спит молодуха, а ее «малый» готов лопнуть от продолжительного неистового рева, но это никому не мешает, никого не беспокоит: в жизни все идет своим чередом . . .

Широкие застекленные и покрытые медными решетками люки сейчас подняты, и нам хорошо видно все машинное отделение, а здесь есть на что посмотреть!

Здесь своя, таинственная и нам непонятная, но вызывающая большое уважение жизнь. Все залито светом электрических ламп. Беспрерывно жужжат мощные вентиляторы: чисто, блеск металла, огонь меди. Большое чудовище-машина сильными руками вращает коленчатый вал; какие-то гири на коротких рычажках безостановочно крутятся, что-то тихо дышит и временами звонит, и тогда молодой паренек в одной тельняшке и замасленных штанах идет по узкому металлическому трапу среди этих работающих рук и из лейки с длинным носиком подливает масло в попросившую масленку, смело хватает рукой то там, то здесь и нащупывает, не нагрелась ли работающая часть. Изредка раздается звонок телеграфа с командирского мостика, и машинист, сидящий на железном кресле, двигает какие-то рычажки, и машина послушно то замедляет свою работу, то, наоборот, быстрее крутит тяжелый, толстый, блестящий коленчатый вал . . .

Ветер, и холодно на борту парохода. Матрос в теплой куртке — фуршточный — оказался наш знакомый: это тот, с кем мы имели беседу на пристани еще за несколько дней до отплытия. Он узнал нас и приветливо улыбнулся.

— Што, поехали? Вот и я на своем месте!

И, бросая длинный тонкий шест, раскрашенный на футы белым и красным, протяжно поет: «Проно-о-ос!» — и снова быстро и ловко выбирая тонкую бичеву и самый фур-

шток, выжидает какое-то время, и опять бросок за борт и несколько вперед, и снова тянет: «Про-о-о-нос!» В промежутки между бросками он болтает с нами. Второй матрос, в такой же теплой куртке, растягивает и укладывает в ровные петли тяжелую якорную цепь. Он тоже приветливо бросает нам:

— К мамке поехали? — и смеется.

На мостике появляется сам капитан, и матросы шепчут нам:

— Ну, братцы, ходу отсюда: здесь посторонним не дозволяется. Скоро Константиновская, приставать будем, и вам тут не место . . .

Приискатели после сытного обеда крепко спят, протянув ноги и нисколько не заботясь, что им их оттопчут. Храпят эти богатыри так, что не поймешь, отчего пароход дрожит мелкой дрожью: от своего бега или от храпа этих бородачей.

После короткой остановки в Константиновской, следующая — в нашей станице Поярково, но еще нужно проплыть семьдесят пять верст, а нас уже охватывает беспокойство, и мы попытались перенести свой багаж ближе к трапу, но вахтенный цыкнул на нас:

— Куда это тащите? Убирай на место!

— Да нам скоро слезать — в Поярково!

— Эк, затормошились! Когда Поярково-то? Вишь, как идем! Того и гляди, что на льдину напоремся. Надо быть, в Поярково стоять будем, на ночь не пойдем.

Ну, что ты с ним будешь делать? С тоски и тревоги идем и, достав свои подорожники, жуем сухомятину. Вспомнив про тоскующую собаку, снесли и ей бутерброд из холодной котлетки и хлеба . . .

Обильный ли завтрак, или то, что мы не вовремя поели своих подорожников, но предстоящий обед нас мало прельщает, хотя уже слышен звон посуды накрываемого стола.

Мы уже не раз осмотрели свой багаж, ненадежные места перевязали заново, крепче, и, если бы не вахтенный матрос у трапа, мы давно спустили бы его на палубу третьего класса, к месту, откуда будут поставлены сходни. Прошли Ни-Канку . . . Скоро будет Чи-Ко-Де, а там, обогнув большую излучену, наше Поярково!

Спустились сумерки. По коридорам и каютам на пароходе зажглись яркие лампочки, и за бортом сразу наступила ночь. Пароход идет еще осторожней, еще медленней . . . Но скоро, скоро будет и наш дом.

У нас все готово, да теперь мы и не спешим, так как знаем, что пароход ночь будет стоять в Поярково, и мы заняты собой: шинели застегнуты на все пуговицы, форменные училищные фуражки немного смяты и лихо заломлены на правое ухо, по-казачьи; пояса с блестящими пряжками затянуты поверх шинелей, на спине все складки шинели расправлены и выравнены, как у строевиков. Знай наших!

Темно, и берега еле видны . . . но чувствуем, что делаем крутой поворот на север, и вдали мелькнули два-три огонька. «Эх, жаль, что не засветло пришли, а то всё было бы видно: и церковь, и станицу!»

Минуты — и мощный, басистый протяжный гудок сотрясает воздух, и нас снова охватывает торопливость и тревога . . .

Первый рейс — и все, и сам параход щеголяет блеском, быстротой и ловкостью. Почти не сбавляя хода, делает крутой поворот так, что заметно клонится на борт, и где-то слышен звон посуды. Стопорит машины и, почти не теряя хода, идет прямо на берег.

— Отдай якорь! — и многопудовая, лапастая тяжесть летит за борт, взбрызнув фонтаном брызг, и грохочет и скрежещет убегающей в воду тяжелой цепью . . .

— Стоп травить!

Пароход вздрогнул, приостановился и быстро заносит корму параллельно берегу. С мостика новая, но уже какая-то мягкая, как совет, команда:

— Потрави!... Стоп травить!

На мостике вспыхивает яркий фонарь, выхватывая из тьмы большой круг воды и берега. Где-то и когда-то спущенная шлюпка, буравя веслами воду, равняется с носом парохода, взвивается тонкая выброска и, подхваченная на шлюпке, вместе с ней уходит к берегу и тащит за собой толстый стальной трос... «Есть конец!» — доносится с берега; гудит паровой шпиль, выбирая слабину стального троса, и пароход стал твердо. Боцман бежит распоряжаться постановкой сходен, а мы к борту — высматривать, нет ли на берегу кого из наших.

Сегодня, оказывается, воскресенье, а потому встречает первый пароход немалая толпа, но, залитая ярким светом фонаря, она какая-то незнакомая, и трудно среди этих белых пятен лиц узнать, кого надо. С берега узнают нас и кричат нам, а мы взываем о помощи с нашим багажом.

Петр Савельич, Николай и Толька Белокопытов поднялись к нам на палубу, не теряя много времени снесли на берег наш багаж, а сами отправились на пароход пить пиво — жди их!

26

АМУР — ЗОЛОТОЕ ДНО

Этой весной мы с Петухом, как и всегда, после учебы возвращаемся домой на пароходе. Как всегда, нами занята излюбленная позиция на переднем балконе пассажирской палубы первого и второго классов.

Такие же как и раньше плывут нам навстречу берега, но жизнь на реке сейчас другая, чем в прошлую весну, когда мы плыли вслед за льдом.

В этом году мы возвращаемся домой поздно, в конце мая. Возвращаемся после тяжелых «боев», одержанных «побед» — правда, побед не Бог весть каких, но все же ни одной переэкзаменовки не везем домой.

Конец мая — и на реке другая жизнь: солнце греет уже по-летнему, и мы на палубе в одних рубашках; на реке уже нет перелетных стай гусей и уток; на берегах нет зимнего грязного льда; широкие галечные плёсы вымыты весенними дождями; над тихой гладью реки реют большие серые чайки; далеко под берегами чернеют точками отдельные пары бакланов; на реке, на берегах больше человеческой деятельности . . .

Вот под квадратными тяжелыми большими парусами идут вниз по реке груженые китайские джонки . . . там вдоль

берега вереница их идет вверх по реке бечевой. Идет встречный пароход и приветствует нас, а мы его, длинными гудками.

В этом году по берегам реки еще какое-то странное, необычное оживление. В отдаленных от населенных пунктов местах, на галечных плесах группы чем-то занятых людей. Около них приткнута к берегу лодка, у самой воды какое-то сооружение, временами слышен шум загружаемой во что-то гальки, временами видим работу самодельных деревянных помп-насосов, а то работу черпаков. Все это для нас ново, а спросить не у кого.

Странный народ — господа пассажиры первого и второго классов: едут по такой реке, а сидят в салонах за шахматами, газетами или пьют какую-то воду! Если и выйдет кто на палубу, то смотрит на все скучающими глазами и едва ли что видит. Попробуйте спросить такого путешественника — что, мол, делается на берегу? Он прежде всего удивленно посмотрит на вас, как будто вы до сего не существовали или сейчас внезапно родились. Незрячий глаз упрется куда-то — и вам ответ: «Эээ . . . не . . . не знаю». И с обиженным видом уйдет от вас.

Другое дело — нижняя палуба, пассажиры третьего класса! Здесь вы можете составить энциклопедический словарь: здесь всё знают, всё ведают, это — что твой «Патэ журнал», и мы с Петухом идем туда.

Здесь сразу, с первых шагов — сама жизнь! Только что мы спустились по крутому трапу вниз и остановились на минуту, чтоб глаза привыкли к довольно густому полумраку, как услышали у своих ног гусиное шипенье и, напрягши зрение, увидели в уголке свернувшуюся в клубок под толстой шалью старушку и направленный на нас ее злой взгляд.

— Чего тут около корзинки стали? Слямзить собираетесь? Вот позову полицию, матросов . . .

Но нам уже не до старушки. Прямо напротив, по ту сторону закрытого медной решеткой люка, сидят кружком около жестяного чайника и не спеша тянут чай кавказцы! Их четверо. Они сейчас без черкесок, и у них не видно оружия, но это прямо, как Хаджи Мурат и его мюриды! Тут не до старушечьего шипа: самые настоящие кавказцы, в папахах и чекменях!

— Несообразный народ; известно — Кавказ! По нашим-то местам это самый неспокойный на дорогах народ, а вот по найму на прииск едут, на Амгунь, стражниками по контракту. А им что контракт? Оговоренное время — спи спокойно; охранят, а после засядут там... У них бык или корова... Пристав или урядник к ним: «Вы что тут делаете?» — «Скотину продаем!» ... Вот и возьми их! А там глядишь, какое время кого подрезали или почту с золотом ограбили. Хватай-имай, а их и след простыл! Китай под рукой, а там найди!

Повествует все это из темного угла какая-то мятая личность. Повествует, нисколько не стесняясь «присутствующих» Нас такая бестактность тоже не смущает, и мы нисколько не теряем своего восхищения: ведь это же настоящие кавказцы!

— А ну! Посторонись, почтенные, подбирай ноги да свое добро, дай место чистоту навести!

Два молодых матроса, один с тяжелой жесткой щеткой, другой с деревянным ведром — таким, какое вы можете увидеть только на пароходах — весело и проворно «наводят чистоту». Быстро и ловко деревянное ведро на длинном тонком тросе летит за борт; с сочным хлопком падает в быструю разгоняемую пароходом струю, и ловко выхватывается на палубу, и так же лихо выплескивается, нисколько не заботясь об осторожности, ни о вещах, ни о ногах пассажиров. Суета, шутки и смех, и странно — в этой тесноте как-то для всех и всего находится место: люди и вещи переливаются с

места на место, никого это не волнует, не смущает; всё в порядке вещей, и вокруг веселых матросов часто вспыхивает веселый хохот.

— Ты што, окаянный, хлещешь прямо на ноги? Где у тебя шары? — визжит голос старушки.

— А ты бы, мамаша, ножки-то взяла бы на плечи, да заодно и корзиночку.

— Ты, охальник, поговори, так я командиру пожалуюсь!

— Ты на него, бабушка, рапорт подай за неуважение прекрасного пола, — советует второй матрос, и в одобрительном хохоте окружения тонет едкое словцо бойкой старушки.

— Посторонитесь, князья, мы здесь маненечко ополоснем, чтобы дышать было легче, а то тут скопилась такая атмосфера, хошь топорик повесь!

Мы и измятая личность, отступая перед идущей «чистотой», проталкиваемся среди потревоженного муравейника людей и вещей на корму парохода, в этот неофициальный салон и клуб третьего класса.

К нашему приходу на открытую часть кормовой палубы там по укромным уголкам уже собралось небольшое общество. Здесь, на корме, тоже идет работа по наведению чистоты и флотского лоска: матрос в бескозырке и полосатой тельняшке растягивает, распутывает набросанный в спешке на палубу толстый пеньковый канат и укладывает его ровными кругами в аккуратную бухту; там, дальше, почти на самом конце кормовой палубы, во всю ее ширину устроен невысокий помост, а на нем нагромождены клетки, корзины, ящики с живностью, и оттуда сейчас несутся вопли перепуганных куриц, визг поросят, кряканье и гогот гусей и уток: это там мальчишка поваренок, он же «кухонный мужик», наводит свои порядки — трясет, скребет, наводит чистоту.

На узких металлических ступеньках, что крутой дугой взбегают по кожуху гребного колеса, довольно рискованно устроились две босоногие, но разодетые в яркие ситцы, бе-

лобрысые девицы. Сидят в обнимку, какие-то завороженные, со взглядом, прикованным к волнистой, вскипающей пенной дороге, убегающей в туманную даль и уже в прошлое.

Вот это да!... Вот это картина!.. На груде мешков с какой-то мягкой рухлядью не лежит, а *возлежит* фигура! Колосс! Русский богатырь! Добрыня Никитич!.. Правда, он не в кольчуге и не в шишаке, но посмотреть есть на что.

На нем тяжелые, с высокими голенищами и блестящими, не меньшими, чем у лошади, подковами, специальной кунгурской выработки, сапоги. Надеты они не просто, а с особым, лишь коренным приискателям свойственным шиком: их голенища на суконных портянках и холщевых подмотках сидят плотно и без единой морщинки; там же, где нужно — у щиколотки, они умело и старательно собраны в шестигранную гармошку. Темно-синие, дорогого плиса и бесконечно широкие шаровары, опять же с особым стилем, заправлены в голенища сапог. Вишневая кашемировая рубаха с косым воротом и с крупными, светлыми стеклянными пуговицами и с мелкими сборками по кокетке и у плеч рукавов свободными складками падает из-под широкого, того же плиса, пояса. Пояс строчен и шит беглым жидким рисунком ниткой в цвет рубахи. Черный суконный жилет нараспашку. Русая борода подстрижена умелой рукой. Приискательская коричневая шапочка заменила шишак и прикрыла кудри богатыря. Кто, когда узаконил эти шапочки, так ярко подчеркивающие характер и облик этих людей?

Что это за персона в таком блеске? Старшина крепкой приисковой артели? Или приискатель, не успевший прогулять и размотать свои «капиталы» — результат долгого, тяжелого, упорного труда?

Долгие месяцы с лопатой, в сырых холодных разрезах он гнет спину, но не привык гнуть шею, и сейчас возлежит

на мешках, нисколько не рисуясь, и другим он быть не может; уверенный в себе, стойкий в труде и лишениях и неудержимый, бесшабашный в разгуле . . .

**
*

Где-то поет скрипка, и звенит арфа . . . Как отдаленный прибой доносится временами шум пьяных голосов: то в давно известной или по капризу вновь облюбованной «Распивочной и на вынос» или «Ренсковом погребе» гуляет приисковая братия.

У высокого крыльца «заведения» — музыканты «венгры». Он — скрипка, сухонький, в жилете, шляпе с узкими полями, за лентой которой какое-то перышко. Она — арфа: длинная юбка с воланами по подолу на талии заправлена под кожаный пояс, скромная кофточка и беленький платочек на голове. Ничего кричащего, все скромно, почтительно и вызывает сочувствие к труженикам.

Окна и двери «заведения» открыты. Шум неумолкаемых голосов густой волной льется в улицы, музыка непрерывна; заказы любимых песен и мелодий поступают один за другим, а с ними летят к ногам музыкантов пятаки и гривенники . . . Но вот, по-видимому, настало время, подошел нужный момент, и музыканты настраивают свои инструменты . . .

Скрипка, арфа и надтреснутый женский голос слились в одно. Шум пьяных голосов оборвался, как по команде . . . секунда, другая — и дикий хор голосов потрясает улицу и окресности. Каждый, как мог и как умел, вложил всю свою душу в прославление Ермака Тимофеевича. Полтинники, рубли, а то и фетровые шапочки летят к ногам музыкантов. В «заведении» уже творится невообразимое: с грохотом и звоном бьются об пол бутылки, кружки, а потом без счета вознаграждают «пострадавшего» владельца; пьяная разгульная рука щедра. Льются обильные пьяные слезы старого

приискателя... над чем он плачет? Что всколыхнуло его душу, и какие нити связали ее с тем далеким прошлым, когда такие же сильные телом и духом шли вольными ватагами на приискание новых землиц?..

***

У другого борта, около штабеля каких-то ящиков на солнышке и теплом речном ветерке разместилась и пристроилась, кто где и как мог, группа любителей тихой разумной беседы, и сейчас центром внимания является тоже «личность».

Эта личность в сапогах «казенного образца» — солдатских и по-видимому купленных на «толчке», но они исправны и еще послужат немалое время. Брюки от пиджачной пары тоже заправлены в голенища, и на плечах пиджак. На нем тоже косоворотка, но обычная, белого цвета и по воротнику шита крестиком. Борода его — не борода, а козлиная бородка, но тоже аккуратно подстрижена. Самое замечательное на нем — это фуражка; она тоже не нова и поношена, как и ее владелец, но еще может служить не один сезон. Околыш ее был, по-видимому, бархатный и какого-то цвета, который сейчас определить невозможно, но следы от кокарды и какого-то значка говорят, что она принадлежала определенному ведомству, но какому?

Эта фуражка неизвестного ведомства — в центре внимания всего общества, внимательно слушающего его плавную тихую речь. Мы, не нарушая тишины и порядка, находим и для себя местечко и незаметно включаемся в число слушателей и сразу получаем ответ на интересующий нас вопрос. Фуражка неопределенного ведомства повествует:

— ...что и говорить, у начальства дел немало; о всем надо подумать, все уладить. Иной раз и оно хочет сделать что-то хорошее, а получается не то. Вот теперь смотри, вишь, по берегам хищник работает? По русскому-то берегу

еще ладно — там да сям, а вон по китайскому везде роют; а почему? Да очень просто! Захотел это губернатор, чтобы русские деньги в Китай не уходили; ведь китаец здесь работает, а своей копейки не оставит — всё к себе, в свое «чифу» тащит, а так как их тут немало, то большие русские деньги уходят из края. Ну, вот, чтобы немного попридержать наплыв китайни и знать, сколь их приходит, и хоть чем-то их обязать, приказал, чтоб им паспорта ввести. Великое ли дело паспорт?— копейки; ну, для китайца подороже — трешня, так на целый год, а за год сколь он возмет?

Да! Вот паспорт, а получилась каша. Паспорт паспортом, а попробуй в китайне разберись! Все они на одну колодку: и тот Ли-Фу, и этот Ли-Фу, и живо смастерили дело. Перейдет границу, а потом паспорт с попутчиком перешлет назад, а там сватка или братка по этому же паспорту по пустоплесью переберется, и на один паспорт их наберется куча. Значит, дело неладно! Им на паспорт карточку! Спервоначалу-то заегозили, туда-сюда, мол, как быть? Да ведь китаец — это такая шельма, живо додумались. Карточка? А что карточка, когда на полицейской карточке их и родная мать не узнает! И опять пошло по той же дорожке. «Ах, вы так? Так вот вам печатка на руку». Да такая, брат, что ни мыло, ни вода не берет. Китайня обиделась, но ходу ей как бы и меньше. Хорошо! Китайцам, значит, «стоп!» А где взять другого рабочего? Здесь ведь своего народа еще маловато, вот каша и стала пригорать — на прииск, на уборку хлебов где взять народу? И опять через другие щели полез китаец, как таракан. Кому надо, за них платят тем, кого это касается, а житель берет на работу тоже, до этого никому дела нет. Так оно как будто и все обошлось, но у китайцев по этим местам немало Иванов, не помнящих родства, которые паспорта не любят, а карточки и совсем боятся. И вот, с паспортом ты или без паспорта, а есть-то надо, вот и роют берега. Говорят, что это дело где как, где на хлеб вырабаты-

вают, а где и в кубышку откладывают: где ни копнут — золото. И впрямь «Амур — золотое дно».

Поваренок «кухонный мужик» закончил свою работу и торчит тут же. Веселые матросы, убиравшие палубу, перед тем как начать наведение лоска здесь, стоят и курят цыгарки; один все с той же большой щеткой, держит ее длинную ручку под рукой, а второй положил у своих ног большой блестящий брандспойт и прислушивается к повествованию фуражки неопределенного ведомства.

Какой-то вихлястый парень, городской, в накинутом на плечо пиджаке и черном картузе с блестящим козырьком, пристроился на бухте каната около девиц и какой-то сонный сидит со своей «итальянкой».

— Забили перекаты галькой; вот ироды — роют берега, а породу в реку, и теперь черпалкам работы по горло, — сообщает матрос со щеткой.

— Ну, не долго этой музыке; капитаны подали заявления, и министерские всю эту шатию скоро по шеям; начальство с Китаем договорилось. Разбредутся по малым речкам, и там не хуже, — высказывает свои соображения матрос с брандспойтом.

Резко и дико взвизгнула гармошка, и парень, так же не проявляя жизни и не поднимая склоненную голову, быстро и ловко перебирает лады. Девки не менее дико взвизгнули и так же четко и в лад посыпали словами частушки, перебирая и маманьку родимую, и пароход, и всю речную жизнь . . .

— Это наши, затонские, — с одобрительной улыбкой рекомендует один из матросов.

На верхней, командной, палубе появился помощник командира и, перегнувшись через перила, что-то крикнул матросам; те, выплюнув окурки, принялись за работу. Сильная струя воды, со свистом и щелканьем вырываясь из брандс-

пойта, гонит грязь и мусор к широким бортовым клюзам и смывает все в реку.

— Сторонись! Подбирай лапки, почтенные! А вы чего расселись здесь? Не дозволяется посторонним, прошу, катитесь отсель!

Но его не удостаивают ни ответом, ни взглядом.

Сильная струя воды, направленная под крутым углом к палубе, разлетается широким веером брызг, обдав босые ноги и широкие юбки девиц, и те, как курицы с насеста, сваливаются на пол и с громким хохотом, кокетливо поводя плечами, убегают в полумрак закрытой палубы.

Из трюмового помещения, где едет несколько семей переселенцев, вышел на корму подышать свежим воздухом высокий дед. Внучка или правнучка — девчурка в сарафане, с немигающими глазами — держится за штанину деда и испугано и недоумевающе смотрит на куда-то бегущие волны, на берега и всю ей непонятную картину. Такие картины непонятны не только этой напуганной новизной девчонке. Попробуйте и вы выйти на корму идущего парохода или сядьте спиной против движения любого экипажа — и вы ее поймете. Всё откуда-то и куда-то бежит, течет, летит, и не знаешь, есть ли еще позади что-то, или вот-вот оборвется, кончится, и вы останетесь или полетите в какой-то пустоте . . .

Дед высок и сух. Длинная, домотканного полотна, рубаха и такие же, но лишь с тонкими синими полосками, штаны; он в лаптях и подпоясан тонким пояском-тесемкой. Его слепит непривычный после трюма свет, он жмурится и прикрывает глаза рукой и, пожалуй, еще ничего не видит.

Дед опирается на батожок, который, наверное, еще напоминает ему оставленные родные места. Внучка жмется к нему, и они безмолвны, но молодые глаза скорее свыкаются с новой обстановкой и, удивленные и большие, приковались к фигуре приискателя.

— Садись, дед, вот тут, — говорит фуражка неизвестного ведомства, — в ногах-то прады нет. На вольные места идешь — ну, так привыкай не только стоять, но и сидеть. Потоптал родную землицу, а теперь еще куда-то шагаешь? Что вы, пензенские?

— Кто? Мы-то!

— Вы-то! Лапотки-то лучше паспорта: с мордовской подковыркой.

— Соранские мы.

— Далеко Бог несет?

— Да на каку-то другую речку.

— Другую? Так вот смотри, какие здесь речки; на них или около них жить будешь, они тебя кормить и поить будут.

— А ты што, сынок, российский? Давно ушел?

— Российский-российский, дед; ушел давно и все иду и иду, а уйти из России не могу; здесь, дед, тоже Россия, а вот соседом тебе будет Китай. Ты, наверное, уже на них насмотрелся и знаешь, какие они; а вот сюда, налево, это наша земля, золотой край! Кому золото, а тебе, дед, хлеб — за ним и едешь . . . Мастер, наверное, лапоточки ковырять? Здесь, отец, лаптя не носят, здесь ичиг, бродень, сапог — все кожа. Но я тебе скажу: на работе в покос и жнитво лапоточки — отдых ногам, а ковырять тебе будет из чего.

— Могу; Бог-то еще терпит и глаз не лишил.

— Силен ты?

— Двое сыновей, снохи, вот внучата, старуха тоже еще скрипит.

— Сыновья пьют, курят?

— Избавил Бог!

— Ну, отец, жить будешь! Земли бери, сколь подымешь; правда — земля спину спросит; не ваша дедовская да прадедовская паханная и перепаханная, а целина — погнешь горб. Осилишь — царем будешь. Селись только с толком,

пытай у старожилов: где, что и как. Вот река — она тебе и кормилица и поилица; а сядешь дуром — слизнет в одночасье. В каких местах раньше жил и к чему свычен, так и ладься-выбирай, а выбрать есть из чего. В лесу жил? Ну, и держись леса; поможет и строиться и жить. Мальцы подрастут — промысловиками будут, а зверь есть, и мясо, и шкура, и мех — опять помощь. Рыбу — не ленись только, бери, и если ум есть, скоро на ноги встанете. Но держи вожжи: здесь соблазна много, а погонятся за легким заработком, за веселым житьем — тогда толка не жди . . . У вас заяц — зверь, а здесь, брат, есть такой, что и не приведи Бог с ним столкнуться, но против зверя есть ружье, а вот тут другой зверь — гнус: мошка, комар, овод — вот бич для скотины; человек-то так и сяк отобьется, а скотине — нож. Обживутся места, и гнуса становится меньше; или попривыкнут к нему, и кажется, что меньше, но живут люди, и жить, значит, можно. На какую речку-то едешь?

— Да большак у меня правит, он и знает. Где-то далеко у моря, и там сваты наши живут. Почитай, годов с десять, как ушли.

Вышел на корму один из кавказцев. Постоял минуту, обвел берега взглядом и, зыркнув на присутствующих, повернулся и ушел. Приискатель проводил его взглядом.

Новая тема для разговора.

— Татарин? — вопрошает дед.

— Не ваш, — поясняет фуражка неизвестного ведомства. — С Кавказа.

Приискатель сел на мешках, ловко сплюнул за борт и достал из кармана своих широчайших шаровар кисет, сидит и крутит цыгарку и, слюнявя ее языком, роняет:

— К нам на Амгунь едет, азиат. Охотник будет за горбачами, [28] за лебедями, [29] ну, и наш брат в тайге не попадайся!

---

[28] Горбачи — китайские рабочие, возвращающиеся с приисков с заработками.

[29] Лебеди — корейцы.

И чего смотрит начальство? . . Вот, дед, слушай, что я тебе скажу! Родился, вырос и живу я на приисках, и приски для меня, что тебе Россия; прииск — моя Россия, и хожу я с одного на другой по всему Сибирскому краю. Ты будешь жить здесь, много наслушаешься о золоте . . . Плюнь на него, не гонись и сынам и внукам закажи: добра от него не будет! Сегодня капитал-барин, завтра нищий. Я сейчас человек; дело мне поручено, а бывало — накатит полоса, и пропадай все пропадом! Мне что, перед хозяином шеи не гнуть, босой, рваный, но в конторе без разговора: новый задаток, и снова лопата и таежная жизнь. Я не гонюсь за золотом, хотя его ищу и немало нашел для других; я — вольная птица: сегодня на Амгуни, завтра на Зее, на Селемдже, а там на Лене.

— Ты што, тоже за золотом? — спрашивает дед фуражку неизвестного ведомства.

— Было и это, но я — тоже вольная птица.

— Куда плывешь-то?

— Плыву я, дед, сейчас к морю — в Николаевск, а там, если случится, то хочу махнуть на Камчатку, поработаю на рыбалках; глядишь — загляну и за море, посмотрю, как там люди живут. Наскучит — опять сюда, в Россию.

27

ЭКСПЕДИЦИЯ НА СЕЛЕМДЖУ

Мечты и действительность

Нам уже не говорят «ты», мы уже «молодые люди». У нас есть такие, что и при обычных, повседневных рубашках носят крахмальные воротнички. Брюки «клеш» и ботинки «веро» с толстыми, тупыми и твердыми носками мы носим все. Мы танцуем, нас к этому обязали в принудительном порядке, а теперь нам грозят разными карами, виня нас и наши «музыкальные ноги».

Возможно, мы немного увлеклись, но кто виноват? Общим хором проповедывали нам: «Нужно быть приличными, уметь держать себя в обществе». Немало говорилось о культурности и сознательности, и вот теперь, когда, как нам кажется, мы достигли и преуспели на полные «пять», посыпались угрозы.

Конечно, спорить не приходится, что и говорить: приотстали; но наш класс не выпускной, да и есть еще время упущенное исправить.

Танцы — танцами, да и не одни танцы; есть и другие, не менее интересные идеи. Мы — я и два моих приятеля, два брата — на этих святках «заболели» новым увлечением:

мы стали путешественниками, исследователями «белых пятен», и вообще мы желаем познать мир-вселенную!

А началось это вот как. Здесь я должен оговориться, внести некоторую ясность: я должен сказать, что у меня как-то легко возникала дружба с людьми старше меня по возрасту, и возможно, что это продолжалось бы и сейчас, не будь помехой к тому теперешний мой возраст. Так вот в те годы был у меня такой друг, человек покровительственно расположенный ко мне. Служил сей муж техником переселенческого управления, и был Константин Николаевич большим искусником на всякое рукомесло, человеком же мягким, приятным. На святках получил я от него подарок: географическую карту Амурской области, издания переселенческого управления. Карта десятиверстка, издана прекрасно! Подробная, в сочных, но мягких красках, с нанесением рельефа. Заботливая рука Константина Николаевича наклеила карту на полотно и уложила в папку, сопроводив дар соответствующей надписью и добрыми пожеланиями.

Получив такой подарок, я, естественно, молчать не мог и незамедлительно телефонировал приятелям, а от них получил категорическое требование: «Сейчас же седлай коня и приезжай к нам с картой, а то лучше и не попадайся!»

Мы жили в разных концах города, и для пешехода это был бы путь немалый.

Карта на столе, а карту мы читать умеем: сами не раз чертили карты далеких, неведомых нам, стран и, как говорится, в этом деле «собаку съели». А вот такую карту — своей области — видим впервые и о своем крае в школе ничего не слышали.

Какая картина! . . Густая сеть рек и их притоков покрыла страну. На карте реки и притоки показаны четко и до самых истоков. Истоки многих рек чуть не встречаются, хотя реки уходят в разные покатости, разные области. Легко намечаются в горных хребтах перевалы-волока из реки в

реку, и вот у нас кипит работа — составляются маршруты наших будущих тяжелых подвигов и познания обширного родного края.

Сколько возможностей! Да вы только взгляните на карту! Вот, смотрите, если мы спустимся по Зее — видите! — сперва прямо на север и так до устья Селемджи, а потом по последней круто повернуть на восток! И идти до ее истоков . . . а там волоком на Амгунь и по ней в Амурский лиман! . . А можно и так: по Селемдже мы поднимемся лишь до Усть-Норска, там можно денек-два отдохнуть, и дальше по Норе и на Уду, а по ней в Охотское море! . . А?

Другое: всё по Зее и по Зее — это круто на Запад, а там Идюм, Учур, Алдан, Лена . . . да так можно Бог знает куда заехать!

Ну, хорошо, это большие дела будущего, а сколько меньших, недалеких и нам доступных! Сколько мелких рек и близких районов, а мы их не знаем, да и ничего о них не слышали!

Как бы осуществить этим летом хотя бы одну какую-то экспедицию! Мы вышли из возраста фантазий «беглецов в Америку» и, как охотники, ясно представляем себе всю сложность организации и тяготы такого предприятия, но можно же что-то придумать и найти какую-то возможность!

— Эврика! Ребята, я поговорю с Константином Николаевичем и буду просить его взять нас в его партию! Пусть возьмет кем угодно: рабочими, погонщиками в караван, бойками — нам все равно; но мы побываем в новых для нас местах.

За этими оживленными обсуждениями нас застал папаша моих приятелей. Он пришел на голоса довольно шумной беседы, и вот теперь сам сидит за картой.

Что для нас было еще мечтой, для него — прошлое; человек многие годы отдал тайге, приискам и вот сейчас идет

по тропам молодости и цветет, и вдохновляется не менее нас. За ним — опыт прошлого и знание дела.

— Слушайте, ребята! Попасть в партию, да еще к хорошему человеку — было бы дело: и охотку сдернули, и, глядишь, чему научились; но время вам этого не позволит — партии уходят рано по весне, а у вас школа. Давайте сделаем так: кончайте год без помехи, а я вам устрою поездку на Селемджу. Наметьте себе план, а я тоже подумаю, а потом выработаем одно; времени у нас достаточно, и все обдумаем, как следует.

Ну, дело по-видимому выгорит, а как мне? Мне надо еще испросить разрешение на это путешествие от моих родителей, а они в станице, и мне надо прибегнуть к письму, так как не могу же я тянуть со своим решением до бесконечности!

Я почти уверен, что папка разрешение даст, но мне надо еще получить разрешение взять из нашего охотничьего арсенала винтовку; мы же едем в тайгу! Охотничьи ружья у нас, у каждого члена экспедиции, свои, но винтовок нет, и мои спутники их, по возрасту, иметь не могут, а я могу: я — казак!

Всё согласовано, и разрешения получены — при одном и том же «если»! Но ничего, приналяжем, а работа по экспедиции идет своим чередом. Я имею разрешение взять прекрасную легкую охотничью винтовку «Маузер» и получил совет от отца заготовить какое-то число патронов на пернатую крупную дичь и на козу. Эти патроны мы с папкой сами готовим и пристреляли чётко; на небольшие дистанции они хороши. Боевых — нормальных — я получу лишь 25 штук.

У нас еще много времени впереди, но сборы идут, и многое уже упаковано и не раз распаковано, выброшено или добавлено, но с кем этого не бывает?

Программа выработана, проработана и отшлифована: мы на реках должны иметь судно, на чем передвигаться. Это даст нам свободу в наших экскурсиях. Жилье — палатка. Рыболовные снасти и оружие обеспечат наше питание и защиту. Цель экспедиции — знакомство с краем и сбор примечательного, в чем бы оно ни состояло: шкурки птиц, редкие виды растений, мхов, лишайников и минералов. Эта работа нам знакома и уже проводилась в нашей жизни, и даже с успехом. Конечно, в таких районах можно и золото поискать, и мы берем с собой лоток.

Мы до нужного нам пункта едем на пароходе. Проезд и стол папаша моих приятелей берет на себя и даже обещает нам содействие от администрации прииска, на какой бы мы ни попали, а потому он многое из нашего списка бесцеремонно вычеркивает и на наши протесты твердит: «Обойдетесь и без этого», или «На месте достанете!» Ему лучше знать, и нам приходится соглашаться, чтобы не «заострять вопроса».

Говорят, что «на ловца и зверь бежит», и вот мы как-то неожиданно стали владельцами старой пароходной шлюпки. Я не знаю, кто и как ее нам подсунул, и не знаю как она стара, но задаток дан — три, и за нами долгу семь. Шлюпка лежит или, вернее, валяется на берегу, занесенная снегом и всяким мусором. Кажется, с этим мы поспешили, а я вообще — не поклонник шлюпок, тем более на быстрых реках, и боюсь, что она даст нам пить!

Апрель — и частенько тихие теплые дни. Наш корабль уже перевезен с берега в сад моих приятелей и там, в дальнем углу, по воскресным дням подвергается настойчивой операции по омоложению, с каждым воскресным днем зарастает все новыми и новыми латками, а в конце мая был покрашен и стал выглядеть много лучше.

Как ни как, хорошо или плохо, но собрались, и вот настал день. Сегодня — лишь день нашей погрузки на пароход. «Иннокентий» — не большой и не маленький, ни нов,

ни стар, пароход Миссурийского типа — типа заимствованного еще с первых дней пароходства на Амуре покупкой нескольких пароходов в Америке, но «Иннокентий» уже доморощенный, и теперь их «выпекают» в нашем городе. Эти пароходы, с одни большим колесом за кормой, нам привычны и своим видом глаз не режут, а также мы знаем за ними некоторые преимущества, особенно на притоках Амура с нередкими мелкими перекатами.

Наши места в кают-компании; там пять спальных мест — днем диванов, вытянутых вдоль трех стен под большими окнами; светло и прекрасный кругозор. Посреди каюты большой стол с дюжиной стульев: столовая для пассажиров и командного состава парохода.

К нашему приезду на пароход одно место в кают-компании уже было кем-то занято: лежали вещи, и стоял непонятный для нас дубовый бочонок, оправленный яркими медными обручами. Такие бочонки можно было иногда встретить в местах общественных с питьевой водой, но зачем он здесь, когда на столе стоит большой стеклянный кувшин с водой?

Мы заняли три места и разложили свои вещи, развесили по крючкам оружие и амуницию. Получилось здорово... внушительно!

День отплытия, и нас провожает вся семья моих приятелей; мы долго все томились на палубе или за столом, не зная, о чем говорить и что делать, и, по-видимому, все устали, так как сразу все оживились и повеселели, когда папаша пришел сказать, что пароход сегодня не пойдет: какой-то Автоном Андреевич не управился со своими делами. Отец моих приятелей — владелец «Иннокентия», и сведения, значит, верные. Радостной и довольно шумной толпой все мы отправились в кино, с тем, чтобы еще посидеть за прощальным ужином дома и там переночевать, а завтра к двенадцати быть на пароходе.

Недаром говорят: «Долгие проводы — лишние слезы» Плотно ли поужинали, или нас волнует предстоящая поездка, но мы плохо спали и встали рано; с нетерпением ждали завтрака и задолго до двенадцати вновь были на пароходе.

На пароходе — никаких признаков оживления, и ничто не говорит о скором отплытии. Здесь на своем посту лишь младший помощник командира — и он действительно младший: молодой и, по-видимому, в своей должности плавает первую навигацию. Рыженький, симпатичный, в новой с золотым кантом фуражке и в белом кителе, он понравился нам и видом, и приветливостью, и мы как-то сразу почувствовали взаимную симпатию; но он — должностное лицо и держится несколько солидно, и мы понимаем, что нельзя иначе.

Тонкая струйка дыма, что еле вьется из трубы парохода, навевает нам неуверенность, безнадежность. На наш вопрос к г-ну помощнику — лишь пожатие плечами и весьма вежливый, но тоже безнадежный ответ:

— Не могу знать; зависит от Автонома Андреевича; пароход ими зафрахтован, и мы везем их груз — от них зависим.

Автоном — сразу и не выговоришь, и мы переделываем по-своему: Артамон; мы «от них не зависим», и у нас к нему уже растет недоброжелательство.

Мы сегодня без провожатых и чувствуем себя лучше, свободней. Мы уже обошли все палубы, посидели в каюте у г-на младшего помощника, который нигде не снимает своей фуражки, и сунулись было в машинное отделение, но какая-то пропитанная маслом личность от стола с тисами неприветливо бросила нам:

— Посторонним вход воспрещается! Читать умеете? Что при входе написано? Понимать надо!

Да, разные люди на свете: вот один приятный, приветливый, другой — как собака: не говорит, а лает!

Приехали пассажиры отдельной каюты — муж и жена, молокане. Он — высокий сухой бородатый старик; она — полная пожилая женщина с мягким добрым лицом. Старик сразу стал «Апостол», она — «Добрая мамаша». «Апостол» прошел мимо нас, не удостоив взглядом. «Мамаша» приветливо разулыбалась и осведомилась:

— Тоже едете? Далеко ли? На Селемджу — так вместе, значит!

Пассажиры, и почти без вещей, а на Селемджу, в тайгу?! Но где же этот несносный Артамон?

Приехали телеги с кучей вещей и ватагой молодых и не молодых мужчин и женщин в пестрых платьях и ярких рубахах; веселой толпой разбирают возы; и поток узлов, свертков, ящиков, корзин и корзиночек двинулся на пароход, загружая каюту «Апостола» и растекаясь по местам третьего класса.

Мы стоим у борта нашей палубы и наблюдаем эту оживленную и веселую погрузку. Молодые и в годах мужчины и женщины, крепкие, ладные, с шуткой и смешком быстро освободили телеги, и всё перетекло на пароход. На прощанье постояли у телег, потолковали, посмеялись, и провожавшие, разместившись по подводам, лихо их завернули и, накручивая концами вожжей, затарахтели по пологому взвозу.

Мамаша хлопочет в своей каюте, расставляя и находя место сверткам, корзинам, корзиночкам и узлам лежащим в куче. «Апостол» и помощник командира сидят за столом с какими-то бумагами, подписывают и делят их между собой — одному белые, другому зеленые; расселись и заняли чуть не весь стол, а уже хочется есть, и бой буфетчика раза два заглядывал с белой скатертью: время завтрака.

За завтраком лишь мы да г-н помощник! апостол и мамаша у себя в каюте — им подали туда самовар. Мамаша преподнесла нам на тарелочке по свежепросольному огурчику. С мамашей у нас сразу же установились самые доб-

рые отношения. После завтрака апостол и мамаша, по-видимому прилегли соснуть, а мы снова шатаемся по палубе.

Что это за загадочная личность — Артамон? И что у него за власть? Почему никого не возмущает такой произвол?

Как нудно и долго тянется день! Пойти в город? Но в улицах знойный день, а здесь на пароходе с реки веет прохладой, и, хотя не так часто, перед нами проплывают картины жизни на реке. Вон далеко на том берегу, как густая стая чаек, белеют поднятыми для просушки парусами китайские джонки. Что там у китайцев на берегу, мы не можем проникнуть глазом, но какой-то неясный поток звуков иногда доносится до нас. Днем все звуки, голоса, шум, стук и звон, так путаются, что понять и распределить их нет сил; они и там и здесь, вокруг нас.

Прогудел прощальным приветом куда-то уходящий пароход; там с громадной железной баржи снова началась разгрузка, и грузчики с ящиками и тюками медленно сходят на берег по гнущимся под этой тяжестью сходням, но вот диво? Коренастый, широкоплечий, уже немолодой грузчик, страхуемый двумя артельными, медленно спускается по освобожденным от прочих сходням . . . Сходни, укрепленные снизу кобылинами, прогибаются больше, чем до того. Громадный медный колокол на спине богатыря. Колокол на специально приспособленной «кобылке» цепями укреплен на плечах носильщика. Берег, баржа замерли, с затаенным дыханием наблюдая за непосильной, казалось бы, тяжестью . . . Но вот колокол на берегу, и шум голосов и сочные хлопки по спине приветствуют героя. Герой сидит на ящике с железным ковшом в руке и пьет большими глотками. Что в ковше: вода, квас или водка? Но ковш услужливо был ему кем-то подан.

Мы также с замиранием следили со своей палубы за происходящим, и наше определение веса колокола было: «Не

менее, чем двадцать пять пудов!» Чей-то голос на берегу восторженно кому-то кричит:

— Вот леший, ведь восемнадцать пудов стащил, и хоть бы хны! Ай да мордва волжская!

«Восемнадцать»? Мы разочарованы.

После ужина, а ужинало нас только четверо, мы долго сидели на носовом мостике нашей палубы, переживая тихие вечерние часы.

Вокруг нас всё то же: та же река, те же берега, ничего не прибавилось, не убавилось, но в сумерках наступающей ночи другие ощущения, другое восприятие и другие переживания. Вместе с сумерками, которые густеют час от часу, затихают шумы и голоса людской суеты, и наплывают новые, мягкие, успокаивающие. Мы сидим не на скамейке, что здесь на переднем мостике, а на полу палубы, навалившись спинами на сетку борта и вытянув ноги по палубе — полулежим; и молча, без разговоров, каждый созерцает и воспринимает по-своему картину ночи на реке.

Далекий китайский берег сейчас — какая-то неясная темная полоса с редкими тусклыми огнями: это, по-видимому, китайские бумажные фонари. Огней города не видно: улиц там не освещают, фанзы окнами выходят во двор, да и окна мало светят от масляных коптилок: керосина китайцы боятся в пожарном отношении и ламп не заводят; электричества у них в городе еще нет. Там почти полная тишина, разве долетит захлебывающийся вопль осла. Где-то на джонке скрипит и поет китайская скрипка, и ночь на той стороне реки как бы темней и непроглядней.

На нашем, русском, берегу жизнь, но также жизнь ночи, хотя и ранних часов. Вдоль берега от нас убегает мерцающая линия красных, зеленых и светлых, сигнальных и ходовых огней. Однотонное тихое гудение работающих динамомашин; где-то с тихим шумом травится пар. С набережной тянет прогретой пылью, да изредка там протарахтит запоз-

давшая телега, или мелькнут огни извозчичьей пролетки... В городском саду играет музыка... На городской каланче пробило одиннадцать.

Человек — удивительно беспокойное и непонятное существо? Вот тянул-тянул какой-то Артамон, а потом загорелось...

Было еще далеко до рассвета. С реки веяло влажной прохладой. Было так приятно, натянув на голову теплое одеяло, поспать предутренним хорошим здоровым сном — так нет: началась какая-то суета, беготня, стуки, грохот чего-то тяжелого, и пароход не только гудел стуками, но и содрогался. Вот тут и усни! Стали вставать, и в это время к нам заглянуло новое «лицо». Эта личность — старший помощник командира, он же — какой-то родственник моих приятелей, какой-то дядя-продядя. Этот «дядя» ростом невелик, но характером, по-видимому, зловредный, так как без всякого приветствия, что обычно у добрых людей, прочитал нам нотацию-инструкцию:

— На пароходе распорядок таков: завтрак в восемь. К этому времени вы должны встать и привести в порядок себя и ваши места — постели должны быть аккуратно скатаны и прикрыты; что у вас есть — одеяла или пледы? Второй завтрак в двенадцать часов утра, обед в три, вечерний чай в пять и ужин в восемь. Постели готовить для сна, когда кают-компания будет свободна от присутствующих, и вообще не нарушать ни правил, ни распорядка. Вашу шлюпку я не хотел брать совсем; с ней немало возни, но упросил отец, и она подвешена с правого борта; пойдите и уберите весла и все, что в ней было. Вы под моей опекой, и это помните!

Вот не было печали, так надо же одной ложкой испортить всю бочку! Ну, да ладно; пока мы на пароходе, ты — командир, а там на берегу мы еще посмотрим!

Суета и грохот, поднятые ночью, давно улеглись, пароход усиленно дымит трубой и временами отдувается свистящим паром. Всё как будто готово, но где этот Артамон?

Обедало нас уже пять человек: нас трое, помощник-дядя и командир парохода. Командир, кажется, ничего, уже пожилой, тихий, молчаливый. Он даже не поинтересовался, кто мы и куда едем, возможно что ему все это уже известно или мы его мало интересуем, и, вообще, по-нашему, он — «никакой волк».

Лишь в пятом часу пожаловал несносный Артамон. Сколько лет Артамону? Пятьдесят, шестьдесят? Трудно сказать. Высокий, сухой, но не скелет, — человек человеком. Бородка клином, небольшая, рыжеватая с проседью. Веселый говорок; по-видимому любит шутку. Сразу приветствовал нас, как приятных соплавателей, пожал руки и, ставя около бочонка открытую маленькую консервную баночку, что принес его личный бой-китаец (тоже личность — рожа!), обратился к нам не то с просьбой, не то с наставлением:

— Вот, молодые люди, это сырок английский, ядовитый, и вы, так как водки не пьете, его не трогайте: яд, сущий яд!

Тем временем бой пристегнул к бочонку оправленную в серебро маленькую хрустальную стопку на цепочке и нацедил содержимого из бочки. Цепочка тонкая, но достаточно длинна, чтобы Артамон мог выпить стоя. Выпил и ногтем мизинца подхватив крупинку сыра слизнул ее, и снова убежденно подтвердил:

— Яд! Сущий яд! Не зря же берут такие деньги! Этой баночкой можно уморить целую артель!

С Артамоном едет его сын Степан — студент московского коммерческого института, здоровый парень и сейчас стопроцентный приискатель: в широкой рубахе, в еще более широких плисовых шароварах и в высоких тяжелых сапогах; по-видимому «рубаха парень».

Все устроились, и у нас в кают-компании все пять мест заняты. Вероятно общество будет не скучным, а душой всему — Артамон.

С вселением Артамона на пароход закипела жизнь — суета и беготня, и вскоре пароход, шипя и вздыхая со свистом сильными струями пара, отошел от пристани, успокоился, перестал шипеть и вздыхать, описал плавную дугу, дал прощальный гудок и отправился вниз по Амуру.

Вниз по Амуру нам плыть недолго. Мы не уходим с палубы и провожаем взглядами знакомые места родного города: вот собор на площади в начале набережного бульвара, и виден весь; бегут ровные кварталы города, вот Муравьевская, Корсаковская, где дом моих приятелей, Сад Туристов — и потянулась широкая песчаная коса, а за ней уже виден простор широкого устья впадающей здесь в Амур Зеи. Вниз по течению пароход скользит как бы без усилий, но вот он обогнул песчаную косу, что отделяла нас от Зеи, и, сделав поворот градусов на семьдесят пять на север, вошел в ее воды.

Зея

Не только глаз видит другие воды, но вы сами сразу почувствовали, что пароход уже в других условиях — идет против быстрого течения реки. Все говорит об этом: команды командира в машинное отделение, густой дым, клубами извергающийся из высокой трубы, возросший перед пароходом белый бурун; даже стакан, стоящий на столе рядом с графином для воды, запел тоненькую дребезжащую песенку.

Здесь берега реки нам уже знакомы по небольшим и близким экскурсиям, пикникам и близким охотам: вот справа раскинулась и потянулась широко и далеко Зазейская плодородная равнина, «Аурская прерия», как назвал

А. П. Чехов эту житницу края. На левом берегу, при слиянии двух рек — Амура и Зеи — высокое плато закрыло с запада и с севера громадную, ровную как стол, площадь, на которой раскинулся своим планом геометрически правильных и ровных кварталов город Благовещенск — наш родной город, возможно кому-нибудь и скучный, но нам дорогой: родина.

Пятнадцать-двадцать верст речного пути — зажиточное пригородное молоканское село Астрахановка. Под крутым глинистым берегом стоит баржа, груженая скотом — быками и баранами: это мясо на ногах — для приисков, а владелец его — наш «апостол».

Подходим к барже, и снова команды и беготня матросов, и баржа «под руку» с нами пускается в путь, а за ней на толстом фале тащится наша шлюпка. Соседство баржи не совсем приятно. Она умерила прыть нашего парохода, а наличие на ней скота сказалось наносимыми на пароход «ароматами» и полчищами мух, и, если бы не постоянный ветерок на реке и от движения парохода, это было бы весьма тягостно. На двери матросы навесили сетки, а баржу приказано мыть, как можно чаще.

Ночь мы стояли и тронулись в путь, как только солнце приподняло завесу тумана. Туман не густой, но фарватер реки так извилист, что при плохой видимости идти, да еще с баржей, — большой риск; вот мы и стояли на якоре, прикрывшись от случайных столкновений небольшим островом.

Солнечный тихий день. Справа все еще тянется невысокий луговой берег зазейской долины со своими песчаными косами и тальниками. Слева уже высокий, почти гористый берег, и здесь крутые склоны подошли и оборвались в реку хотя еще не высокими, но каменистыми обрывами. Узкие распадки заросли лесом, и все чаще и чаще среди этих за-

рослей темнеют стройные конусы елей, а то и группы сосен; идем на север.

Скоро уже полдень, и мы давно на своем посту — переднем мостике нашей пассажирской палубы. Плывут и плывут нам навстречу и уходят за корму берега. Постоянно и почти не меняясь, вскипает и растекается пенистый бурун перед носом парохода. Река светится и искрится на солнце, но безжизнена: ничего живого на ее глади; и эта картина упорного постоянства нагоняет на нас дрёму . . .

Резкий, оглушительный гудок встряхнул нас. Что случилось. Почему гудок? . . На реке всё как было, ничего нового, ничего живого. Река уперлась в скалистый берег, и дальше, кажется, ее нет. Пароход медленно работает колесом и стоит на месте. На пассажирскую палубу высыпали все пассажиры и толпятся у бортов. На носу парохода, по правому и левому бортам, два матроса с длинными тонкими шестами, раскрашенными белой и красной краской на футы — это футшточные. На капитанском мостике капитан и вахтенный помощник-дядя. Что сегодня с дядей? Он сегодня не такой «сухарь» и вот сейчас, перегнувшись за борт, кричит нам:

— Идите сюда, к нам на мостик: будем проходить «чёртов огород»!

Польщенные вниманием, мы взлетаем на капитанский мостик.

Много ли мы поднялись выше, а перед нами река, берега и все вокруг приняло совершенно иной, более обширный и интересный вид. Реку мы по-прежнему видим лишь до каменистого обрыва берега, в который она уперлась, но гористые берега выглядят внушительней, и многие сопочки впервые показали свои головы.

Гудок за гудком уплывают по реке, наполняют ее долину и множатся и дробятся в гористых берегах . . . Футшточ-

ные, пассажиры, помощник-дядя, командир — все к чему-то прислушиваются. Слушаем и мы.

Снова гудит-взывает «Иннокентий», и его гудок с переливами и с присвистами уносится в гористую даль . . . И вот где-то, не то в берегах, не то в обрыве загородившем нам путь, зародился какой-то звук. Не то звук далекой трубы, не то мычанье быка или какого-то зверя.

Телеграф в машинное отделение передает какую-то команду, «дядя» делает рукой знак рулевым, усиленно работает за кормой колесо, и на нас наступает берег . . . Футшточные тянут: «Ше-е-е-сть с половино-о-ой! Ше-е-есть! . . Тринь-бринь: телеграф; и пароход опять стал на месте, лениво шлепая колесом. Все чего-то ждут . . . Мычание зверя ясней, и вдруг почти у самого скалистого обрыва, где, казалось, уже нет больше реки, выносится плот . . . Плотовщики усиленно работают длинными тяжелыми веслами, отбиваясь от берега, куда их наносит струя, лоцман их трубит в берестяную трубу и отмахивается белым флагом — просит дать им свободную дорогу. За первым плотом выкатился второй, и там работают весла, трубит труба, и мелькает белый флаг . . . Вот они один за другим быстро проносятся мимо нас, «дядя» что-от им кричит в рупор, ему с плотов отвечают в трубы: «Вали, свободен! За нами больше нет!» — и, передохнув минуту, снова работают веслами, отбиваясь от другого берега. На пассажирской палубе у зрителей разговоры, и чей-то голос с восхищением говорит:

— Ну, и катит же их Зея, несет; только успевай отбиваться; прозевал — пропало всё; разлетится плотишко по бревнышку, и не собрать, а труда-то, почитай, вся зима. Эти и лес гонят, и, видал, две избы срублено: купи, покрой, окна да двери — и дом готов, живи! В низовьях-то готовые дома только дай; хорошо срублен — хорошая цена, и ты заработал, и людям не возиться! раз, два — дом!

Колесо за кормой однотонно и ровно шумит взбитой пенистой высокой волной, работает на «самый полный». Перед носом парохода кипит и пенится бурун, и «Иннокентий» напористо идет против сильной струи и заботливо ведет под руку свою «подругу» — баржу. Скала, закрывшая нам путь, куда-то, не спеша, отходит в сторону, а мы огибаем зеленую сопку, и перед нами широкий, прямой путь; но все зеркало реки уставлено пловучими бакенами, на берегах створы, а на крутом мысу высокая белая мачта, на красной рее которой висят сигнальные шары — диски, крашеные красным и белым. Капитан и «дядя» сразу прочли эту грамоту. «Дядя» — уже на мостике рулевой рубки и там что-то кричит и грозит кулаком баржевому.

На реке целая крестословица сигнальных знаков, и непосвященным разобраться и понять их нет сил. Пароход, то сбавляя, то ускоряя свой ход, крутит и вертит в каком-то невидимом нам лабиринте. Вот он тихо ползет вдоль одного берега, и ни с того ни с сего вдруг заработал задним ходом, почти на месте меняет направление, спешит к другому берегу и, не дойдя до него, задумался, стал и пошел куда-то наискось. И так мы ходим, чего-то пугаемся, задумываемся и уходим то в одну, то в другую сторону. За время этих скитаний среди бакенов, створов, вех что творилось с «дядей»! Он сходил с ума: грозил кулаком рулевым на браже и своим на пароходе и ругался так несносно, что зрительницы на пассажирской палубе укрылись по своим местам, но немало доставил удовольствия прочей публике; однако, лишь на рулевых он не произвел никакого впечатления, и те, хотя и поспешно, но спокойно и согласованно крутили свои штурвалы, и мы выпутались из «чёртова огорода».

С плотами, с «чёртовым огородом» прошло время второго завтрака, но сегодня, оказывается, будет особый обед, не в свое обычное время, а так хочется есть! Волшебник Артамон все предвидит, и пока мы глазели на старания парохода бла-

гополучно перейти перекат и на «дядины» выходки, им был заказан для себя и нас простой, легкий, но замечательно вкусный завтрак: отварной картофель залит сметаной и посыпан свежим укропом, и к нему каждому по большой глубокой тарелке простокваши . . . вкусно!

Обед особый, и дает его Артамон. Меню, порядок подачи блюд, и ход обеда — все по его расписанию. Вина, а для нас фруктовые воды и по стакану красного вина, предварительно разбавленного горячей водой и сдобренного сахаром. Нас трое, и никто из нас не курит, но выпить полстакана хорошего вина мы предпочли бы целому стакану с водой и сахаром, но . . . у нас здесь немало непрошеных опекунов . . .

«Мамаша» и «апостол» благодарили за приглашение хозяина стола, но от обеда отказались, и мы знаем почему: «Не дай Бог! А вдруг там что из свинины или на свином сале, да и осетрик — рыба без чешуи; сплошной грех!» Правда, «апостол» улучил минутку и ловко опрокинул стопку водки поднесенную ему хозяином стола, и, понюхав корочку, скрылся в своей каюте.

Еще засветло пришли к поселку Суражевка и снова стоим под крутым глинистым берегом. На берегу какие-то склады или казармы, здесь строющаяся Амурская железная дорога пересечет Зею, и будет большой железнодорожный мост, и потому здесь и сейчас своя оживленная сутолока и неразбериха в грудах и штабелях материала. Где-то за Суражевкой родился и растет новый город Ново-Алексеевск, но с берега его не видно.

У нас на пароходе тишина, и самый пароход притих и отдыхает после пройденного пути; пассажиры разбрелись по берегу, и на нашем излюбленном мостике лишь мы да мамаша — сидим и тихо ведем беседу . . .

Артамон, «апостол», Степан, командир и помощник-дядя уехали в Алексеевск в баню, и пароход стоит и ждет.

Из разговора с мамашей мы узнаем, что пассажиры третьего класса и трое мужчин, что сели на пароход одновременно с нею в Благовещенске, и несколько человек, едущих на барже как сопровождающие скот, — все они или члены ее семьи, или ближайшие родственники. Вся эта команда под водительством мамаши едет на Селемджу для сбора ягод и варки варенья. Эта поездка у них не первая и потому организована на основании прошлых опытов четко и обдуманно: везут запас сахара, везут посуду, — клепки разобранных бочек, бочонков и бочат, и с ними едет специалист-бондарь для сборки и изготовки новой тары. Роли распределены, и среди мужчин есть и охотник, есть и рыбаки, на обязанности которых — снабжение рыбой и мясом всей артели. Организация так заманчива, что неплохо бы и нам присоединиться к ним, но мы им люди чужие, «инако верующие». Мы не табачники, и, пожалуй, мамаша и молодежь ее отряда не возразили бы, но «апостол» — он и сейчас с нами не разговаривает и смотрит на нашу поездку, как на блажь, а на нас, как на лоботрясов.

— В тайгу за ягодой? Да какая же в тайге может быть ягода? в тайге лес да зверь.

— Ну, миленькие, не скажите, — воркует мамаша, — ягода там скрозь и разная, и ее там видимо-невидимо, и какой только нет! Вот по рекам, по островам — смородина черная и красная, и сколько ее — не обобрать! По этим-то местам смородину зовут «варнак-ягода», а знаете, почему? Не зря ее так назвали! Ягода хорошая, и варенье из нее самое наилучшее и вкусом и духом, и ей это прозвище не обидное, а почему? Да потому, что она людей кормит и от смерти спасает! Вот как настанут летние дни и начнет созревать смородина, как раз этим временем бредут по речкам, из речки в речку, варнаки — беглые с Сахалинского острова; а места-то тут все нежилые, и покормиться им негде; ну, и едят,

горемычные, грибки да смородину . . . вот она и стала варнак-ягода.

Опять же тут малина лесная хорошая-прехорошая, и сладкая, и душистая, для варенья лучше и не надо, и опять бери — не обобрать. Жимолость тоже хороша, а по болотам морошка да моховка. По сырым, широким падям сине или красно от голубики и брусники: брусника-то позже к осени, и мы ее не варим, а мочим большими бочками, а она на кисели хороша или мороженая, после баньки, — прямо лекарство: от головы боль оттягивает. Брусничный лист как чай хорош. Груздей, других грибов, соберем, посолим и посушим — ан и время не зря пропало; а там хлебам созревать — мы уже и дома.

Получено сведение, что вся компания уехавшая в баню, кем-то приглашена в гости на ужин, и нам распоряжение их не ждать и ужинать без них. За столом нас пять: нас трое, младший помощник и мамаша, приютившаяся на уголке со своим ужином. Она пополнила наше общество, а мы, по-видимому, ей нужны как моральная поддержка. Мамашу беспокоит мысль.

— Ах Ты, Господи! — вздыхает она. — И чего это старый увязался за ними? Хороший человек Автоном Андреевич, да уж больно водочке подвержен, ну и не без того, чтоб моего старика уговорить, а ему это нездорово; опять же ему и нельзя: он — начетчик, это вроде как у вас поп. Грех ему, а силы нет, чтоб устоять . . . Что уж таить: в молодости-то мой, как и теперь молодые, вольно думал, а уж в старости грешно . . .

После ужина мы не долго пробыли на палубе; ни на берегу, ни на реке нет ничего интересного, а баржа со скотом привлекла с берега такую массу комаров, что мы предпочли укрыться в каюте и рано легли спать.

Когда вернулись с берега наши гуляки мы не слышали, но утро нас застало на подходе к устью Селемджи.

Неугомонный Артамон разбудил меня ни свет ни заря. Сладкий утренний сон мой прервали чьи-то толчки и тряска за плечо. Еле продрав глаза, я слышу настойчивый шепот:

— Ставай, ставай, казак; будет тебе дрыхнуть, поднимайся, сполосни мордаль, и будем завтракат.

На улице раннее утро, солнце только пытается показаться на горизонте, прохладная речная влажность невольно вызывает дрожь, в умывальнике вода кажется нестерпимо холодной, но зато сразу согнала всю дрёму.

Наш неурочный завтрак по прихоти Артамона, по-видимому в его и моем вкусе, и я не жалел недоспанных часов: опять отварной картофель, отварные кетовые пупки, топленое масло и прекрасная, хоть ножом режь, простокваша.

Моим спутникам тоже не пришлось долго нежиться в постелях. Я их поднял по тревоге: нашей шлюпки за кормой баржи не было, а лишь волочился толстый канат, которым она была привязана к барже.

Гибель нашего судна ни у кого не вызвала сожаления и, вместо естественного сочувствия, доставила многим какое-то удовольствие, а дядя даже так развеселился, что выразил сожаление, что это не случилось много раньше.

Степан и тот нашел, что «что ни делается, все к лучшему».

— Вы, — говорит, — еще Бога поблагодарите, что развязались с этой лайбой: намаялись бы, или где вас расшибло бы о камни, и если бы сами не потонули, то утопили бы все; а уж если будет вам нужна там лодка, то купите легкую долбенку — якутскую оморочу; та на этой реке и родилась и к ней приспособлена . . .

Все это странно и отдает каким-то заговором против нас, но мы уже не жалеем потерянного судна, но жалко десяти

рублей: здесь-то мы на них и купили бы оморочу. Но содеянного не вернешь.

Селемджа

Устье Селемджи. Село Мазаново. Мы стали здесь под погрузку дров.

Как только были поставлены сходни, к нам на пароход поднялся новый пассажир. Пассажир новый, но, по-видимому, всем, кроме нас, знакомый и лицо по этим местам известное. Капитан, помощник-дядя, Артамон, «апостол» — все приветствовали его весьма приветливо, приятельски, но как-то почтительно. Прочая братия кланялась или вовремя исчезала. Чем это объяснить мы не знаем, но чувствуем, что здесь что-то есть. Не одна же его представительная фигура с военной выправкой и пышными усами причиной тому?!

По случаю нового попутчика завтрак принял особый характер, и на столе много необычных для этого часа блюд. Буфетчик приложил немалое старание: свежие грибки в сметане шкварчат на сковородке, холодная с хреном осетрина, хариусы, жареные в сухарях, горячее козье седло, — и всем этим обогатили стол берег и река. Вина и водка во льду. Под водку закусочки-«ассорти» со свежей зеленью выложены на блюдо и цветут красивым букетом, но для дальневосточника венцом всему — отварные кетовые пупки с отварным картофелем, политые топленым маслом.

Шумно, оживленно идет завтрак: тосты, здравицы, взаимные добрые пожелания, а мы всему этому — тихие наблюдатели. Случай дал нам разгадку, кто эта представительная персона.

Наше оружие, развешанное на стенах кают-компании, привлекло внимание «персоны», и она обратилась с вопросом:

— Это кто и куда у вас вооружился?

— Это наша молодежь, — пояснил Артамон.

— Гм . . . знатное вооружение! А винтовка чья?

— Вот сего мужа, — осведомляет Артамон, кивая на меня.

— Его? . . А разрешение на пулевое оружие вы, молодой человек, имеете?

— Нет.

— Нет? Так я эту винтовку конфискую! А вас за нелегальное хранение недозволенного оружия арестую!

— Нет.

— Что значит нет да нет?! Я — горный исправник, и это в моей власти!

— Нет.

— Это почему же, позвольте вас спросить? Что вы за особа? Что, вам законы не писаны?

— Я . . . я имею право; я . . . я — казак!

— А! . . вот оно что! Ну, значит, наехала коса на камень: прошу простить великодушно.

Этот неприятный разговор велся в таком тоне, что ни я и никто за столом до его окончания не понял скрытой шутки. Как я ни был тверд в своих правах, но меня немало смущала настойчивость «допроса»; зато «апофеоз» этой сцены вызвал такой дружный веселый подъем, что бокалы и рюмки заходили быстрей, посыпались тосты и в нашу честь, и здесь вспомнили про нас и затребовали бутылку красного вина, но забыли про воду и сахар, чем мы и воспользовались.

Всего три дня как мы с Амура, но вокруг нас уже другая обстановка: другая природа, другие люди, другие «песни».

Там, на Амуре, мы мало слышали о приисках, о золоте; там — хлеб, урожай, пашня, там всему венец — мирный труд хлебороба. В наших местах широкие долины, обширные поля, луга. Здесь — горы, бесконечные горы, такие же бесконечные леса, темные хвойные леса, — тайга. Здесь

другой человек: неясный, неусидчивый, тревожный скиталец-таежник, искатель быстрой наживы. Здесь другие повадки, другие и разговоры.

Селемджа и горы обступили нас. Высокий лес темной шубой кроет их крутые склоны. Река многим уступает Зее даже в пределах Мазанова, но зато ретиво катит свои чистые холодные воды, и наш «Иннокентий» пыхтит и стонет и медленно ползет против течения. Берега крутые или отвесные обрывы скал; у подножия их пенят струю огромные черные камни. Горы то медленно наплывают на нас, то лениво отходят в сторону и как бы нехотя дают нам дорогу в новый изгиб реки. Ни поселков, ни селений, ни пашни, ни дымка; лишь горы да темный лес — тайга!

Дымок! . . Люди? . . Впереди на узком берегу в наступающих сумерках светит костер . . . вот вверх полетели, с дымом и искрами, подбрасываемые головешки. Пароход дал короткий гудок: «Вижу!» На гудок высыпали на палубу все пассажиры, и идут толки:

— Летучка из тайги вышла, ишь, принять просит.

— С голоду, наверное, дохнут.

— Носит их нелегкая по тайге; нет, чтобы делом заняться.

— Будут они делом заниматься! Все в лес смотрят. Вот передохнут, подкормятся малость, харчишко добудут и опять за свое — в тайгу «ключики» искать.

— Не таковский это народ, чтоб тебе на месте сидеть, вроде как одержимый; а сколько их по тайге гибнет! Уйдут, и след простыл, и помянуть некому.

— Золото, золото, — вздыхает мамаша. — Говорят, сатана его на погубу человеческую посеял.

Пароход, пройдя немного выше костра, стал на месте, умерив работу колеса. Матросы спустили шлюпку и гребут к берегу. Пароход стопорит, и его сносит теперь ниже костра, и тем он облегчит возвращение шлюпки. Зрители, нава-

лившись на борт, ждут, и никого не удивляет, что пароход стал, теряет время, а матросам этот выход стоит немалых усилий; все это так, по-видимоу, обычно, и акт милосердия, что скрыт под этой обычностью, едва ли кем ощущается: «Как же иначе? Здесь тайга».

Как-то сразу и даже неожиданно из сумрака уже темного вечера вынырнула со всплесками весел шлюпка и уже, скрипя на талях, подымается на свое место, а на нижней палубе трое пришельцев с мешками за спиной, и в тощих мешках побрякивают кайлы, лопаты и котелки — несложный и весьма скудный багаж новых пассажиров.

Зрелище не закончено, и все ждут его продолжения, и вскоре на нашу палубу поднялись прибывшие и прямо направились к трапу на капитанский мостик, где их поджидал сам капитан. Прибывшие поснимали шапки, но не успели открыть рот, как капитан предупредил их:

— Платить нечем? Идите; там, может, поможете кочегарам, или спросите что у боцмана. Голодны? Скажите буфетчику, чтобы накормил, или команда покормит, а вы ей что поможете . . .

— Покорнейше благодарим, а за нами оно уже того . . .

Наступила темная ночь, и реки, зажатой высокими и еще более темными берегами, не видно. Пароход стоит на якоре. Над нами неширокая полоса звездного неба, и эту полосу почти под прямым углом перерезал млечный путь, и его туманная дорога притушила ближайшие звезды. Вот Большая Медведица; она здесь почему-то большая и яркая, и мы знаем теперь, где север; это та же карта. Прохладно, да, почти холодно; даже стынут руки. С берегов по реке наплывают ароматы едва уловимые, но приятные — ароматы островных чащ и темных лесистых берегов; ароматы тайги. Пароход затих, и лишь, как его пульс, работает динамомашина . . .

Утро. Солнце уже высоко, и «Иннокентий», как видно, давно в пути. У Артамона компаньоном по раннему завтраку исправник, и нас не будили. На столе еще не убранная посуда, и мы видим, что завтрак был обычным, с простоквашей, но, как новшество — графинчик во льду.

Солнце заливает правый борт парохода, и после холодной ночи здесь, под мягкими лучами еще не жаркого солнца, собралось целое общество: мы, мамаша, Степан и двое принятых вчера с берега — «летучка».

«Иннокентий» трудится и добросовестно работает колесом, а перед нами медленно встают и уходят все новые и новые картины, уходит и время, но глаз не устает смотреть . . .

Вот крутой склон спустился прямо в реку. Река нагоняет на него быструю струю, та крутит водоворот и выбила небольшую, но глубокую бухту-воронку. С самой вершины горы по этому склону и до самой бухточки протянулась прямая как стрела крутая дорожка-тропа. Кто мог ходить по такой круче и так прямо? Кто выбил эту, чуть не отвесную тропу? . .

— Бревна, лес спущают, — заметив наше недоумение, поясняет рыженький, щуплый, с беспокойными глазами и весь изъеденный мошкой один из вчерашних. — Это деревом-бревном нагладили дорожку-желобок, по желобку-то бревно и катится, ни вправо, ни влево, а прямо в воду — нырк! Там тоже люди, и его ловят, плот плотят и гонят вниз — на Зею али на Амур. Спущать лес тоже с умом надо, шибко ходу ему не давать, приподдерживать, местами на ходу по желобу порожки установить надо, чтоб бревно-то одумалось, а то оно с большого-то хода глыбко мырнет, а там камень, оно и в щепы. Без ума-то, что за зиму наробил, все и побьешь; а бревно-то, брат, нелегко дается: повалить, вывезти, спустить, сплотить и пригнать — и времени, и поту немало. Я это дело знаю: был и вальщиком, и плотовщиком, и плотогоном, был и пильщиком, да с этого дела не разбога-

теешь и жиру не наешь, сыт, и то не всегда, бываешь, да и увечий немало.

— А что, вы теперь на приисках работаете? Это лучше? — интересуемся мы.

— Да оно, как вам сказать, лучше или хуже? Придется вот — и поработаешь до поры до времени, а так-то мы сами счастья ищем — летучка мы, но и нам счастье не заказано; и есть у нас на примете обещающий ключик, да силов у нас мало — бились, бились, и вот повыдохлись, поработать надо, подкормиться. Артамона Андреевича просить надо, чтоб не оставил; свой человек — понимает, а уж мы — за нами не пропадет: глядишь, и ему каким ключиков поклонимся.

— Да что ты завел и нудишь как комар, охота им с тобой разговоры разговаривать? Нет того ума, чтоб, пока что, целковик попросить аль полтину, а там уж мы . . . известное дело, отблагодарим, — прерывает второй повествование первого.

Степан знает местные нравы и здешний народ и шепчет нам:

— Шпана приисковая, даже не настоящий хищник; это все врут и ключиком козыряют, пытаются подковать батьку. Они его повадки захватывать тайгу знают; ну, и надеются, что трешка или петух им перепадет, а тут они на берегу шатались и мыли пески; золото-то здесь везде, и если попадешь удачно, то и кормиться можно. Прохарчились они или намыли что и везут китайцам: спустят, пропьют, и будут снова ползать по берегу. Шпана, но это тоже местные типы . . .

Нелегкое плавание по горным рекам, и если на Зее «чёртов огород» заставил нас долго крутить в его лабиринтах, то сегодня мы здесь встретили такой перекат, что «Иннокентий», ведя с собой баржу, совершенно выбился из сил и, как ни пыхтел и не пыжился, стал на месте на якорь, и команда после обеда и короткого отдыха приступила к

сложной и тяжелой работе. Эта работа, видно, для них не нова, а возможно, что на этом перекате и обычна, так как все идет без команд и суеты, лишь под наблюдением боцмана. Эта задержка никого не волнует. Кто, перевалившись через борт, наблюдает работу матросов, кто дремлет, удобно примостившись на солнышке, а за столом кают-компании собрались и пассажиры, и командный состав парохода — беседуют, пьют пиво.

Под второй якорь подведена тяжелая большая шлюпка баржи, и в нее медленно и осторожно спустили якорь, а потом долго в шлюпку текла бесконечная якорная цепь или, по-флотски, «конец». Шлюпка ушла к берегу и около него поднялась за перекат, там опустили якорь, и, травя конец, шлюпка пришла на пароход; здесь свободный конец якорной цепи намотали на паровой шпиль. С баржи вывезли на берег тонкий стальной трос и там, далеко впереди, закрепили его за громадную сосну. Закончив всю эту подготовку, перекурили и дружно взялись штурмовать перекат: паровой шпиль скрежещет звеньями цепи и с неимоверным усилием наматывает на себя фут за футом это завоеванное пространство; на барже веселой человеческой звездой ходят на ручном вороте — лебедке баржевой, «летучка» и любители поразмяться, пассажиры третьего класса, вытягивая также фут за футом стального троса, а «Иннокентий» бешено крутит свое огромное колесо и сбил воду за кормой в сплошную пену — и вот так, общими и всеми усилиями, фут за футом. Настойчивая воля — и перекат взят; и мы, как нам кажется после переката, довольно бойко «пожираем пространство».

Прииск «Загадочный»

Солнце было еще высоко, когда пароход пришел на «Загадочный».

«Загадочный» — прииск Автонома Андреевича, и мы с ним здесь расстанемся. Мы следуем куда-то дальше, в края нам неведомые. Этот вопрос — о конечном пункте нашего плавания — для нас еще неясный, не решенный. Глядя на высокие горы, на темные леса, на изъеденную гнусом «летучку», у нас нет стремления остаться одним в пустынном, глухом краю. В таких местах путь — лишь реки, и средство передвижения — лодка, а у нас ее нет, и нам надо ехать до мест, где мы сможем приобрести лодку и где не так глухо, где больше простору. Такие места обычно встречаются у устья впадающих значительных рек, а карта говорит, что это или река Момын, или река Нора, так что или завтра или еще денек. У устья рек, при слиянии двух всегда веселей: там и рыба, там и охота, и больше возможностей, но для этого нам необходима лодка.

Неприглядное место прииска! Может быть, оно когда-то, пока его не коснулась рука человека, было, как и другие берега реки, свежо, зелено и курчавилось предречными чащами или темнело сумрачной таежной глухоманью, но сейчас на всей площади, что здесь уступили горы, помимо пяти-шести бревенчатых построек, торчащих где и как кому любо, бесконечные пни и отвалы поднятой на поверхность породы. Ни улиц, ни дорог, а ухабистые извилистые тропы, такие, каких не встретишь и в дремучем лесу. Ни уюта, ни привлекательности; и все это — дело рук человеческих.

У «Загадочного» своя особенность, и эта особенность сказывается во всем. Золото здесь не такое, как обычное для большинства других приисков — россыпное; здесь жила: золото вкраплено или влито в твердую каменную породу, обычно в кварц, и добыча его идет не широким открытым разрезом, а шахтами или, вернее, шурфами. Здешняя шахта, в сущности, — простой колодец, над которым временно поставлен горизонтальный ворот для подъема породы бадьей. Зачастую колодец-шахта без всякого крепления, и ле-

пятся они один к другому как только позволяет плотность породы, не угрожая явно обвалом. Колодец берет лишь то, что он накрыл, подработать борта — риск, и этот риск, наверное, многим стоил жизни. Рабочие на прииске — исключительно китайцы. Штат приисковой администрации — раз, два и обчелся, и, конечно, нет никакого технического надзора. О безопасности труда помышляет каждый сам. Здесь везде «люди свои», и все сходит: тайга!

Это мы успели посмотреть, пока у г-на управляющего готовился обед по случаю приезда хозяина и нежданных «дорогих гостей». Нам никто не показал прииска, а мы, не зная куда себя деть до обеда, на который также получили приглашение, самостоятельно с риском бродили среди заросших бурьяном старых и блестящих на солнце изломами поднятой породы новых шахт. Мои приятели — сами люди приисковые; многие годы жизни их летним пребыванием был большой богатый прииск на Амгуни, где их папаша был управляющим, так что они могли судить о постановке дела здесь, да и я, не искушенный в приисковых делах, чувствовал какое-то пренебрежение или преступную халатность. В часы нашего скитания по прииску работы почему-то не велись, и китайцев не было видно, куда-то смылись. Не спугнули ли их пушистые усы исправника?

Дом управляющего прииском — обычный таежный бревенчатый дом, но, он, не в пример другим, обширен, в несколько больших и светлых комнат; обставлен лишь необходимой мебелью, и ничто здесь не говорит о вкусах или привычках хозяина; дом — как почтовая станция, но большая веранда хорошо застеклена и могла бы быть прекрасным зимним садом. Сейчас там нет и признака растений, зато сервируется большой обеденный стол.

Мы на прииске не видели ни одной женщины, и здесь в доме не чувствуется присутствие хозяйки: как-то неуютно, холодно, официально. У стола двое — повар и бой, китайцы,

эти мастера поварского искусства, и стол быстро зарастает разнообразными закусками, продуктами города и плодами тайги. Выставлен богатый набор вин, разнообразных водок, и все это говорит о твердом знании хозяином привычек и вкусов гостей, знании всесильной желудочной дипломатии.

За столом общество: прибывшие на пароходе, хозяин стола, конторщик прииска, он же и кассир, и больше никого из приисковых; возможно, что их больше и нет. Нет «апостола»; мамаша после его поездки с Артамоном в Алексеевское в баню взяла бычка на веревочку, да и нам было наставление:

— Вы уж там, миленькие, поберегитесь; им что: сами пьют, так надо чтоб и люди пили. Не люблю я этого Ерша (Ершов, управляющий прииском); нехороший он человек; дела хозяйского не ведет и хозяина зорит. Не пойму я Автонома Андреевича, с чего такая вера? И все-то ему с рук спущает. Вы уж там не пейте. Квасу или какой водички выпейте, да и чего вам там долго сидеть? Покушайте, хозяина поблагодарите, да и идите сюда, на пароход; на реке-то как хорошо! И их вам не пересидеть, да и умного ничего там не услышите . . .

Обед, как и предсказывала мамаша, затянулся; для нас он утратил всякий интерес, и было занятно лишь одно: по приказанию хозяина, Ерша, его пудель приносил спички. Степан хорошо удружил г-ну младшему помощнику, так что тот осовел и вот-вот уснет. Степан и тут не оставил его без своих забот и шепчет нам:

— Берите его и ведите на пароход — пусть проспится.

Мы поблагодарили хозяина и, откланявшись, «воздели» на себя г-на младшего помощника, как тяжело раненого, и поволокли к месту отдохновения.

Теплый вечер, тихий приятный ветерок отгоняет комара; звездное небо и журчание струи, разрезаемой якорной цепью, навевают приятное спокойствие, и не хочется уходить

с палубы, и все наше маленькое общество сидит молчаливо, не нарушая очарование вечера.

Этот вечер — наш прощальный; завтра мы пойдем еще версты четыре к таежному поселку на той стороне реки и там оставим баржу со скотом; там же мы расстанемся с мамашей, «апостолом» и всей их командой.

Долго мы сидели в приятном молчаливом общении, и вот уже ночь, глубокая ночь, а наших гуляк все нет . . .

Резиденция «Дагмара»

Утро, солнце, на реке нет тумана, и пароход рано двинулся в путь, вскоре мы подошли к поселку. Непривлекательный вид у таких таежных поселений. Здесь житель — не домовитый хозяин, а пришелец, искатель случая, наживы, и если даже кондовый приискатель, то и тот не усидчив: год — здесь, два — там.

Десяток невзрачных, рубленных на скорую руку, бревенчатых изб крытых лиственным драньем, разбежался вкрив и вкось по отвоеванному у тайги косогору. Ни изгороди, ни огорода, пень да колода; ни улица, ни дорога, а натоптанные таежные тропки.

Каков поселок, таковы здесь и люди. Худые или хорошие — кто знает? Люди, как везде, но улыбка здесь не живет. Прежде чем заговорить с вами, вас исследуют, взвесят, раскусят, но и тогда вы не ждите открытой свободной душевной речи; тайга — и это ее печать; прииски и их влияние. Здесь не врастают в землю, приходят взять и уйти, и многие всю жизнь рыщут по тайге, а она, матушка, велика темна и молчалива.

Здесь мы оставили баржу со скотом, и его уже гоном доставят на скрытый в лесах прииск.

Хорошо простились со всеми своими попутчиками, обменялись добрыми пожеланиями, а мамаша напутствовала нас

наставлениями; «апостол» же пожал нам руки! Чем это мы подкупили его?

Снова «Иннокентий» борется с быстрым течением, но теперь без баржи он воспрянул духом, и вот новая остановка — резиденция Доенинского прииска.

Какие соображения закинули резиденцию Дагмара на вершину скалистого берега? Что-то руководило, и что-то заставило ее быть там.

Пароход подходит к самой скале, и так близко, что на широкий каменный выступ, что вроде естественного балкона выдвинулся в реку, с него ставятся короткие сходни. От площадки-балкона вверх в скале высечена многоступенчатая лестница.

Идет выгрузка прибывшего для прииска груза. Бережно и отдельно выгружают для скорой доставки на место назначения ценные по этим местам первые сезонные овощи. В ящиках, корзинах, в рогожных свертках — свежие огурчики, редис, салат, молодой картофель. Тут же ящики с фруктами, консервами, пивом, водкой и разной прочей гастрономией для приисковых гурманов. Растут высокие буты мешков с мукой, крупами и овсом — для населения прииска. Здесь, кроме леса, зверя, ягод и золота, нет ничего своего, и тайгу кормит Амур.

Мы сошли на берег размять ноги, полюбоваться с высоты скалы на окрестности. По кромке обрыва скалы поставлены прочные перила, и, немного отступя, под старой одинокой сосной врыта прочная тяжелая скамейка — место кем-то излюбленное, и не напрасно. Под нами и далеко вправо и влево пологой дугой блещет на солнце река. Горы противоположного берега здесь отошли от реки и образовали ту площадь, в начале которой расположился прииск «Загадочный», окна которого сейчас под лучами солнца иногда блеснут солнечным зайчиком. Река вправлена в широкую темную зеленую раму гор и лесов и с высоты скалы кажет-

ся неподвижной и как будто нам незнакомой, неведомой. Лес, лес, куда ни кинешь взгляд, горы лес, а река — светлая неживая полоса. Казалось бы, что тут увлекательного? Взглянул — и уходи. Но нет, мы молча сидим на скамье и забыли, что мы здесь странники, и перед нами путь. Нам об этом напомнил «Иннокентий» протяжным резким гудком, оповещая о скором отплытии.

Поселок резиденции «Дагмара» — обычный таежный, приисковый поселок, и здесь он — лишь перевалочный пункт грузов, прибывающих летом на пароходах. Здесь те же пни да колоды, и о каком-то плане говорят лишь два склада — амбары, да чей-то жилой дом, вытянутые в линию вдоль довольно наезженной дороги. По другую сторону дороги, несколько в стороне и ближе к обрыву скалы — такого же складочного типа строение, как и амбары, но половина его, что ближе к реке, имеет окна жилого дома, а вторая половина — тяжелую широкую дверь и над ней вывеску: «Лавка». Жилая часть этого строения — квартира заведующего резиденцией, и мы, подходя к ней, столкнулись с дядей и двумя матросами, на руках которых были наши вещи. Дядя объявил нам:

— Где шатаетесь? Идите на пароход и забирайте свое оружие и все, что у вас там осталось; вы останетесь здесь, у Александра Петровича, до следующего нашего рейса! Он будет вам вместо меня, и чтобы после я от него жалоб на вас не слышал! Александр Петрович — человек военный, у него свой порядок, и вы этого не должны забывать.

Мы забрали свое оружие и принесли все, что там у нас оставалось. Что ждет нас под началом человека военного? Где наша вольная волюшка? Не из огня ли да в полымя? Гибель нашей шлюпки теперь в наших размышлениях принимает все более и более таинственный характер. Подозрительный человек этот дядя! Маленький, верткий, резкий и вообще «тип!»

Пароход ушел дальше. Мы провожали и, странно, правда ненадолго, но испытали не то чувство одиночества, не то грусть разлуки, и это в населенном-то месте, среди людей! А каковы бы мы были, покинутые в глухом безлюдном краю! . . Но это была лишь минута.

Все проходит, и мир не без добрых людей. Вот мы уже за чайным столом и присматриваемся к человеку военному, и нам кажется: «Да он сам рад-радешенек свежему человеку, человеку из другого, хотя и недалекого, мира!» Кроме того, это очень простой симпатичный и милый господин; его радушию за столом нет конца, и он даже смущен тем, что мы — гости, правда неожиданные, а он не подготовлен оказать нам соответствующий случаю прием.

— Пейте, братцы, пока чаек вот с вареньем. Марфуша сейчас лепешек напечет. Вот это малиновое — наша таёжная, аромат-то какой! А? Берите, берите, больше берите; этого добра у нас непочатый край! А вот это уж совсем таёжное — морошка. Ешьте лепешки и пейте чай; обедать придется сегодня позже; Марфуше надо дать время что-то сообразить, а может, и достать; у нас тут сейчас оскудение, и только с вами пришло кое-что свежее, но до завтра ничего не достанешь: груз еще не принят. Мы-то тут на солонине перебивались, да иногда что из дичи перепадет. Сам я не охотник, не рыбак и, вообще, в тайге человек случайный, но теперь с вами мы заживем; оружия-то, оружия-то сколько! Целый арсенал! Значит, мясо будет, а наладимся — и рыбу будем ловить. А пока что чаек пейте. Хозяйства у меня нет; я один, и повара не держу, куда мне! Марфуше же все едино готовить для себя, на мужа, ну, и меня столуют. Муж Марфуши при складах, приказчик в лавке, а ее мы проводим как сторожиху. Ну, вот, так и живем.

Как ни как наше неожиданное нашествие и вселение к Александру Петровичу выбило человека из колеи, и он и рад нам и, вместе с тем, смущен, не зная, как нас устроить

у себя; квартира его небольшая — две комнаты: одна — его спальня, вторая — столовая, и из коридорчика к выходной двери еще узкая дверка в какой-то закуток. Он уступает нам спальню с тем, чтобы самому поселиться в клетушке, но мы восстали против этого и в результате долгих и настойчивых убеждений пришли к такому решению: Александр Петрович должен не нарушать порядка своей жизни, иначе мы поставим рядом с домом свою палатку и будем жить там, или он разрешит нам помещаться в столовой, которую мы будем занимать лишь на ночь. Наш багаж и, днем, постельные принадлежности Андрей, муж Марфуши, принимает в склад при лавке, и Александр Петрович лишь должен разрешить нам вбить в стену столовой три больших гвоздя, на которых мы развесим наше оружие, от чего, по нашему невысказанному мнению, столовая лишь выиграет, так как она вообще не блещет убранством. Все устроилось как нельзя лучше, а за обедом мы себя чувствуем уже как дома.

Федя помогает Марфуше накрыть стол и своим умением окончательно подкупил ее; она радушно хлопочет и все приговаривает:

— Ну, уж сегодня как-нибудь перебьемся, а на завтра я тут старику корейцу заказала рыбу, и Андрей вечером съездит туда в поселок; может курицу продадут там или что там мужики добыли, зверя какого. Вот закусите солеными груздями и холодной солонинкой, а птом будет грибной суп и гречневая каша.

Под закусочку Александр Петрович преподнес нам по рюмочке настойки на смородинных почках, а Андрей пояснил, что «смородинная полезна и лучше березовой». А обед был удивительно вкусным.

Андрей, Марфушин муж, — статный молодец с коротко подстриженной русой бородкой, и он приисковый щеголь: свободная бордовая шерстяная рубашка поверх широких плисовых шаровар подхвачена матерчатым шитым поясом,

и лишь одним нарушил он законы прииска: тяжелые с высокими голенищами сапоги заменил легкими хромовыми; стрижен он в кружок.

Марфуша — плотненькая, среднего роста и возраста, круглолицая и румяная русачка. На ней плисовая безрукавка-жакет, расшитая по подолу, бортам и вырезу ворота двойным позументом. Из-под безрукавки видны широкие рукава и грудка белой кофточки или рубашки; короткая красная юбка дополняет ее наряд; она по-летнему босиком; голова повязана косынкой корабликом. Она одета как все здесь, довольно малочисленные, представительницы ее пола. Их здесь называют «семейские», и они, кажется, старой веры.

Мы знаем и не сомневаемся, что Александр Петрович — действительно хороший, симпатичный человек. Он, верно, военный и сейчас в запасе, но он не «громовержец». Рост его не средний и не высокий, он не полный и не худой, а как полагается приличному человеку, тем более военному: он в норме и сохранил свою выправку. Голову он стрижет под бобрик и начесывает его жесткой щеткой. Бороду бреет, а усы подкручивает вверх-рожками. Речь его простая, не витиеватая, понятная и приятная, как и он сам.

Вечером мы, одевшись тепло, долго сидели на обрыве под сосной, любовались сменой красок уходящего дня и слушали тихую речь Александра Петровича.

— Летом все же здесь какая-то жизнь: пройдет пароход, то пронесет плот, или кто-то сплывет на лодках; остановятся, зайдут, и можно поговорить. Летом по берегам реки работают партии землемеров переселенческого управления. Местами проводятся дороги, строятся мосты к будущим поселениям. Почти регулярно в две недели раз проходит пароход этого управления, снабжает необходимым работающие здесь партии. Проходят и частные пароходы, и время течет не так нудно, как зимой.

Зима . . . Мороз здесь бывает временами просто потрясающий, скует всякую жизнь, приостановит всякое движение, создаст угрозу для всего живого: дерево ли то, птица, зверь, человек — все, что дышит. Выжмет соки, оледенит дыхание, убьет легкие, и если не сразу, то потом, постепенно погубит, кого отметил. Река местами промерзает до дна; напор воды, не найдя здесь выхода, рвет с пушечным грохотом лед, а вырвавшись на поверхность, растекается от берега до берега, образуя наледи. Замерзая, они курятся морозной изморозью, скрывая опасную полынью. Тяжелый и опасный путь зимой по таким рекам, и поездка совершается лишь по крайней необходимости. Спасает книга, но и от книги начинаешь дуреть в этом заточении. Этой осенью с последними пароходами думаю податься в жилые места. Тянет к людям; хорошо бы к морю, а еще бы лучше к теплому . . . Я на востоке после японской войны. Побыл в Маньчжурии — служил на дороге на маленькой станции; перебрался в Приморье, к людям, а оттуда сюда на заработки, и вот теперь, промерзнув здесь, мечтаю из Владивостока совершить путь теплыми морями к себе на родину в Черноморье . . .

Час уже поздний; прохлада ночи и сладкая сонливость гонят нас в постель.

Прииск Некли

Мы не заснули, а провалились, как только наши головы коснулись подушек. Провалились в какое-то глубокое, приятное, мягкое небытие, сон без сновидений, без грёз — в полный телесный и душевный покой.

Из этого, так нам сейчас дорогого «небытия» вернули нас к жизни, к сумеркам, едва освещенным свечой, усиленные встряхивания и настойчивые требования Александра Петровича:

— Вставайте, вставайте, братцы, одевайтесь поскорее, потеплее, и айда! Ехать вам на прииск к управляющему на завтрак!

— Какой управляющий? Что за завтрак? Да мы лучше еще поспим, мы не поедем!

— Ну, ну! Не разговаривать, и вставайте: управляющий прислал лошадей и ждет вас к завтраку!

С усилием согнав сон и немного придя в себя, мы слышим, временами, за окном тихое воркование бубенчиков, топот конских копыт. Сонные, вялые, одеваясь, мы с трудом находим свои вещи. Приведя себя в порядок, мы уже знаем: управляющий прииском Некли прислал за нами лошадей и приглашает на утренний завтрак и погостить на прииске — быть его гостями. Делать нечего, надо ехать.

Ночь, темень, и мы, выйдя на улицу, с трудом различаем силуэт стоящей перед нами тройки и ее кучера. Сыро и холодно. С реки тянет тонкую пелену тумана. Мы ее почти не видим, а ощущаем влагой на платье и на лице, и нас знобит — то ли от этой сырости и холода, то ли от внезапного раннего пробуждения. Мы ежимся и уже жалеем, что не оделись теплее.

Широкий тарантас толсто и мягко выстлан сеном и сверху покрыт чем-то; в темноте не видно, чем, да нас это и мало интересует: не все ли равно, ковер это или простая рогожа? Вся эта таинственность — темные силуэты тройки и кучера, туманная муть, бормотанье бубенцов — прогнала нашу сонливость и мы, вздрагивая от холода и сырости, уже предвкушаем удовольствие длительной прогулки на лошадях, прогулки по новым, незнакомым местам: ведь наша цель пребывания здесь — познание мира-вселенной.

Глухо бормочут приглушенные ремнем бубенцы пристяжных; мы в тайге, и это не свадьба, а таежная глухая в ночи дорога! Всякий излишний шум здесь ни к чему. Тройка некрупной рысью уверенно идет по давно знакомой дороге.

Дорога не из гладких, и нас изрядно встряхивает, а то и валит то на одну, то на другую сторону, но мы к этому привыкли и на других дорогах и даже на некоторых улицах города, и дороги без ухабов, без тряски, себе не представляем. До Некли одиннадцать верст таежной дороги, и во тьме ночи она кажется бесконечно длинной. Нас начинает укачивать, и не поймешь — то ли нам нехорошо, то ли клонит ко сну. Кругом мгла. Не так видим, как ощущаем, что едем лесом; лесные запахи наплывают, чередуются. Чувствуем, что лес обступил нас непрерывной стеной, оставив нам одну узкую дорогу. Скучно . . . Федя хитрый и заводит речь, наводящую на размышления:

— Вот у нас на Амгуни кучера, брат, — только держись! Лошади в масть и на подбор.

Кучер нашей теперешней тройки сел плотнее на облучке, подобрал вожжи, надвинул покрепче свою шапочку, свистнул — и тройка рванула. Уже в слабых сумерках наступающего утра видна широкая спина коренного, мерно раскачивается он на широкой рыси; пристяжные, взяв присвоенную всем присяжным манеру, свились калачом, идут ровным, спокойным щегольским махом. Бегут навстречу нам в утреннем тумане привидения-деревья, а тарантас сошел с ума; он уже не встряхивает на ухабах, он не валит нас со стороны на сторону: он трясет, подбрасывает и бьет нас, и наши души готовы покинуть наши бренные тела. Но Бог милостив, и кучер — не убийца. Попридержав свою оскорбленную тройку и повернувшись к нам, он улыбается бородатой физиономией и весело осведомляется:

— Ну, как, господа почтенные, прокатить еще? Амгунские тройки и дороги и мы знаем: сами бывали там. Понимать надо — место месту рознь! Там дороги — скатерть, сухой грунт, а тут — видали? Сплошь болото, и едем по накатнику, как по ребрам. Тут мука, а не дорога! Коню, человеку, всему снаряжению увечье! Сейчас что? Сухо! А начнутся

дожди, и всплывет дорога — тогда лишь вершмя да вьюком, да и то ломка ног. Самая что ни на есть тайга!

Вот и прииск. Перед нами в лесистой пади внизу там и тут дымят трубы жилого поселка. Поселок, как и все таежные поселки, не имеет плана, а застроился, кому, как и где пришлось, где и как позволили ухабы, пни да овраги, а местами еще не снятый лес. Это не селение оседлого люда, а табор.

Мы стоим, а наш ямщик оправляет на лошадях сбрую: перетянул чересседельник у коренного и снял ремешки с колокольцев под дугой и с ожерелий бубенцов у пристяжных; вскочил на облучок, а тройка, зная важность момента, дружно и весело берет с места. Широко и твердо вскидывает ноги коренной в какой-то особой, важной, полуиноходи; пристяжные, как давно сыгранный ансамбль, уверено ведут давно заученные роли, мерно отбивают мах за махом. Колокольцы хорошо подобраны и спелись, и сейчас им вторят бубенцы пристяжных. Хор любимых звуков — и мы увлечены этим певучим полетом и не видим и не чувствуем ни ухабов, ни толчков и не знаем, были ли они на этой части нашего пути.

Хозяин прииска — управляющий — встретил нас на крыльце. Это уже человек в годах, за шестьдесят. Плотный, широкоплечий, среднего роста мужчина. Легкая седина серебрит виски коротко стриженной его головы. Фигура его несколько тяжеловата, но еще хранит запас сил. Серые глаза вдумчивы, спокойны. Утро прохладно, и на хозяине мягкая курточка-жакет, мягкие невысокие опойковые сапоги, какие любят пожилые люди. Приветливо лицо, приветлива и речь.

— Милости прошу, проходите и давайте знакомиться. Я — Иван Семенович, а из вас кто-то двое — сыновья Василия Мартыновича?

Мои спутники представляются хозяину, и тот по-отечески треплеп каждого по плечу и умиленно шепчет:

— Рад, очень рад видеть сыновей друга! Да . . . вот . . . пожито и немало исхожено . . . Рад, очень рад видеть вас у себя! Ваш приятель? . . Друг? Очень рад, молодой человек! С вашим папашей не встречался, а фамилию вашу слышал. Друзья, приятели? . . так-так . . . Счастливое время — дружба в такие годы. Надо дорожить, хранить, а после, вот так в наши годы, вспомнить о ней, о дорогом прошлом . . . Прошу, проходите, господа, и сейчас будем завтракать. Идите, я покажу вам вашу комнату и надеюсь, что вы поживете у меня, а сейчас приводите себя с дороги в порядок — и за стол!

Большая, светлая, застекленная веранда; большой столовый стол сейчас накрыт на одном своем конце для четырех. На отдельном столике пышет жаром и дышит паром блесящий объемистый самовар. На столе, перед приборами, блюдо с горой румяных пирожков. Сервировка стола не богата, но одного сервиза, блестит и чиста, как, кажется, и все в доме дышит здоровой свежестью. Прислуживает старичок, бой-китаец.

Наша встреча и беседа за столом как-то сразу приняли свободный ровный и приятный, как в родном доме, тон. Хозяин дома, по-видимому давно не выезжал из своего медвежьего угла, и нам понятен его интерес к тому, как живет и чувствует себя его старый друг Василий Мартынович, что он поделывает, какова его семья, и кто где учится, работает или служит. Его интересуют все мелочи далекой от него жизни, жизни друга, жизни другого мира. И мои приятели охотно, как своему родственнику, все ему сообщают, поясняют, и их беседа носит простой, семейный характер.

Мы отдали должное вкусным пирожкам, встаем из-за стола немного отяжелевшими и совет хозяина отдохнуть с дороги принимаем весьма охотно. Ставни окон нашей ком-

наты уже предусмотрительно кем-то закрыты, в комнате приятный полумрак, и пахнет хвоей от больших веников, нарезанных лиственничных ветвей-лап.

Вот это сон так сон! Здесь обед в двенадцать часов дня, и нас пришлось будить. Как приятно после крепкого сна умыться холодной водой, стряхнуть с себя сонную лень и снова стать бодрым! Когда мы вышли к столу, то веранда была полна приглашенных к обеду. Приглашена, по-видимому, вся администрация прииска, и нас село за стол человек шестнадцать. Мы были представлены гостям.

— Вот Федя и Вася — сыновья моего старого закадычного друга Василия Мартыновича! Из вас наверное кое-кто его знает по Амгуни или другим приискам. А сей муж — их друг-приятель; и вот прошу любить их и жаловать.

Общество без дам, как и на Загадочном, и я не знаю, есть ли вообще женщины на приисках, или здесь лишь мужское общество потому, что наш хозяин вдовец и старый бобыль, или для того, чтобы сразу нас ввести в тот круг, с которым на прииске, при ознакомлении с его работой и жизнью, нам придется соприкоснуться.

Все общество за столом, как и сам хозяин, — старые таежники, приисковая кость. Народ не речистый, простой, дельный. Здесь не тратят драгоценное время на приглашения отведать, на соблюдение этикета; здесь смотрят в корень дела, а потому каждый действует по своим возможностям и способности, каждый берет то, что ему по вкусу, и столько, сколько в состоянии осилить, и наливают свои рюмки из тех графинов и бутылок, которые, по-видимому, им давно известны, сами дотягиваются до них рукой или просят соседа передать. Да и как быть иначе? Стол обслуживает тот же старичок китаец, и так же один. Пили, ели и хвалили повара, а подпив, потребовали его на линию и чествовали хорошей стопкой водки. Но повар, надо думать, не зевал и на кухне: щетинистый, седой, с багрово-синим но-

сом-дулей. Пили, ели много, но это были все крепкие головы, и из-за стола встал каждый твердо. Не засиживались, так как день рабочий, и все разошлись по местам своих служб и работ.

У крыльца две долгуши (в России, кажется, они носят название линеек), каждая запряжена парой лошадей. Экипажи эти нельзя назвать удобными, но по этим местам, видно, они более применимы. С долгушами ожидало несколько вооруженных стражников. Трое бывших за столом уже успели сходить в контору и вернулись к долгушам (это очередная комиссия по съемке золота с «машины»). В состав этой комиссии включены и мы. Для моих приятелей это дело знакомое, а для меня ново, и я еду с большим интересом, а наличие вооруженной стражи придает этой поездке какой-то особый, можно сказать, приключенческий оттенок. У одного из членов комиссии на ремне через шею висит тяжелая стальная кружка-кассета. Я помню такие кассеты-копилки, их можно было получать в государственном банке при наличии в банке вашего сберегательного счета, и многие из наших ребят имели эти красивые прочные копилки; но эта, приисковая, была много, раз в пять-шесть, больше банковских, но такая же замысловатая и прочная. Второй член комиссии имел в руках книгу-журнал.

Едем между пней и колод, и вскоре перед нами предстала «машина». Это не машина в обычном смысле слова, а целое сооружение — цех, фабрика, в общем, самостоятельное приисковое оборудование. Пологим небольшим виражем поднимается на сваях въезд на широкую площадку эстокады. По этому въезду подымаются тяжелые двухколесные конные тачки — вместительные ковши, сбалансированные на оси. Каждую такую тачку сопровождает погонщик, мальчишка или женщина. Мерно шагают сильные лошади и ввозят тачку на площадку эстокады и здесь, по давно заученному, сотни раз повторенному в ежедневной одной и той же

работе, сами, без команд и понуканий, там где нужно, абсолютно точно делают поворот на 90 градусов и, пятясь, накатывают тачку на порожек над люком, а вовремя снятый погонщиком курок, крепящий тачку в пути, при толчке о порожек дает тачке возможность легко опрокинуться и высыпать свой груз в люк. Тачка за тачкой мерно, по установленному порядку, подходят, разворачиваются, опрокидываются и ссыпают свой груз — золотоносную породу — в люк промывальной машины, или, как здесь говорят, в «бочку».

Массивная железная решетка заменяет широкие ворота промывальной машины. На воротах массивный, под стать решетке, замок и шнур, опечатанный на дощечке большой сургучной печатью. Комиссия свидетельствует замок и печать, результат заносит в акт съемки сегодняшнего дня, и все мы крепим его нашими подписями. Снята печать, снят замок, открыты ворота-решетки, и перед нами вся механика этого сложного дела!

Огромный железный цилиндр на наклонной оси медленно вращается, в нем грохочет переворачиваемая и промываемая отрегулированной струей воды порода (здесь — галька и песок). Стенки цилиндра равномерно покрыты круглыми отверстиями в медный пятах величиной, через которые вода выносит мелкую породу и с ней, здесь россыпное, золото. Вода и с нею вымытая через отверстия порода и золото широкой полосой падают на наклонный к воротам пол. Вода и порода стекают в желоб, по которому скатываются в подъезжающие такие же тачки и увозятся в отвал. Сейчас работа «машины» остановлена, не грузится порода, не льется вода, и не вращается бочка; сейчас другой процесс, сейчас съемка.

Часть охраны — два стражника — остается за воротами на улице, двое других, комиссия и съемочная артель входят внутрь. Рабочие босы. Глаза их быстро бегают по стенке бочки, не засела ли где крупная «самородка»? При ловкости

можно стать ее владельцем. Пол устлан тяжелыми чугунными, но небольшими рамами. Рамы эти создают сотни мелких порожков, на которых задерживается тяжелое золото, часть шлихта и мелкая галька. Эти рамы лежат на ворсе толстого бобрика, который и принимает в себя мелкое, но тяжелое, золото; но крупная «самородка» может лежать и среди задержавшейся гальки, и вот почему у рабочих, снимающих эти чугунные квадраты, глаза также неспокойные и ищущие, но стража и комиссия следят за ними и их босыми ногами.

Сняты чугунные порожки, легкими скребками согнана ненужная промытая галька, и подымается полоса за полосой бобрик. Снят бобрик и промыт в особом отделении в специальной ванне, и все, что собрано, переносится на промывной аппарат «Американку» — «Вашгольт» или, по-местному, «вашгорт». Здесь спец и виртуоз своего дела — косой татарин — на гладком полу аппарата в тонком слое текущей и все время регулируемой воды нежно и ловко работает легким липовым скребком, сгоняя ненужный шлихт и мелочь тяжелых пород, а в «головке» полоской желтеет то, что человек добывает таким трудом и зачастую с большими лишениями.

Какая сказка! — «Он склонился над ручьем и был поражен! Яркий блеск ударил ему в глаза! Золото!» — Чушь! Червонное золото не блестит, даже шлифовка мало придает ему блеска, а в натуре вы его легко можете принять за кусочки желтой глины, что и случилось со мной. Мы — члены комиссии — сидим вокруг «американки». Косой и босой татарин работает скребком, и за его пятками медленно отходит все то, что не нужно, и среди этого отхода я заметил желтенький кусочек глины и, так как этот кусочек был близко ко мне, то я попытался раздавить его пальцем, но наткнулся на что-то твердое. Мое движение обратило на кусочек внимание и других присутствующих; кусочек был пе-

реброшен в головку к другим подобным, а татарину заметили строго:

— Ты, косой чёрт, мой так мой, а то и с вашгорта долой!

Золото снято, просушено и ссыпано в кружку-кассету, и мы с конвоем едем в контору, где наша добыча тщательно взвешивается и протоколится в журнале, и вся комиссия, а значит и мы, ставит свои подписи, чем и «увековечивается» память о нашем пребывании на прииске Некли.

Прииск в своей работе не знает никаких праздников; работает народ многих национальностей, многих вероисповеданий — кого только здесь нет! Русские, татары, китайцы, корейцы, есть и поляки и латыши — сегодня одни, завтра другие, и никакой тут календарь не выдержит. И вот, взамен праздников, два дня каждого месяца — отдых. Отдых для всех — людей и животных, каждое первое и пятнадцатое число. Отдых необходим, но какой здесь может быть праздник? Ни молитвы, ни веселья! Глухая тайга, болото, тяжелая пьянка и еще более тяжелый труд!

**
*

Мы попали на прииск в один из дней отдыха, вернее накануне его, и вот завтра — пикник! Странно как-то звучит: в глухомени тайги — и пикник, на «лоно природы», из одной глуши да еще в большую! Пикник по случаю дня отдыха, по случаю прибытия свежего мяса (завтра шашлык), по случаю прибытия свежих овощей и прибытия нового запаса «питейного». Возможно, что нужна какая-то встряска, хотя бы на день что-то другое, смена постоянной обыденщины. Нам трудно это понять в первый день пребывания на прииске, при сознании, что мы — вольные птицы и здесь не постоянно.

Пикник — экскурсия за перевал на таежную речку Мамын. Здесь дело связано не только с увеселительной про-

гулкой и хорошей выпивкой, а тех, кого это касается, интересует и самая речка.

Чем же интересна Мамын? Здесь, среди участников пикника, как мы видим, нет ни рыбака, ни охотника, кого могли бы соблазнить богатства тех мест, но кое-кого интересует другое: давно идет слушок, что на Мамыне работают «хищники» — люди без прав на эту разработку. Слух таков, что работают неплохо, хотя вся их «механизация» — своя, местная, кустарная. На этот слушок и на этот пикник приехал непрошенный гость — наш старый знакомец Артамон, и его управляющий Ерш. Наш хозяин с ними радушен и гостеприимен, и это естественно и чистосердечно, но, как говорится, «дружба дружбой, а табачок врозь», и мы видели, что с вечера, когда снаряжали караван со снедью, палатками и прочим, старшему каравана был дан какой-то наказ.

Пикник шумный, бестолковый; кроме стола, заняться нечем, а тут еще пошел дождь, навалила мошка и комар. Дым от дымокуров выедает глаза, и что ни возьмешь в рот — все пахнет дымом; но раз взялись за гуж, то пьют и едят добросовестно, и так чтобы не везти остатков домой. Что это за народ, какая стойкость, сила! Вот тот, долговязый — это кассир; он сумрачный, молчаливый, ест он умеренно, не торопясь, и так же, не торопясь, пьет, но вы знаете, что он пьет? Спирт! Чистейший спирт! И вчера за завтраком пил спирт, а потом пошел на службу, в контору. Опытные люди нам пояснили, чо «это ничего — спирт пить можно, но только надо знать и уметь, как его пить, а пить можно! Да здесь не один он пьет спирт. Здесь даже есть бабы, которые тоже могут пить спирт!»

В палатках сыро, неуютно, грызет комар, но пир идет. Пир без речей и тостов. У взятой с собой музыки — граммофона — дорогой что-то свернулось или отвалилось, и он, безмолвный, забытый, лежит за палаткой, прикрытый каким-то грязным мешком.

Пир не пир, но все оживленно выпивают и вяло жуют потерявшую в случайной посуде и бумажных свертках вид и вкус разнообразную снедь; и кажется, что всем скучно, и что как бы было бы хорошо со всем этим сидеть на обширной веранде дома управляющего и, под тихий шум дождя, коротать за столом часы отдыха.

Обозу приказано снимать лагерь, вьючить лошадей и выступать в обратный путь, с тем, чтобы день закончить как люди — сухими, умытыми, в приятной спокойной обстановке. Лагерь повеселел, и сборы идут быстро, а более нетерпеливые, поседлав лошадей и выпив на дорогу «стремянную», веселой перекликающейся цепочкой потянулись по узкой таежной тропе.

Управляющий, два стражника и мы идем к хищникам. Это недалеко, в полутора-двух верстах от места пикника вниз по Мамыну, там, где он вышел из гор в широкую пологую болотистую долину.

Наше появление там, да еще в сопровождении вооруженной охраны, смутило артель золотоискателей и заставило ее насторожиться. Прием нам был, если и не открыто враждебный, то уж никак не теплый. Работа на прииске-плоту сразу остановилась. Вопрошающие взоры обращены на нас и ясно говорят: «В чем дело? . . Зачем пожаловали? . .»

Ивана Семеновича такой прохладный прием не смутил, и он не то просит, не то приказывает:

— А ну, братцы, подай лодку! . .

«Братцы» не очень-то спешат. От пловучего прииска не совсем охотно отделилось с одним гребцом немудрящее суденышко «бат», неуклюжая долбленка из ствола тополя, и медленно идет к нашему берегу.

Бат приткнулся к берегу. Приглашения не следует, и Иван Семенович идет и с опаской влезает в это вертлявое корыто или, как он тут же окретил его, «душегуб», боязли-

во усаживается и цепко держится руками за грубо отесанные борта.

Какие вел там переговоры этот старый приискатель — возможно, когда-то такая же «летучка», а теперь управляющий прииском — неизвестно, но мы видели, что настроение на пловучем прииске изменилось: исчезла настороженность, люди задвигались, послышались голоса, а то и смешок, и бат отчалил от плота и пошел за нами. Вот мы по одному, по двое благополучно доставлены на плот. Плот — пловучий лагерь, он же прииск, и здесь много интересного и заманчивого для нас.

По нашим заключениям, у хищников дело поставлено «замечательно, просто на ять! Вот бы нам пожить так!»

Довольно большой плот в три сплотка стоит сейчас на середине реки, растянутый на канатах. Канаты свиты из тонкого распаренного ивняка, свиты умело и, по-видимому, прочно. На берегу они прикреплены к деревьям, а на плоту ловко зажаты клиньями под поперечными крепями. Запасы канатов спущены в воду, чтобы без нужды не сохли. Эти канаты не только держат плот на реке: удлиняя один и укорачивая другой, можно передвигать плот от одного берега к другому и таким образом работать во всю ширину русла. На верхнем (по течению реки) конце плота жилой табор. Здесь на довольно высоком помосте стоит вместительный балаган, хорошо крытый берестой и корьем (кора лиственницы). Под небольшим навесом от дождя — подобие русской печки, сбитой из глины, и тут же очаг для костра. Из вытесанных пластин — стол, чурбаки-табуреты; все просто, грубовато, но продуманно и удобно. «Вот бы нам пожить так!» Здесь работает артель из четырех человек, и пока Иван Семенович заканчивает свой разговор, по-видимому с атаманом артели, остальные трое охотно нам демонстрируют и поясняют всю технику своего промысла.

Прииск работает породу со дня реки, обычно на ее порожках-перекатах, для чего сооружена и оборудована «драга». Нижний конец плота — это отдел добычи. Здесь также все на своем месте: просто, грубо, но продуманно и остроумно. Обрезок дуплянки диаметром в обхват и величиной в полроста человека, надет на хорошо отесанный стержень-палец, прочно укрепленный на плоту; это ворот — шпиль. На шпиль намотан тонкий стальной тросик, свободный конец которого прикреплен к железной дуге — ручке ковша-трала. Ковш — это железный полуцилиндр с плоской основой по своей длине. Представьте себе железную бочку и разрежьте ее сверху донизу, по этому разрезу приладьте плоские днища, и вы получите два ковша. К плоскому днищу ковша с открытой его стороны прикреплен стальной сошник-нож. К верхней дуге ковша на шарнире прикреплена длинная тяжелая жердь. Ковш сталкивают с плота в воду, он плывет, шпиль травит тросик, а жердь в руках рабочего отводит его на нужное место; как только шпиль перестанет травить тросик, ковш, под толчком жерди, черпает воду, тонет и ложится на дно. Два человека на шпиле, наваливаясь грудью на водила, вращают ворот и тянут ковш, который, придавленный жердью, врезается сошником в грунт, набирает в себя породу и подползает к плоту. Здесь небольшое перестроение: тросик ослабляется, его багром наносят на ролик вынесенной вперед короткой стрелы, снова работает шпиль, и ковш, груженый породой, подымается на поверхность воды. Здесь его подхватывают баграми и силами всей команды поднимают, и его содержимое вываливается в небольшую бутару для промывки.

Тяжелый, адский труд! Такой труд можно затратить при условии несомненно богатого содержания золота в породе, способного окупить с лихвой все эти затраты и лишения. Однако, как можно понять из отрывков разговора Ивана Семеновича со старшиной артели, такого золота здесь нет! Но по-

жить на плоту, где все так удобно, где рыбьи косточки под столом и чешуя насохшая на доске, на которой кто-то чистил рыбу и, как следует ее не вымыл — все говорит о другом богатстве реки! А под береговыми камышами мы уже видели не один выводок, почти на взлете, утят! «Вот бы нам пожить так!»

— Пустое дело, Иван Семенович! Просчет у нас! Начали мы с верховья, с порожжков-перекатов там шустрых, и дело пошло как будто ладно, не только на хлеб, но и на табачок... Поработали, выработали и спустились ниже, и чем ниже, тем хуже, бедней, а сейчас работаем лишь на харч. Затратились мы, лето потеряли, и надо как-то добиться до осени. Плот — лес, и мы его продадим осенью молоканам, артели, что наезжает сюда за уткой. У нас есть еще лес по берегу, еще сплотим два плотика — им надо три; дровец им заготовим и как-то зиму перебьемся, а там что Бог даст...

Совещание на чем-то порешило и ударило по рукам, и нас радушно проводили, а Ивана Семеновича вся артель благодарила и обещала в чем-то постараться.

Как в гостях ни хорошо, а дома лучше! У нас на Дагмаре остались ружья — вся наша настроенность и цель приезда на Селемджу, и наш милый хозяин понял это и не стал нас задерживать. На другой день после пикника, хорошо и плотно позавтракав вкусными пирожками, мы распростились с хозяином и прииском, и ясным прохладным утром та же тройка, с тем же кучером катит нас неторопливой рысцой по тому же накатнику.

Встреча наша с Догмарой, с ее милыми нам «домочадцами», со сверкающей на солнце и дышащей на нас свежестью Селемджей, была радостной. Здесь знали о нашем возвращении, и Марфуша постаралсь: обед был на славу — не только обилен и вкусен, но и оживленно весел. Мы все выпили по рюмке настойки на смородинных почках, и это было не только полезно, но и, бесспорно, приятно.

Вечером наша колония увеличилась еще на одного человека. Как нам потом стало известно, управляющий прииском, зная от нас наши широкие планы о предстоящих экскурсиях, подослал нам негласно проводника, а вернее, наставника-надзирателя, одного из служащих прииска, страстного охотника, хорошо знакомого с этими местами. При знакомстве и разговоре с новоприбывшим выяснилось, что Пантелеймон Иванович мне что-то вроде родни, и я многих из его рода знаю, а с ним встретился только здесь, хотя слышал о нем и раньше. Весь род Б-шевых — страстные охотники, прекрасные стендовые стрелки, охотники-спортсмены, а Пантелеймон одержим любовью к природе и так же как и мы, познает мир-вселенную, для чего после шести классов гимназии бросил ученье, отслужил вольноопределяющимся военную службу и теперь кочует и бродит по всему Дальнему Востоку, став его словесной географией. С прибытием Пантелеймона наша охотничья артель возросла до пяти персон: пятым включился Туан, сеттер-ирландец. Ирландец в годах, но добросовестный и не менее страстный, чем его хозяин, работник-охотник.

Жизнь на Дагмаре вошла в нормальную, ровную, приятную колею. Никто никому не докучает, не мозолит целые дни глаза, все занялись своим, а вечера проходят в приятных спокойных беседах, пополняющих наши знания о жизни этого глухого, мало обжитого, края.

Мы часто исчезаем из дома без завтрака, уходим с первыми лучами солнца на примечательные и известные Пантелеймону места тайги или на берега Селемджи, а чаще всего переправляемся на заарендованной лодчонке на острова. Острова нам приятнее всех других мест; здесь нет утомительного однообразия леса-тайги, здесь такое смешение пород, такое разнообразие, такое обилие ягод, цветущих кустарников и цветов. Всегда влажно, прохладно, и ветерок с реки спасает от несносных полчищ мошки и комара. Сейчас

не сезон, и наши охотничьи трофеи невелики, и если нам удается взять несколько пар рябчиков, то мы их несем «домой», а там Марфуша положит их на два-три дня на лед, а потом так запечет в глиняном горшке и такой подаст к ним соус из голубики, что есть из-за чего потрудиться и даже покормить комаров. Около нас нет рыбака, мы не знаем местных условий лова, да, откровенно сказат, с удочкой, кроме меня, никто не знаком, да и я знал удочку только как детскую забаву, да чтобы изредка потешить душу с хромым Василием Высоцким на ловле по нашим амурским озерам карася, когда цветет черемуха. Не зная, мы прошли мимо, не испытав спорта — ловли крупных хищников по горным холодным и быстрым речкам.

Наше общество для нашего помещения достаточно велико, и мы, чтобы не стеснять «коренных жителей» и не создавать Марфуше лишней работы с уборкой, поставили свою вместительную брезентовую палатку, и это теперь по вечерам наш клуб, а днем, если бы кто захотел вздремнуть — тихий уютный павильон. Место для этого клуба не придумать лучше: хотя оно в пяти шагах от окна нашей столовой, а по ночам — спальни, но на берегу ключика-речушки. Под самым окном спальни Александра Петровича из-под камня вынырнул маленький ключик. Чистый как слеза, и такой холодный, что нельзя сразу сделать большого глотка. Александр Петрович вынул еще камень, и образовалась маленькая чаша, в которой он держит перед обедом свой небольшой графинчик. Мы потрудились — расчистили и спланировали площадку, прочно и основательно поставили палатку, пол в палатке выстлали хвоей лап лиственницы, а перед палаткой в яме соорудили из камней очаг для вечернего костра, а иногда варим здесь и уху, если добудем какую рыбешку, а то и просто чаек. Вывернули несколько больших камней, расчистили бассейн, и ключик наполнил его

такой же чистой, но менее холодной водой, наполнил . . . перебрался через край и пустился в дальнейший свой путь.

В редкие ненастные дни мы спим на душистой хвое в своей палатке, пока не раздастся голос Марфуши, призывающий к очередному столу, а в сухие тихие вечера здесь часто собирается все наше общество выпить перед сном кружку лагерного чая, посидеть, посумерничать и, глядя на перебегающие огоньки догорающего костра, вспомнить и поведать нам какую-нибудь таежную быль.

***

Здесь мы только узнали причину прикомандировки к нам добрейшим Иваном Семеновичем Пантелеймона Ивановича, и узнали мы в его отсутствие — он на день-два уезжал на прииск. Узнали мы это от Марфуши, которая отговаривала нас от намеченной нами на завтра самостоятельной экскурсии в тайгу на вечернюю сидку на солонцах караулить козлов. Марфуша сказала:

— И Боже упаси вас одним ходить; местов не знаете, тут люди век свой живут, да блудят. Ведь тайга, в ней всяко бывает, и не ровен час, да не приведи Господь, что может случиться! Да и Иван Семенович узнает — серчать будет, и Пантелеймона Ивановича тоже по головке не погладят — на что, мол, был представлен, и куда тебя унесло? Греха не оберемся! Да вам там и не усидеть: комар, мошка — муки египетские, а ночью дороги не найти.

Я вот вам расскажу, что с Михайлом, стражником-то, случилось, год или два назад. Михайло здесь стражником, почитай, десяток лет, да и в тайге с пеленок, а вот как над ним нечистый подшутил! Ездил Михайло на речку Мамын, вот где и вы были; место уж, кажись, не так далекое, и Михайло его знал не хуже своей избы. Едет Михайло тропой, и тропа ему знакома. Едет, и винтовка по таёжному висит

у него на правой руке. Вот, значит, едет и едет . . . и вдруг видит — на тропе стоит козел. Ну, раз, два, и прямо с коня трах по козлу, и козел пал — Михайло-то здесь первый стрелок. «Вот с мясом домой приеду, и везти недалеко!» Слез с коня, по-таёжному привязал его к веточке — конь старый, испытанный — и идет к козлу, смотрит под ноги: найти бы камешек, нож поточить да козла выпотрошить. И что вы думает? Михайло лишь к козлу, а тот — пых! — на ноги, да скачок, пятый, десятый и снова пал. Михайло, значит, и думает: «Пристрелить бы надо, а то как бы не ушел козел; лето не зима, и следить трудно, да патрона жалко. На козла-то два патрона? . . многовато!» И опять к козлу, а тот опять на ноги и поскакал . . . «А, чтоб тебя леший забрал!»

Вот и забрал леший. Михайло к козлу, а козел от Михайлы, Михайло к козлу, а козел от Михайлы. Озлился мужик и давай кобенить козла на чем свет стоит. Ему бы одуматься да смекнуть, в чем тут дело, а он всех нечистых собрал — распалился. Раз нашел — потерял: ни следа, ни крови. Плюнул и пошел к коню. Идет . . . идет . . . места как бы знакомые, а ни тропы, ни коня! Стал мужик, и только теперь ему тюкнуло в голову: «Да козел ли это был?» И вот давай мужик ходить туда и сюда, и все ни тропы, ни коня . . . Ночь спал — не спал и ни свет ни заря опять пошел. Бывало, и раньше случалось заблудить, да станет, осмотрится и больше ошибки не даст, а тут уж видно, чьих это рук дело.

На прииске потеряли Михайлу: конь прибежал с отломанной веточкой, а хозяина нет и нет. Стражников разослали искать, а он как сквозь землю провалился . . . Винтовку нашли, шапку нашли, а человека нет, и махнули рукой. На десятый день, как потерялся Михайла, пришла якутская оморочa, и привезла полоумного Михайлу; привезли еле живого, не человека, а, прямо сказать, мертвеца: ни глаз, ни лица — все изъела окаянная мошка.

Рассказали якуты: мол, плыли они на своей оморочке по какой-то дальней горной речке и наткнулись на приткнувшуюся к берегу карчу, а на ней человек. Испугались якуты и хотели уйти, да застонал человек — значит, живой. Вот сняли они его беднягу с карчи, вскипятили густого чая и, разжав губы деревянным клинышком, как сумели попоили его, положили в лодку и повезли. Два дня плыли по речке да по Селемдже, поили то ухой, то мясной шульей, и привезли... Почитай год был парень в больнице — чирьи одолели, а теперь на прииске сторожем — тихий, убогий.

Охо-хо, и не приведи Бог никому, ведь какая напасть! А вы уж одни и не думайте! Да, по-моему, на островах-то куда лучше и веселей; тут как-то все будто на виду; Селемджа как большая дорога, не даст заблудиться, водички есть где испить, ягоды поесть, да и от комариных укусов искупаться-отдохнуть. Нет, на островах уж куда лучше, да и где рябца больше? Козлы тоже любят острова, и мы, когда за ягодой ходим, почитай всегда спугнем то козла, а то и козулю с инчиганами — у ней их и по два бывает.

Как-то мы одни шли берегом Селемджи по узкой извилистой тропе среди густого разнолесья, что окаймило реку под высокими обрывами. Шли мы без всякой определенной цели и вели негромкий разговор, а тут что-то замолчали, и по влажному мху и мягкому грунту наших шагов не было слышно, также и мы не слышали ничьего говора или шороха. Вдруг на повороте тропы, шагах в пятнадцати от нас, вырос человек. Вырос и мгновенно метнулся в сторону и скрылся среди деревьев. Мы также, не отдавая себе отчета, метнулись в разные стороны и укрылись, кому как пришлось. Затаили дыхание и ждем, стараемся понять, что происходит. Человек где-то около нас, но мы его не видим, только чувствуем, что под чьим-то упорным взглядом. Что-то враждебное казалось в поведении встречного, и я, будучи в

этот раз со своей винтовкой, поставил ее на боевой взвод, и щелк затвора заставил встречного заговорить:

— Э! Стреляй не нада! Мая нету брадяга, мая рабочка люди! — и с этими словами на тропу вышел китаец.

Он был напуган нами, вооруженными людьми, и с усилием приходил в себя, говорил торопливо, ахал, сокрушался и радовался, что всё обошлось так благополучно. Китаец-рабочий с приисков — это «горбач», своего рода дичь для жутких таёжных охотников — беглых каторжников и отпетых таёжных отбросов. Все обошлось благополучно, повеселел и китаец, и мы рады встретить на пустынных берегах безобидного путника, но какая нелегкая понесла этого отчаянного парня в такой опасный путь? Китаец удивлен, что мы с хорошим и дорогим оружием бродим далеко от населенных мест, и толмачит про какого-то не то Ермишку, не то Мишку. Мы решаем, что он говорит о возможной встрече с медведем; ну, и что? Нас трое, и мы вооружены, а для Васи медведь не новость: он еще на Амгуни два года назад убил косолапого — правда, при случайной встрече, но парень не растерялся, и пуля его манлихера сразила Топтыгина.

Вечером в «клубе» у костра мы рассказали о нашей случайной встрече с китайцем, и тут было высказано несколько предположений. Странный китаец! Один в тайге, и куда он пробирался со своей котомкой, какая нужда могла погнать его в такой опасный путь? Не иначе — тоже жук: или кого-то обворовал, а то и «пришил» своих товарищей и уносил ноги. Ермишка — это не мишка-мадведь, а Ермил Гирин, атаман шайки, орудующей в районе приисков и на таёжных дорогах к приискам, но сейчас, после крупного ограбления одного каравана лодок, шедших с верховьев Селемджи з золотом, его здесь не слышно; предполагают, что ему удалось благополучно уйти с добычей на китайскую сторону,

и он где-то там разматывает свою долю. Тайга, тайга! Пошумит в бурю, в непогоду, а тайн своих не выдаст.

Усть Норск

«Мечтатель», «фантазер» — такая оценка человека в устах людей деловых, практичных звучит, как «человек пустой», «нестоящий». Когда говорят о ком-то: «Да он мечтатель» или «Да он фантазер», то за этим слышится недосказанное: «Он дурак», или, в лучшем случае, «Он придурковатый».

Ну и что? . . И пусть!

А как приятно мечтать! Боже мой! Куда, куда не занесешься, где только не побываешь, чего не насмотришься, не познаешь! Каких подвигов не совершишь — даже сам себе удивляешься как ты стоически, мужественно перенес, поборол все лишения и препятствия!

Вам смешно? А что вы скажете, когда ваши мечты начнут сбываться? . . Когда вы, потом, — в вашей жизни, волею судеб окажетесь в тех местах, в котрых вы уже побывали в своих мечтах?

Вот мы: мы мечтали о Селемдже, и что же? — Мы на Селемдже! Мы по карте в своих мечтах доходили до Усть-Норска, с тем, чтобы идти дальше по Норе и там где-то перевалить по неведомому нам волоку на Амгунь и сплыть по ней в лиман Амура, и вот мы в Усть-Норске! Вот вам и «мечтатель», «фантазер»!

Как эта мечта превратилась в действительность? Если не наскучило, слушайте!

Как-то Александр Петрович с оказией из Усть-Норска получил писульку. Писулька эта была от его приятеля — фельдшера медицинского пункта переселенческого управления в Усть-Норске. Получил Александр Петрович писульку и читал при нас; читал про себя, а прочтя, изрек лишь:

— Едем!

Едем? Кто, куда и зачем? Спросить мы не рискнули и до обеда мучились неведением. В обед, за столом, Александр Петрович просил Марфушу озаботиться снабжением нашей экспедиции (мы тоже едем!) продовольствием на поход до Усть-Норска.

Едем в Усть-Норск на именины!

Мы не слышали приглашения нас и несколько смущены, а потому восторга не проявили, и Алексей Петрович понял.

— Вы, господа, этим не смущайтесь, что вас нет в приглашении; это понятно и объясняется тем, что мой друг не знал, что вы пребываете у меня. Я же вас заверяю, что вам там будут рады, а мне благодарны, что я, как именинный подарок, привезу вас — людей для этих мест из другого мира. Вам были рады на прииске, и не менее будут рады и в Усть-Норске, а мы совершим интересную прогулку.

Нас уговаривать не надо, тем более что Уст-Норск тоже наша «мечта», и он в порядке плана познания мира-вселенной!

И вот мы в Усть-Норске. Пришли сюда на лодке, проделав пятнадцативерстный путь.

Пятнадцать верст пути, в понятии наших мест, уже не Бог весть какое расстояние, и нет ничего удивительного в приглашении на пирог, В Усть-Норске, сразу с дороги, после чашки горячего чая, мы распластались на мягком сене в прохладной, пахнущей душистым лесом, амбарушке. Про Усть-Норск вы нас не спрашивайте: мы его не видели. Мы лежим, а спина, руки, ноги упорно говорят нам о пройденном пути. Лишь только пятнадцать верст, но путь пути рознь, река реке сестры, но нравом несхожи!

К этому путешествию где-то была раздобыта лучшая лодка; идти на той, которой мы здесь пользовались в своих недалеких скитаниях по ближайшим островам, конечно нечего было и думать, и эта раздобытая лодка тоже не радовала, но у нее был весь необходимый приклад: весла, ше-

сты и тонкая прочная бечева. Значит, кто-то куда-то на ней хаживал; попробуем и мы.

Выехали мы в день именин рано поутру, когда речной туман холодным, плотным покрывалом стлался по реке. Холодно, сыро, и зябнут руки. Кажется, никогда вода не была так противна, никогда не вызывала такой неприятной дрожи, как сейчас в холодном сыром тумане, и невольно жалеешь о своей только что покинутой теплой постели, но «назвался груздем, так полезай в кузов».

Где-то пробивается солнце. Длинные полосы тумана потянулись, подгоняемые слабым утренним ветерком. Космы эти уплотнились и оседают на всем холодной мелкой росой. Холодно, сыро, но мы уже давно сбросили свои теплые куртки и расстегнули вороты рубах: усиленно работаем — то на веслах, перебивая реку от одного берега к другому в поисках более тихого встречного нам течения; то работаем шестом, обгоняя лодку вдоль нагромождения обломков обрушившейся в реку скалы; то тянем лодку бечевой, где это позволяет берег. Встречаются такие места, где все наши «двигатели» бессильны, и мы, стуча зубами, спускаемся в холодную быструю воду и ведем-тащим лодку в руках.

Поднялось солнце, греет и на душе веселей. Открылись дали: леса, горы, река со своими притоками и островами, но нам сейчас, среди этих красот, многие из которых просятся на полотно, не до них; нам и небо, среди высоких гор, с овчинку, а путь бесконечно долог.

Исчезло наше радостное настроение, давно не слышно ни шуток, ни смеха, ни обмена впечатлениями; их сменили усталость, раздражение, подозрительность к своим спутникам; недоверие заползло в душу, и кажется, что когда-то милый друг — Федюк — сейчас саботажит и только делает вид, что работает веслами.

— Ты што? Булькаешь веслами, а не гребешь! Сел на весла, так греби! Нечего ворон считать!

— Ворон считать? Вот садись сам да и посчитай! Помахиваешь своим шестиком, что я — не вижу? А ты, Васюк, что, пассажир? Сколь времени будешь сидеть, отдыхать? Тебе давно сменять надо!

— Сменять? Да ты всего-то двести раз гребнул, я, брат, считаю. Тебе еще триста. Я за вас, ловкачей, работать не намерен!

Бедный наш Александр Петрович! Он — кормчий, и мы не позволяем ему взяться за весла или шест; нет, мы еще до этого не дошли; но он, бедняга, исстрадался, мы это видим, и, наверное, уже не раз каялся, что пустился в это предприятие и втянул нас. Мы видим, что он устал смотреть на наши усилия и страдает за каждого из нас, и ему втрое тяжелей. Этот водный путь не был знаком Александру Петровичу; ему не приходилось проделать его на лодке. Да ничего страшного в этом пути нет; не будь бы мы связаны определенностью срока «пожаловать на пирог» и в этот же день вернуться назад, мы бы не спешили, работали бы спокойно, делали бы остановки, отдыхали бы, провели ночь у костра, наслушались бы музыки ночного хора гор, лесов и реки, любовались бы многими интересными видами, жизнью берегов и реки, и этот путь был бы действительно приятной прогулкой, но нам надо спешить . . .

Полдень. Нет сил. Мы стали. Бог с ним, со сроком, с пирогом; нам ничего не надо! Пить, пить! Горячего чая, воды! Можно выпить всю Селемджу и не утолить холодной водой жажду. Горячей воды, чая!

Какая благодать! . . . Кружка горячего чая. Душистого, густого чая, обильно заправленного сахаром и сдобренного влитой в него рюмкой коньяка! Бедный Александр Петрович! Он суетился с костром, с чайником и принес большую жертву, вскрыв бутылку коньяка, которую заботливо припас и берег, как подарок «дорогому имениннику».

Какая благодать! .. Как прекрасно устроен Божий мир! .. Мелкими глотками мы тянем этот огонь, этот эликсир жизни... Ароматные пары приятно кружат голову, обжигают горло и растекаются в нас живительной силой. Клонит ко сну... как хорошо вытянуться на теплой чистой гальке берега! .. Сонная дрёма... встают картины пройденного пути, но нет ни усталости, ни раздражения... Какие смешные наши злые рожи! .. невольно фыркнешь. Все прекрасно: солнце, река, Александр Петрович; Федя и Вася тоже хорошие... они совсем не ловкачи, не лодыри...

***

Амбарушка недавно построена, и свежий лес ее стен дышит смолистым запахом. На улице яркий день; солнечные зайчики, пробравшись где-то в непроконопаченные пазы, рассыпались по полу, по нам. Мы выспались, отдохнули, но здесь в амбарушке так хорошо, что не хочется вставать, хотя мы не прочь были и поесть.

Нас пришли будить. Именинник, подставив колченогую лесенку, с помоста под потолком амбарушки достает увесистый сверток в брезенте, а Александр Петрович объявляет нам:

— Ну, братцы, вставайте и едем за рыбой!

Вот это здорово! Действительно, как в сказке: «Пеки, баба, пироги, а я поеду за рыбой». Но что делать? «Что ни деревня, то и обычай», а мы не в своем монастыре.

Встаем и идем к нашей лодке. Хозяин тащит увесистый сверток. Он — парень, по-видимому, здоровый, но мы только сейчас заметили, что он калека, хромой: левая нога — деревянная култышка! А веселый, поворотливый и даже как будто не замечает своей култышки.

На берегу развернули сверток — перед нами совершенно новый невод! Невод хорош, и я знаю, у меня дома такие сети, это из Минусинска по выписке, машинной германской

работы, особой прочной легкой нитки. Да, невод хорош, и для этой реки шестидесяти сажен вполне достаточно, но где ловить? . . . Как стали набирать невод в лодку, так сразу и видно: «Э, братцы, все-то вы слышали звон, да не знаете, где он!» И пришлось мне поспорить и все оборудовать по-нашему, по-амурски; но где ловить? Мой вопрос об этом вызвал недоумение и смешки:

— Да тебе это что — не река? Рыбы здесь — только тащи знай!

— А камни?! Пропадет сразу весь невод; здесь не песок, не галька. Смотрите, какой камень — что твои арбузы; иссекут сразу.

— А где же неводить

— А где нет камня, где мягкое дно.

— Поехали на ту сторону; там есть проточка с песчаным дном, но есть замытые карчи!

Перебили через реку и в проточке дали с большими предосторожностями одну тоню. Улов не ахти — полведра некрупных хариусов, и это там, где много крупных хищников — тайменя, линька, пеструшки-форели. Но и то, что мы взяли, было хорошо. Правда, нам пришлось потрудиться чистить эту мелоч, а хозяйке жарить и выбирать косточки; благо, что у хариуса их немного. Но вот солнце на закат, а мы за стол, и здесь помимо пирога было что отведать.

Луна всходила поздно, и мы, после именинного стола, отдохнув, еще подкрепились в путь-дороженьку, а Александр Петрович с имениннком выпили не один «посошок», когда из-за гор поднялась луна.

— Вы, братцы, да и ты, брат Саша, не задремли, сам садись за кормчего и смотри в оба, держись реки, главного русла; да поглядывайте все, чтобы не задернуло в какую протоку, а то попадете в такой чертолом, что без греха и не выберетесь, — напутствовал нас, стоя около нашей лодки, немного захмелевший именинник. — Ну, отчаливайте, с Бо-

гом, да как будет оказия, дайте знать, как доплыли. Завтра ждут парохода, вот с ним и пошлите писульку, а сможете — приезжайте с ним на черствые. Сейчан же, братцы, смотрите, ох, как смотрите, чтобы не в протоку; она ведь Селемжа, это вам не Волга матушка.

Держимся середины реки, и берега быстро идут нам навстречу. При таком ходе мы часа за полтора-два будем дома. Наша работа сводится лишь к тому, чтобы дать лодке небольшой ход быстрее струи и тем сделать ее послушной рулю.

Луна — хоть читай, а разобраться во всех изменениях берега трудно; мы не знаем ни одного ориентировочного пункта по этим местам и таращим глаза, силясь уловить начало встречных проток, и все идет слава Богу. Это у страха глаза велики, а тут что? Держись середины реки и катись!

Вздремнул, по-видимому, наш кормчий, да и мы клевали носами, когда до нас донесся отдаленный шум воды, и зачернели справа и слева каменные глыбы. Пытаемся на веслах удержать лодку на месте и сообразить, что нам делать, но не тут то было — мы уже в такой воронке, что еле успеваем исполнять команды нашего кормчего:

— Левое табань . . . право греби; правее табань — левое греби! — и успеваем вовремя убирать весла, чтобы проскочить в кипящей струе между камней.

— Фу ты, пропасть! Вот это переделка! Ну, ребята, Бог к нам милостив, а я эту поездку долго буду помнить. Вон и огонек нашей Дагмары, здесь уж мы дома. Да, сдернули охотку!

***

В своей жизни мы еще раз встретились с Александром Петровичем, когда он, по мобилизации следуя в свою часть, прибыл в Благовещенск. Но встреча была случайной, и мы даже не имели времени пригласить его к себе и поговорить, а лишь помахали рукой его поезду.

28

МОЙ КРАЙ

Летучий ветер, неси ж к родному краю,
Неси поклон.
В чужбине век я доживаю —
Все было сон!

Граф А. К. Толстой.

Конец лета. Установилась погода и обещает ясную сухую осень — страдные дни на уборку урожая. 1914 год начался и течет, как и многие другие предшествовавшие ему, спокойной, размеренной трудовой жизнью. Прошел Великий Сибирский путь от океана к океану и увязал, сроднил, далекие восточные окраины с матерью-Россией. Открылись многие возможности, и край цветет и богатеет в мирном труде, и чисты горизонты — нет туч, предвещающих бурю . . .

Вовремя отсеялись, вовремя накосили и поставили частые зароды и стоги душистого зеленого сена — будет чем кормить в долгую холодную зиму своих кормильцев и поильцев — буренышек и каурок, пестовать и холить строевого коня.

Ешь, скотинушка, ешь, родимая, без оглядки, без опасения нехваток: обилен вольный край, и есть что в закромах, есть чем и перед людьми похвастать!

Вот придет жнитво — успевай снять, не упустить из рук богатого дара — обильного урожая. Тяжелеет колос крупным зерном; как светлое золото горят на солнце овсы; поникли головами высокие подсолнухи . . .

Ожили говором и веселым смехом молодух и девиц станичные огороды. Радуется душа, и льется свободная звонкая песня . . . Тарахтят и звенят банки и ведра, растут кучи белого крупного картофеля (огурцы, помидоры уже давно сняты), а капустка обождет холодных ночей и наберет сахара. Краснеют, желтеют по плетням да тынам связки красного перца, моркови да тяжелых тыкв. Подсыхают на грядах тут же вывернутые вороха черной горькой редьки, будет что к квасному борщу великих постниц . . .

Детвора оставила в покое своих матерей, забыла свое: «Ма-а-а, есть хочу!» — и целые дни проводит на огородах, наслаждаясь обилием и разнообразием «блюд», и надо удивляться, как со всем этим справляются их раздутые животишки.

Потрудился человек, и вознагражден. Не мучают его ни совесть, ни сомнения, ни тревога за завтрашний день, и, пока есть свободная неделька, можно заняться любимым делом — дать себе отдых.

Подростки, набрав из-по лопат огородниц крупных жирных красных удильных червей, дни и ночи проводят на реке, в местах облюбованных и каждому рыбаку только известных. Утром и вечером притаскивают вязанки уже по-осеннему пахнущей вкусной рыбы.

Старики на длинных тяжелых неуклюжих батах, коим дают предпочтение перед любой лодкой, сплывают темными ночами с огнем — «козой» — вдоль берегов тихих заводей, проток и стариц и бьют острогой крупного хищника: щук, тайменя, а то, при удаче, под неглубоким перекатом подхватят и осетра.

Можно побаловать себя и с ружьем по перу. Правда, оно как будто немного и рановато, да ведь это не промысел, а так, лишь потешить душу.

В наших местах Дальневосточного края дичь гнездуется несколько позже, чем в центральной России, а потому праздник Петра и Павла по здешним местам не служит рубежом для начала охоты. Здесь нет охотников переводить без толку дорогой припас и еще на невзматеревшую дичь; иная еще и не выметала нового пера, и добыча, хотя бы и обильная, но малоценная, никого не прельщает. Установился сам собой если не закон, то обычай охоту начинать не раньше августа, да и то лишь для любителей этого спорта. Самая же охота у нас начинается с уборкой урожая — хлебов, — когда потянут с севера тысячные табуны и косяки в несметном количестве разной перелетной дичи. Но тут не до охоты: хлеб созрел и не ждет, а упустишь день — годом не наверстаешь! Уборка хлебов — время не для охоты, но и здесь можно урвать часок, благо, что за дичью далеко ходить не надо.

Коротки у сибиряка все сроки, и рамки их строго ограничены — успевай, и нет места прохладце, даже зимой, когда, козалось бы, куда спешить за долгую зиму? Но и тут поспешишь: мороз хоть и не велик, да стоять не велит, — говорит сибиряк.

Солнце на горизонте и вот-вот скроется. В воздухе тянет уже вечерней прохладой, прохладой осени. Вы не чувствуете влажности воздуха, еще нигде по низким долинкам не видно тонкой пелены вечернего тумана, но вы поймете наличие ее по напряженности работы машины и усилию лоснящихся от пота лошадей вашей упряжки, и надо кончать жатву: сырые снопы — пропащий труд.

Отпряжешь лошадей и отправишь их со своим юным, но уже опытным, помощником — «лихим наездником» — на отдых, кормежку и ночное пастбище, а сам — к ружью, ви-

сящему на сучке недалекого дерева, и вновь на жнивье — в тугой душистый суслон. Приятно вытянуть ноги и навалиться спиной на мягкое ложе после долгого сидения на высоком, пружинящем ковшечке машинного сидения, почувствовать под собой твердую землю.

Солнца видно лишь краешек — маленькая красная горбушка (завтра будет такой же ясный день). Скрылось солнце, и какая-то голубая, все темнеющая мгла растекается по горизонту и вокру вас.

Вы ждете . . . В снопах удобно, тепло; над ухом поет одинокий комар; пискнула и умолкла какая-то пичужка; по-видимому уже уснула.

Над вами отблеск зари. Он блекнет, темнеет . . . погас.

И вот то, что вы ждете! Неопытному уху покажется, что там, далеко на реке зародился, растет и наплывает на вас шум идущего парохода, но шум этот какой-то странный. Не шалит ли то тихий вечерений ветерок? То принесет вам этот шум, то куда-то умчится с ним в сторону. Нет, вы знаете причину этих колебаний, и перед вашим мысленным взором встает картина жизни сейчас на реке.

Весь день идут, подходят, все новы и новые стаи. В основном, это все дальневосточный чирок-клоктун. Клоктун — это небольшая, но удивительно ладная, чистенькая, какая-то сбитая, болтливая толстушка. Вечно она бормочет, суетится, сворится, охорашивается — маленькая кокетка. Прекрасная, нежная и вкусная дич.

Подходят стаи, и после утомительного долгого пути через темные обширные таежные пространства здесь, на Амуре, делают остановку на отдых; отдохнуть, привести себя в порядок: промыть перо, утолить жажду и здесь на хлебных полях подкормиться, запастись жирком на дальнайший путь.

Как темная паутина кроют стаи зеркало реки, качаются на тихой волне, взлетают, перелетают с места на место, суе-

тятся и бормочут, бормочут-клокочут. Река, окрестности полны их говором.

Настал вечер — тот час, когда вы взяли ружье и сели в высокие, теплые суслоны[30] и ждете... Скрылось солнце, недолго горел закат багрянцем и погас.

На реке другие настроения, другая жизнь: то там, то тут поднимаются стайки и тянут низко над рекой, взмывают вверх, к еще мерцающему куполу, с шумом падают вниз, поднимают с собой другие стаи и, навеваясь как снежный ком, уже темной тучей грохочут крылом на крутых виражах, глуша своим шумом все звуки. Поднялись, взмыли и там, уже на тусклом небосклоне, развернулись фронтом от горизонта до горизонта, устремились на отягощенные зерном поля.

Это — бич для сжатого хлеба, не убранного нерадивым хозяином в хорошо укрытые суслоны; раздергают, растреплют и обобьют весь колос у лежащего на земле снопа.

Идут на поля тысячи этих маленьких прожорливых грабителей, но не думайте, что ваши трофеи будут большими — нет, возьмете за вечер пяток, хорошо — десяток; над землей уже стелется ночная муть, а утка идет так низко, что в этой мути вы увидите ее лишь на короткий миг, когда она будет над вашей головой. Немало будет у вас досадных промахов, и часто выручает вас лишь второй выстрел дуплета, когда стая, метнувшись вверх от первого вашего выстрела, совьется в густой клубок и на мгновенье задержится на месте. Ваша удача зависит от ваших глаз, вашей сноровки, подвижности. Но и десяток хорошо; куда вам больше? Ведь эта охота продолжается не один вечер, а неделю-две, да и кто будет возиться с вашей добычей: чистить, палить, потрошить? На все это надо время, а сейчас много другой неотложной заботы и работы.

---

[30] Суслон — в России копа или копна: хлебные снопы, поставленные вместе по десять-двенадцать снопов и укрытые тоже снопом.

Прошли 15-20 минут, и вашей охоте конец; тьма скрыла налетающие стаи, да их все меньше и реже, а вокруг вас стоит шорох и говорок кормящейся утки.

Это еще будет, будет в жаркое рабочее время уборки урожая, а тем, у кого уже чешутся руки, можно поохотиться и сейчас, но в других местах, в других условиях. Если клоктун идет большими беспорядочными стаями, идет, не соблюдая никакого порядка-строя, так свойственного каждой отдельной породе и виду перелетной птицы; идет, как правило, днем и на большой высоте, покрывая широким кружевом небосклон, несясь с большой быстротой и не прерывая своего говора, и своим звоном крыла сразу заявляя о себе, — то когда и как подходят другие виды утки, особенно крупной, уверенно не скажу: как-то, случайно, вы в один прекрасный день обнаружите их на всех больших и малых озерах и протоках с хорошей порослью камыша или других водолюбивых трав; эти тяжелые на подъем утки любят быть около хороших укрытий и вод, богатых пищей. Вот на эту дич и можно сейчас поохотиться, поразмять плечи, потешить душеньку.

Грузится большая четырехвесельная неводная рыбацкая лодка; едет немалая артель, едет с палаткой и изрядным багажом. Едет чуть не вся станичная «знать». Едет сам станичный атаман, едет казначей станичного правления, едет чиновник казенного ссыпного пункта — интендант, едет еще один конторщик и едем мы — мой постоянный спарщик по охотам, молодой казак, переселенец из Забайкалья, Петр, его дядя Иван, и я. Все как-то ухитрились выкроить себе два-три дня времени, а мне до 15 сентября в этом году времени не занимать. Едем мы на китайскую сторону, на Хаванские озера.

С китайцами мы старые соседи и легко получаем разрешение от господина уездного начальника «Казенной избы». Давно сдружились на взаимных услугах два соседних на-

рода. «Казенная изба», а вернее, сам уездный начальник (уезд у него на откупу), за известную мзду охотно дает разрешения на порубку леса, на покосные луга, на рыболовные плеса, на охоту — но последнее дается уже в порядке соседской любезности и бесплатно. Для них же — китайцев — также безвозмездно дается разрешение на помол зерна на наших русских мельницах, в порядке общей очереди и на общих с русскими условиях. В тревожные дни — при появлении крупных бандитских хунхузских шаек — всегда есть надежда на поддержку соседа. Своих сил у начальника, кроме поселковой добровольной милиции, нет: так экономней. Г-ну начальнику даже приятно оказать любезность атаману, а потом, при случае, быть в полном параде и в сопровождении приличной чину свиты почетным гостем в станице. Умели люди жить и умели хлеб-соль водит.

За большим островом, что против станицы, на котором все лето пасутся свободные казачьи табуны лошадей, почему остров и прозван «Табунный», в крутых берегах — второе широкое, также судоходное, русло Амура. Под другим, уже китайским, берегом — ряд мелких островов, а за ними еще многоверстный остров «Изюбринный», который отделила от материка тихая широкая протока «Тихая» — рассадник несметных рыбных богатств. Здесь горы китайской стороны далеко отошли от Амура, и вся ими опоясанная низменность изрезана многими старицами когда-то здесь бывшей реки. Амур нашел или, вернее, прорыл себе новое русло, а входы и выходы стариц заметал галькой, потом наросла за века почва, и старицы стали озерами. Весь этот лабиринт озер, озерушек, проток и проточин со временем зарос камышами, камыши покрыли всю низменность, а по берегам озер образовали широкие бордюры пловучих берегов и даже небольшие пловучие островки.

Край этот совершенно пустынен, и лишь летом здесь бывает стоянка небольшого ороченского племени. Вот эти-то

озера и есть «Хаванские» — в русском переводе что-то вроде «Княжеские»; хаван по-ороченски не то князь, не то землевладелец-помещик. Когда и кто он был — ни жители этих мест, орочены, ни соседние племена не помнят, но есть красивая легенда о брате и сестре на двух берегах реки, приуроченная к имеющимся здесь историческим памятникам; но об этом расскажу как-нибудь позже.

В описываемое время, то есть в мою бытность там, по китайской стороне селения были так редки, что на протяжении сотни верст по хорошим плодородным местам можно было насчитать много две-три деревушки нехитрых глинобитных фанз. Русские здесь, на озерах, тоже случайные и редкие; это, зимой, охотники по мясному зверю, главным образом за дикой козой-косулей, да в сезон пролета — охотники по пернатой дичи — в три-пять лет раз — любители вроде нас. Редко кто встревожит здесь выстрелом тишину озер, редко кто возмутит воду проток неводом, и изобилие здешних мест, этих естественных заповедников и рассадников, казалось неисчерпаемым.

Вот в эти-то края и держит путь наша охотничья ватага.

Амур не такая река, чтобы против течения идти на веслах, и если нет попутного ветра для паруса, то тяни свое судно бечевой.

Вся наша команда, оставив в лодке лишь кормчего, засучив гачи выше колен, весело и беззаботно шагает по широкому песчаному плёсу, сменяя друг друга на бечеве. Радостны все; заботы остались позади, дома, а перед нами ширь реки, нежный ветерок обвевает прохладой, воздухом не дышишь, а пьешь, пьешь его, как что-то густое, живительное. Мы беззаботны как малыши, и с наслаждением шлепаем босыми ногами в мелких водах маленьких заливчиков, пытающихся преградить наш путь. Довольны люди, и не менее довольны наши четвероногие товарищи — охотничьи псы. Они забыли скалить зубы в своей собачьей вражде и

сейчас, подхватив где-то у тальников дремавшего зайчишку, с визгом и лаем всей сворой унеслись за ним. Это хорошо: пусть набегаются, и на охоте будут послушней, и не будут впадать в ненужный азарт.

Потрудились на веслах и перебили здесь двойную ширину Амура, и мы — в соседнем царстве-государстве. Соседнее государство, а не поймешь, чьё оно и что здесь другое — свое, особенное. Та же родная наша река; та же природа, и здесь также нет ни запретов, ни паспортов, а о визах тогда мы и не слышали и не знали, с чем их есть! Здесь и для нас, и для китайца — вольный край!

Вы знаете, как человек обрастает вещами и как зависит от них? Конечно, в походе, на биваке, все может пригодиться — и шильце, и мыльце — а предугадать всего невозможно, и часто бывает так, что то, что необходимо, то забыто; что не нужно — того набрали. И вот наш багаж выгружен на берег и высится какой-то непонятной, возросшей пирамидой мешков, сумок, котла, чайника и свертка палатки. Вокруг этой пирамиды стоим и мы . . . Стоим и соображаем: «Ведь все это надо переносить, и переносить на своем горбу! Нести версты две! Придется сходить не один раз! И откуда набралось всего этого?»

Думай не думай, а надо нагружаться и идти!

Без шума заструилась на яру высокая трава, и из нее, как из глубоких вод вынырнул к нам на берег всадник. Всадник времен Чингиза: маленькая лошадка с густым хвостом и такой же густой, не по величине хозяйки, гривой. Всадник бос, и лошадь без седла. Плоское, без переносицы лицо, и глаза-щелки. Его появление здесь по-видимому вызвано любопытством, из-за наших громких голосов и чужой речи. Узрев нас, блинообразное лицо, как могло, выразило вопрос, потом отразило какую-то мысль, и, что-то крикнув нам, он вновь потонул в зеленом море. Нам не до него.

Разбираем вещи, сортируем, делим, что взять и что кому нести; что взять в первую очередь, а без чего можно обойтись в первый день лагеря и оставить здесь в лодке.

Не успели нагрузить свои плечи распределенным багажом, как этот «центавр» вновь вынырнул из травы, волоча за собой на ремне маленькую лодченку, Лихо подкатил на своем аргамаке, соскочил на землю, смеется и лопочет; видя, что мы его не понимаем, хватает что-то из наших вещей, бросает в лодку, показывает и приглашает: грузите, мол, свое добро, а я поволоку этот своеобразный экипаж конем, и дело будет в шляпе. Умней не придумаешь, и большой белый калач вознаградил «героя»! Дело закипело, и в два рейса мы со всем багажом были на высоком берегу большого, почти круглого, озера.

Хороший, веселый берег: высоко, сухо, за спиной порядочный лесок невысоких, ширококронных дубов — есть топливо и все, что требуется для хорошего лагеря.

Как хорошо здесь! Весело смотреть на голубую широкую гладь озера: набежит полоска шаловливого ветерка, и заискрится на солнце вода мелкой золотистой рябью, заиграют огненные зайчики, мигнут и потухнут — и снова голубая гладь. За озером — туда, к полукругом ушедшим вдаль горам — стелются беспрерывным ковром высокие желтые камыши, скрывая в своих трущобах бесчисленные озера, заводи и проточины. Горы те отошли далеко и кутаются в какую-то голубую туманность. Они также безлюдны, а потому таинственны, заманчивы, сулящи . . . Хорошо здесь!

Да! Хорошо, но вся охота на том, на низком, берегу, в тех бесконечных камышах, на таинственных озерах и проточках. Вот и сейчас мы видим волнующие нас картины: вон тянет низко над камышами стая тяжелых русских крякв, они же «табаляки»; где-то заговорили журавли, зыкнул лебедь-кликун; эта дичь — лебедь — неприкосновенна, и полюбоваться ею приходится не часто. Куда ни повернись, ку-

да ни взгляни — душа замирает от восторга и нетерпения: «Туда, ближе — в камыши!»

И вот решают перебраться на те берега, перебраться на этой маленькой лодчонке-душегубке. Наметили ближайший мысок, на нем куртинка невысоких ольх и березок, решили: «Берег!» Но тут получилась загадка — «козел, капуста и волк: возьмешь груз — человек уже лишний; возьмешь человека — груз лишний! Но нет задачи, которую при желании нельзя было бы разрешить: давай талмачить ороченку — мол — беги домой, возьми коней и народ и приволоките сюда нашу лодку; в балогдарности, мол, не извольте сомневаться: отсыплем «золота»! Дело закипело и поспело в полчаса: лодка на озере, багаж в лодке, настроение — разлюлималина! Орочены от пригоршни пороха в востроге, а мы уже плывем . . .

Мысок. Ольхи. Березки. Что-то вроде суши, но она какая-то странная, под ногами дышит и шипит как губка, но время уже к вечеру, и размышлять о «тверди земной» нет времени: валим топором ольхи и березки, мостим какой-то настил, кладем туда же весла от лодки и ставим палатку. Лагерь готов. Орочены со своего берега нам что-то кричали, но нам нет времени пускаться с ними в рассуждения. Пожевали сухого, ружья в руки — и каждый, избрав направление, скрылся в камышах . . .

Я иду с Петром. Охотники, еще на русском берегу в высоких тальниках, вырубили каждый для себя длинный шест; такой же шест был преподнесен Петром и мне. Назначение этого шеста я понял лишь здесь, в камышах.

Мы идем в высоких, почти в два моих роста, камышах. Тропинка не тропинка, но Петр держится направления какой-то едва заметной полоски. Под ногами какая-то набухшая водой перина, хлюпает и булькает водой. Ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад ничего не видно: ты в каком-то камышевом колодце. Петр идет впереди.

— Хорошенько смотри под ноги, ступай в мой след! Видишь, вот светлое окошечко, вот, всего в кулак, а ступи — только тебя и видел! Вот намни под себя камыш и стань на него, а мне дай твой шест и смотри!

Петр берет мой шест и осторожно опускает его в окошечко; шест ушел весь, не достав дна, а шест без малого две сажени!

— Видал? Вот ты без меня ни шагу. Выберем место, и ты намнешь под себя камыша, да не поленись — побольше, и станешь на него, и пока я за тобой не приду, ты с камыша ни шагу! Убьешь утку, куда бы она ни упала, хотя бы в двух шагах — не тронь! Там пусть и лежит. Упадет дальше — запомни место и не доставай, пока я не приду с собакой. Надо было тебе лучше остаться на таборе или там где стать на лодке — как-то невдомек. Но ничего, сегодня простоишь, много не стреляй, а завтра мы вместе поедем на лодке и выправим неудачу.

Нашли небольшую прогалинку, где камыш, как будто, несколько ниже и в сторону озера — проаглинка, и есть небольшой кругозор. Петр помог намять под ноги толстый слой камыша, шестом посбивал камыш, сколько мог, вокруг и тем увеличил прогалинку и снова дает мне наставление:

— Вот становись и с камыша — ни шагу. Далеких не стреляй; не подобрать, и пропадут зря. Бей, которые над головой, да чтоб подранков не было, их здесь не соберешь.

Стою. Петр где-то недалеко пошлепал своими шагами и затих, и я не знаю — то ли он стал, то ли его шаги заглохли в камышах и он ушел далеко.

Стою, стою — минут десять, а, может быть, и час . . . Ноги устали, а сесть не на что. Попытался воткнуть свой шест и как-то опереться на него, но шест проткнул мои камыши и чуть не выскользнул из рук. Бывалый охотник имеет по своим карманам все, что может потребоваться на охоте, и вот где-то и у меня есть веревочка: надо шест привязать.

Роюсь то в одном, то в другом кармане, и когда услышал тихий шелест крыльев мирного полета и вскинул вверх глаза, было уже поздно: стайка тяжелых крупных крякв проплыла над моей головой, чуть выше камышей, хоть рукой хватай! «Ах, чтоб вас! Паршивая веревочка!» Бросил под ноги шест, взвел курки и жду . . .

Где-то сухо и резко щелкнул выстрел. А, это атаман или чиновник: они стреляют бездымкой. Далеко забрались!

Вон в стороне тянется косяк гусей, тянет низко. Гуси спокойно переговариваются, повернули в сторону и пошли на посадку, и там, за дальними камышами, на каком-то озере или излучине, их встречает говор других гусиных стай. Где-то, по-видимому с испуга, крикнула, как икнула, цапля. Часто в стороне проходят и кружат утиные стайки . . .

Содрогнулась земля и, кажется, покачнулись камыши и потрясен воздух грохочущим дуплетом — не выстрелы, а гром: это Петр. Это его заряды черного пороха, припыженного берестяными пыжами крепкими ударами молотка. Грохот заглушил все, и я не слышу падения дичи, но без сомнения знаю, что пара, непременно крупных (Петр мелочь не стреляет), крякв или других уток упали. Петр недалеко от меня, и мне становится как-то веселей, и нет уже ощущения одиночества, которое давило меня в этих высоких камышах, на этой зыбкой почве. Слушаю, и вот, значит, как всегда, Петр впустую не стреляет: его хромоногий помощник — пойнтер не пойнтер, но работник добрый — фыркает и булькает в камышах, подает убитую птицу. У меня тоже есть собака, красивый ирландец, но он еще молодой, и Петр отсоветовал брать его на эту охоту: «Еще сдуру где заблудится или утонет в камышах! Рано ему еще на эту охоту!»

Протянула пара крякуш, и недалеко, но в стороне, над камышом, а мне надо над головой, чтобы падали тут же около меня . . .

Дело к вечеру, и застучали выстрелы наших охотников, залетали, заметались стайки разной утки, и участилась стрельба. Вот и у меня есть трофей — крупный серый селезень лежит на воде, сушит свои красные лапки. Свистит Петр — это значит: «Береги! Смотри в оба!» Кручу головой и слышу сзади меня скрип сильных крыльев. Обернувшись, вижу — стайка гусей-гуменников уже, увидев меня, отгребает в сторону. — «Вот растяпа! Неужели уйдут? Петр это видит и уже не похвалит! Неужели прозевал? Дробь мелкая! Эх-ма! Была не была!» Мягкий глухой выстрел моего легкого «Зауера», и задний гусь, сложив крылья, нырнул в камыш. «Есть! Это добыча! Это фарт! Посмотрим, у кого будет гусь?! А как достать? Уже темнеет в камышах, и найдем ли мы его? Петр не приходит, а гремит своими выстрелами и уж наверное набил целую вязанку, а я с размышлением о гусе прозевал уже не один хороший выстрел. Но это не беда: у меня гусь! Найду не найду — все равно считается!»

Темнеет. Затихла стрельба: значит, охотники снялись со своих мест и идут на табор. Шлепают по воде чьи-то шаги. Из камышей продирается Петр с вязанкой крупной утки на плече.

— Где тут твои, показывай?

— Вон один селезень на воде, да еще гусь!

— Гусь! Почему не бил дуплетом, разиня, я уж думал, что совсем упустишь. Трезорка, подай!

Усталый, мокрый и дрожащий Трезор не совсем охотно лезет в воду, а мне уже кажется: «Это он не намерен работать на чужого дядю, вот скот! А от подачек, небось, не отказывается!» — Тяжелый селезень приятно оттягивает патронташ, к которому подвешен на удавке. Дело за гусем.

— Заметил, куда упал? Стой здесь, а мы полезем в камыш; а ты кричи — куда: правее, левей, дальше, ближе. Стемнеет — не найдем, а за ночь лисицы или еноты сожрут.

Начался поиск, но я не уверен, дальше или ближе, правей или левей, и мысль гложет: «Нет, не найти, пропал мой гусь, сожрут его лисицы или еноты. Хорошо, что Петр сам видел, как гусь упал» . . .

— Есть, нашли!

Уже сумрачно в камышах. Идем осторожно, держа шесты под мышкой: провалишься, так было бы на чем удержаться. Петр часто останавливается и подозрительные места ощупывает шестом и часто стоит, направляя мой шаг, но вот и конец утомительному пути, и мы на таборе. Часть охотников уже вернулась, вязанки дичи висят на пирамидой поставленных веслах, и у многих вязанки внушительные, есть и гуси, и мои трофеи поблекли, и больше чем скромны, и гусь мало помог, но есть еще завтра. Завтра мы на лодке, и уж тогда не зевай и дальних, и ближних.

Всяк бивуак хорош, когда он удобен, сух, богат водой и обеспечен топливом. Наш же, кроме избытка воды, ничем похвастаться не мог, и это уж для охотьничьего бивуака непростительно; для выбора было и место, и время, и опыт, а вот стали так, как едва ли кто станет. Глаза разгорелись — правда, было от чего; картина была такая, что в зобу дыханье сперло: море-море высоких камышей, а над ними кружева и тучки беспрерывных перелетов стай, и кого-кого только там не было: гуси, утки, где-то говор журавлей, а то зык лебедя-кликуна. По зеркалу озера точки и пятна разной мелкой утченки и разных нырков и рыбалок.

И вот палатка на каком-то помосте из сучков, веток и камыша: сыро, и уже под ногами размесили грязь. Костер — это душа всякого бивуака — не костер, а ненужный сейчас дымокур; он не горит, а шипит, дымит и выедает глаза своим едким дымом. Дрова дрянь, да и тех мало, не можем вскипятить чайника.

Бились, бились с костром и решают ехать за дровами на тот высокий, сухой и веселый берег — к дубовой рощице.

Освобождают весла от навешенной на них битой дичи, вытягивают из-под палатки сидения от лодки, и табор почти разрушен. Какая-то бестолковая суета, возня, а уже хочется есть.

Я здесь в артели самый молодой, и мое дело, так сказать, по положению маленькое, и с указаниями лезть не полагается, но вся эта неурядица возмущает меня. хочется есть, и я ворчу:

— Чем за дровами ехать да опять сидеть в грязи, так взять, да и переехать табором на тот берег, а на охоту можно всех развозить на лодке, и еще кому куда ближе . . .

Бросили возню со сборами по дрова, стали . . . и посыпались возгласы одобрения моей «мудрости»:

— Так ты чего, брат, раньше молчал? Видишь, что старики из ума выжили, ну, и командовал бы! Умней не придумать.

Дело закипело, и не прошло и часа, как на другом, на высоком, берегу запылал яркий костер, забелела палатка, задвигались вокруг костра причудливые тени людей, послышались громкие, веселые голоса. Костер на бивуаке, а особенно на охотничьем, — это одна из тех незабываемых прелестей, что связаны с этим спортом.

Как хорошо около костра! В прохладные осенние ночи это дивная сказка! Сухо, тепло, уютно, и так приятно лежать и слушать голоса ночи, слушать тихую речь бывалого человека, а над вами — высокое-высокое бархатное небо. Да . . . хорошо около костра!

Охотники потрошат свою добычу и развешивают по дубкам, чтобы обдуло ее ночным холодным ветерком. Я тоже охотник, и мне тоже надо проделать всю эту операцию со своими трофеями, но странно: кто-то без спроса навесил на мои удавки — а это точно мои: лишь у меня с медными кольцами — навесил своих уток и еще фазана! Удивительно бесцеремонная публика! Возмутиться мне открыто неудобно,

но и примириться я не могу и, пользуясь случаем, высказываю свое возмущение Петру. Петр смеется и, дернув за козырек моей фуражки, надвигает ее мне до самого носа и, когда я готов был возмутиться и его выходкой, говорит:

— Иди-ка сюда да слушай. Ты, голова еловая, охотник? Так должен знать: ведь охотимся мы все одной ватагой, и вот сегодня у тебя нет удачи, каждый и делится с тобой своим. Завтра ты возьмешь верх, ты поделишься с тем, кому не повезет. Тут, брат, дело артельное и надо, чтобы ни у кого обиды не было. Ты на городских охотников не смотри: считают, сколько взяли, и из-за чирка задушить рады. Нам призов не надо; пофартило — добыл, не повезло — ну, что делать, когда-то повезет. Вот доведется тебе охотиться артельно, сколько ни будь — два человека, десять — что добудут, все делить поровну. Ты на таборе сидел — караулил, или заболел, или кашеварил, или мясо вывозил на табор, что убил-добыл, все поровну. Вот ты и знай, такого артельного парня всякая ватага примет.

На табор позже всех вернулся казначей, за ним ездили на лодке на старый табор, и он приволок бурум дичи и ходил за ней по камышам два раза; ему повезло, и он добыл козла, и у нас пир: жарим козью печенку и шашлыки; сытно, уютно и весело, а ночь уже шагнула и время спать, но у костра так хорошо, что все сидят и ведут тихую беседу.

Мы с Петром будем спать у костра; в палатке тесно и не так интересно; здесь костер уже притух и над головой видны яркие звезды. Звезды мигают, и кажется — то одна из них притухнет, а потом вновь разгорится, а то и покатится, оставляя за собой на мгновение длинный светящийся хвост. Старушки в станице говорят, что это чья-то душа . . .

29

СПОЛОХ

Царь детей своих скликает.
(Донская казачья песня).

Тревога

На новом месте у меня всегда сон как у зайца — одним ухом. Петр вот, как завернулся в теплую козью дошку, так через минуту захрапел и спит. Долго я лежал, ворочался с боку на бок. Какой-то корешок попал под мой войлок и колол меня в бок. Я поднимался, нащупывал его и выдирал. Мне казалось, что я только что устроился удобно и задремал, как ухо уловило чей-то голос. Где-то, кто-то кричал, звал. Лежу и прислушиваюсь . . . А может быть, это сон? . .

— Э-э-э-й! . . А-та-маан! . . Э-э-э-й! Где-е вы-ы-ы?!

Толкая, бужу Петра. Кричу в палатку:

— Илья Иванович, вас кричат, слышите?

— Э-э-э-й, а-та-ма-ан! . .

Весь табор на ногах. Горящая головешка летит вверх. сноп сухой травы, высоко поднятый, пылает в руке Петра . . . Слышен быстрый бег коня . . . Из темноты ночи вырвался вадник на неоседланной ороченской лошаденке, кубарем скатился и кричит:

— Война, господин атаман! Мобилизация!

Следом за казаком прибежали испуганные орочены; поняли, что что-то случилось, что какая-то большая тревога, поняли — война, растерялись, забормотали, спрашивают — что им? уходить в сопки, в дальнюю тайгу, как в прошлую войну, войну русских с Китаем? Но тут не до них, орочен; все же в поспешных сборах сумели им втолковать, что война далеко, что если туда ехать конем, то и в год не доедешь и сильный конь не выдержит, сдохнет; что война там, куда солнце уходит спать; что им никуда не надо уходить, а держаться здесь, около русских; и если они правда догоры (друзья), то им надо быть здесь и хорошо смотреть, какой тут придет чужой человек — японец, или хунхуз-китаец, или человек, как русский, но не русский; что если он, этот человек, что будет брать и давать деньги, то деньги надо показать русскому начальнику или атаману; таких людей никуда не водить, а сразу бежать в станицу и сказать. Повеселели догоры и мигом общими усилиями выдернули лодку на крутой берег, нагрузили ее вещами и битой дичью, подцепили веревками и лошадьми поволокли по реке.

Мы на Амуре. Гребем и гоним лодку, сколь есть сил, гоним вниз по течению, а нам все кажется, что мы движемся страшно медленно, и Илья Иванович торопит нас:

— Ну, ребята, навались на весла. Потом отдохнете!

Но что нас погонять? Мы и сами все готовы вылезть из кожи, лишь бы скорее туда, в станицу — что там?

Солнце только что показалось над далеким горизонтом, как наша лодка приткнулась к берегу, и мы в станице. Атаман и казначей, бросив все свое на наше попечение, поспешили в станичное правление. Мы торопливо разгружаем лодку, разбираем и раскладываем тут же на берегу имущество и добычу каждого, свое грузим на плечи, а за остальным на берегу придут и заберут: нам тоже нет времени, чтобы разносить по домам.

Станица уже вся на ногах. У коновязи станичного правления стоят оседланные лошади. У крыльца правления — группа молодых казаков из подготовительных, они в форменных фуражках и при шашках, выглядят важно, степенно; участники большого дела. Это — наряд хуторским атаманом в летучую почту. В правлении — весь состав чинов и кое-кто из почетных стариков — старых, бывалых служак. Там идет спешная работа: то и дело вызывают то одного, то другого из летучки, и тот с пакетом или поручением торопливо садится в седло; ему подают наскоро устроенную пику с красным флажком, и эстафета мчится по назначению — на один из хуторов станичного округа. То и дело скачут всадники в разных направлениях; прибегают и с хуторов на взмыленных, подтянувшихся и как бы похудевших конях.

Почти в каждом доме, в каждой семье брат или муж — казак первой или второй очереди, и ему идти в поход. Везде забота: проверяется, приводится в порядок все, что требует расписание походного снаряжения для казака и для коня. Все и всегда содержится в должном порядке, в готовности на всякое требование, но сейчас поход не в лагерный сбор или какой-то короткий рейд — сейчас всяк понимает, что предстоит дело больших трудов.

К вечеру стали прибывать с хуторов призывные. Нет-нет, да и донесется еще далекая, но берущая за душу походная песня. Подходят с хуторов, идут еще вольными ватагами. Выпили станичники стремянную, прощаясь с родимым домом, со своим хутором или поселком. Простились Бог ведает на какой срок — может быть, и навсегда. Тянутся подводы с провожающими: отцы, матери, жены, родственники — молчаливые, заняты невеселыми думами. Ни стона, ни плача, ни бабьего причитания. Не раз испытано, не раз пережито, с этим и родились, выросли, свыклись. Вой да плач — не в обычае, а уронит казачка слезу — никто не увидит: не для чужих людей эта слеза горькая! Кому проститель-

но всплакнуть, осушить глаз шитым платочком, так это незадачливой невесте: как будто и было счастье, да вот уходит оно, уходит, зачесав свой кудрявый чуб.

Всё увеличивается коновязь около правления, всё нарастает и заливает улицы народный говор, везде желтеет оранжевый околыш фуражек да широкий лампас. Телеги с провожающими разъезжаются по дворам к кумовьям, сватам, или к кому Бог приведет; везде встретят радушно, и везде обеспечены и хлеб, и соль, и над головой крыша. Полна станица народа, но ни песен, ни гулянок: тихо, как в канун исповеди.

Мобилизация

Утро, и снова живет станица: везде народ, лошади, телеги — во дворах и в улицах.

Прошла неожиданность тревоги, сменила ее забота да кипучая деятельность: времени-то всего один день. Снарядить надо на Бог знает какой срок. Надо собрать и проводить уходящих, а уходящим — дать дома на всё наставление и обо всем позаботиться; есть и такие, что дома останется одна казачка с ребятами.

Мозгом и центром всей жизни является сейчас в станице станичное правление, и здесь идет спешная канцелярская работа. Вскрыт мобилизационный пакет, что хранился в денежном сундуке правления, и идет проверка по всем указанным пунктам, писаря строчат — готовят списки на уходящих, на всё, что требуется, готовятся разные пояснения и дополнительные сведения.

В улицах — своя, не менее кипучая деятельность. Вдоль изгороди школьного сада вытянулась линия выложенных седел и седельных сум, сакв: здесь работает самостоятельная комиссия — писарь со списком и карандашом в руках, два урядника и несколько добровольцев из стариков. Идет

проверка всего, что полагается по выкладке для седельного вьюка, начиная с аркана, подков, торбы для лошади и всего, положенного для самого казака.

Там — толпа народу стоит шпалерами вдоль целого квартала улицы, оставив узкий проезд, по которому то один, то другой всадник пробегает на коне на разных аллюрах. Седоки без седел, и это, как правило, не сам хозяин коня, а бойкий лихой молодой наездник-подросток; это их право — погарцевать, порисоваться перед народом. Идет выводка лошадей, работает другая комиссия: ветеринарный фельдшер и несколько заядлых конников и знатоков этого дела из старшего поколения. Здесь творится важное дело, здесь вложено много души, а потому больше шума и говора. Конь для казака — боевой товарищ, верный друг, надежный сподвижник, и здесь ничто не должно остаться под сомнением — ни уши коня, ни его ноздри, ни грудь, ни холка, ни спина, ни нога, бабка, копыто, а глаз должен быть ясным, веселым, живым, конь — совким и смелым. Здесь всем и до всего есть дело, и немало советов и критики слышится со стороны.

Всем взял конь, а на рыси селезенка ёкает — такой конь ненадежен, брак! Петушиная поступь, хотя бы одной ноги, — «шпат!» — и смотреть нечего, только время терять: снимай и давай другого коня; нет своего второго — взять у того, у кого есть. Разговор с владельцем взятого коня о вознаграждении будет после; сейчас судить да рядить нет времени, а что присудит общество, тому и быть!

Время давно за полдень, но народ, кажется, забыл обо всем, о еде и о доме. Дома бразды правления взяли старики да старухи, помощниками у них команды внучат: Ванек, Манек, Митек — той мелюзги, что используется на побегушках. Сейчас эта орава кормит и поит всю дворовую живность и особо оглаживает, ласкает папкиного или дядиного коня — «парадника», воровски таскает ему куски хлеба и не скупится посыпать хлеб обильно солью; бабки или деды

командовать-то горазды, а видеть-то где им? А Игреньке или Рыжке ведь идти воевать!

На крыльце станичного праления сидит пожилой, плотный и еще сильный старик, сидит без шапки, низко склонив голову. Его густые, черные, вьющиеся волосы уже серебрит седина. Окладистая и, видно, холеная борода придает старику степенный, положительный вид. Вся внешность старика, как и его добротная чистая одежда, говорят за то, что он не знает, что такое нужда, и что жизнь его построена на крепких началах. Но почему он сейчас сидит на крыльце станичного правления, сидит в этом потревоженном улье каким-то одиноким, придавленным чем-то тяжелым, обижен, расстроен? Почему у него, крепкого, сильного, нет-нет, да и скатится по бороде крупная мужская слеза?

Это Воронов, бывший крестьянин соседнего с нами села Красный Яр. Сильный, зажиточный, а по тому времени даже богатый человек. Богатство Воронова не в скопленных деньгах, и сейчас не о них он горюет: богат мужик и силен большой семьей, многими своими рабочими руками и твердо налаженным хозяйством.

Давно смущали крестьян свободные казачьи земельные фонды, хранимые на рост войска. Не раз поглядывал и Воронов на неподнятую казачью целину и мечтал: «Вот бы мне это богатство, так было бы где развернуться! Оно, конечно, и наши наделы немалы, да уж сходится межа с межой, и скоро дальше шагнуть будет некуда. Силенка есть, могу еще поднять немало»... И нашел выход Воронов: «Припишусь-ка я в казаки, и буду с землей!» Приписали всего лишь год, и вот... снаряжай из дому трех! Меньшой, внук да зять! «Ведь не знали мы этого, попутал грех и наказал Бог за жадность мою: трех из дому, а в доме плач и стон, и глаза туда страшно показать!..

Из правления вышел на крыльцо покурить Цыганок: в правлении не покуришь! Цыганок невелик, сух и подборист,

лет ему...? — да вот снаряжает в поход младшего сына Кирюху (Кирика, а сколько Цыганку лет? Всегда подтянут, ловок, подвижен и в своих аккуратных мягких ичигах не ходит, а скользит. Бороться на пояски — и сейчас многих помоложе себя бросает через голову! Шутник, весельчак, а побасенки рассказывает — что Кирча, что отец, только слушай.

Цыганок был в правлении у атамана относительно коня, как на грех, вчера, в спешке, закованного на правую переднюю. Пришлось просить пока что заменить другим. Уладив дело вышел покурить. Вышел, постоял, посмотрел на народ, на Воронова и присел около старика на ту же ступеньку. Долго шарил в кармане своих довольно изношенных шаровар, не спеша достал прокуренную и оправленную в медь трубочку, так же не спеша набил ее едким зеленым табаком, долго раскуривал и, сладко затянувшись раз-другой, сплюнул и сочувственно заговорил, обращаясь к Воронову:

— Что, Воронов, приуныл? Ты, брат, шибко-то не горюй; это, брат, в такое время не годится! На Бога надо надеяться да на наше казачье счастье, оно и у нас бывает... Война, что и говорить, она всех спросит; да не миру же конец, глядишь, оно и обернется по-хорошему. С кручиной да тоской нельзя в поход идти; кручиниться — это беду накликать; грех, брат!

Трубочка ли вся иссякла, или нужных слов не хватило, но Цыганок долго ковырял медной шпилькой в трубке, вновь ее раскуривал, а раскурив, повел разговор уже другим тоном; по-видимому и сам в душе не был спокоен, а лишь привычка быть на людях, как полагается природному воину, не позволяла вылиться невеселым думам.

— Вот вы все: «Нам бы казачьи земли!» Вот и у тебя теперь казачья земля, а ты плачешь! Смеялись над нами: «Работать надо, там косить или жать, а казаки на конях крутятся, там генералов встречают или в лагерь идут, или что

там у них другое» . . . Да, брат, и генералов встречали, и в лагерь и в походы ходили, и, сколь успевали, землю пахали, гульнуть любим, выпить, сплясать, у людей побывать, людей принять, а то и просто песню спеть, а с протянутой рукой не ходили, за казенной копейкой порогов не околачивали, живем и никому не кланяемся и не завидуем . . . Избаловал вас граф, привыкли вы спокойно спать, вот оно теперь, с непривычки, и тяжела тебе казачья жизнь . . . А ты не горюй, пронесет Бог беду, вернутся твои казаки, и будешь ты жить. Не кручинься, не накликай беды сам: грех это!

***

Заботами и усилиями графа Муравьева-Амурского в заселении и устройстве нового края (край, собственно, для русских был не нов; давно, за столетия, существовали здесь, и кроме Албазина, другие русские поселения и острожки) переселенцы на Амуре были освобождены на 50 лет от военной службы и многих других повинностей, что и дало в жизни края блестящие результаты. За этот сравнительно корокий срок пришлые из России крестьяне многих центральных губерний здесь, на воле, с открытым широким путем к океану, в соседстве с заморскими странами, под опекой разумной Царской политики, создали хорошую, обеспеченную жизнь.

Стали на ноги, перероднились, стали дельными, расторопными, привыкли жить в хороших домах, иметь хорошее хозяйство, хорошо питаться и растить сильное, смелое новое поколение. Накапливали силы и самой жизнью приобщались к мировой культуре и были не чужды полезного и практичного комфорта.

Здесь не знали ни помещика, ни кулака: здесь им делать было нечего. Здесь люди отвыкли низко кланяться, узнали

себе цену и воспитали в себе достоинство. Здесь рук не целовали! Здесь большому и малому говорили «ты».

Здесь никто не знал соломенных крыш, не знал и лаптя!

Полюбовались бы вы на упряжку зимнего обоза, идущего в город с хлебом для сдачи его там крупным мукомолам! Это — демонстрация своего благополучия. Лошади — львы, дуги резные, с раскраской и позолотой, сани — каких не знала центральная Росси. Правда, все это заимствовано у восточной и западной Сибири, где многие десятилетия, а может быть, и столетия, работал Сибирский тракт на перевозке ценных грузов из Китая, главным образом чая, и выработал этот тип всего обозного снаряжения и вывел прекрасную породу легких, сильных полубитюгов. Заслуга амурского населения в том, что оно учло, поняло такое обзаведение и не скупилось на него, не прятало копейку в кубышку, а развивало и ширило свою мощь.

За несколько лет еще до 1914 г., когда военное ведомство открыло ссыпные пункты и стало принимать хлеб по высокой цене и тем способствовало освобождению хлебороба от зависимости от частника, край сильно возрос в своем благополучии.

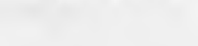
Большие села (теперь многие из них стали городами) уже тогда имели свои общественные паровые вальцовые мельницы, как правило, при них небольшие электростанции, дававшие свет. Потек амурский хлеб и на низовья Амура, на многочисленные там большие рыбалки, пошел на Камчатку, Сахалин, в Приморье, заградив дорогу маньчжурскому зерну.

Крестьянство становилось богатым, но все еще было связано старым укладом общины. Были и немногочисленные отдельные хозяйства, но зато какие!

На Амуре мало наемных рук, а потому каждая пара своих была необходима и дорога, крестьянские семьи еще дер-

жались крепко под «водительством» своих стариков, и разнобоя в те времена не было заметно.

Нехватающие руки заменяли машины, благо что океан — прямой путь, а за ним — дошлый народ, и их сельскохозяйственные машины как будто для наших мест — мест крепких — сделаны. Сняли с соседского производства пошлины, — и край наводнен американской техникой. «Мак-Кормик», «Дерринг» — склады на всех пристанях Амура, льготное кредитование, и дело было к обоюдной выгоде. Край цвел . . .



СОДЕРЖАНИЕ

К читателю 7
Вместо предисловия 17
1. Рыбаки 23
2. Охотники 35
3. Пашка и шаман 44
4. Прибыль воды 56
5. Экспедиция в Забоку 59
6. Забока 62
7. Караси 70
8. В «столовой» 75
9. В «гостиной» 78
10. Калуга 91
11. Козел 99
12. Домой 104
13. Дед Колотушкин 112
14. Гроза 119
15. Лодка 126
16. В дальнем плавании 146
17. Рассказ деда Колотушкина 158
18. В гостях у деда 168
19. Кирик и Иулита 175
20. Школа 187
21. Таракан 193
22. Человек без мундира 197
23. Речной порт 203
24. Ледоход 206
25. Вслед за льдом 212
26. Амур — золотое дно 227
27. Экспедиция на Селемджу 290
28. Мой край 305
29. Сполох 322